



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

11-12 (483)

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Михайлик. «Как над Бабьим Гаем, над мангровой кожурой...» и др. стихи.....	3
Владимир Тучков. Черный полковник. Рассказ из цикла «Протяжные песни Среднерусской возвышенности».....	11
Виталий Мамай. Зимнее для кларнета с мартини. Стихи.....	19
Иван Макаров. Капли и камни.....	29
Люба Макаревская. «Она говорит...» и др. стихи.....	63
Кирилл Курбатов. Охота оленей. Смерть председателя. Рассказы.....	71
Дмитрий Раскин. Тётя Клава и Лёва Бриллиант. Рассказ.....	81
Наталья Ключарева. «Людно внутри...» и др. стихи.....	93
Анатолий Бузулукский. Крокодил. Внук обнимает. Фотографии. Рассказы.....	96
Наташа Денисова. «всегда отступала мгла» и др. стихи.....	101
Дмитрий Зарубин. Мастер ключей и прекрасная крановщица. Рассказ.....	110
Таризл Цхварадзе. «Пространство тонет в сигаретном дыме...» и др. стихи.....	122

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. Запятая–4 (В русском жанре–64).....	125
Михаил Бару. Невидимый зинзивер.....	130

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Дмитрий Кузьмин. Другие. Поэзия Украины сегодня.....	148
Наталья Черных. Новые точки координат. Две книги издательства «НЛО».....	157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр Марков. Крона красоты О кн.: Владимир Полетаев. Прозрачный циферблат: стихотворения, переводы, эссе, письма.....	162
Григорий Стариковский. Булавка боли О кн.: Валерий Черешня. Узнавание.....	165
Наталья Черных. Перемена курса О кн.: Геннадий Каневский. Всем бортам.....	167
Андрей Пермяков. Другие, интересные О кн.: Альманах современной удмуртской поэзии.....	169
Марианна Дударева. На пороге бытия О кн.: Елена Трубецкова. «Новое зрение»: болезнь как прием остранения в русской литературе XX в.	176

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Валерио Грутт. Из книги «Я трезвонил тебе». Перевод с итальянского, вступление Татьяны Грауз.....	179
---	-----

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Михаил Аржанов (1924–1981). Из дневников и писем (1952–1981). Публикация, вступление, примечания М.А. Богадельщиковой.....	187
--	-----

АРХИВ

Алексей Голицын. «Репрессии я считаю преступлением». Поэт Лелевич в саратовской ссылке.....	227
---	-----

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2019 ГОД.....	244
-------------------------------------	-----

Елена МИХАЙЛИК

Как над Бабьим Гаем, над мангровой кожей,
Над прозрачным Армянском, над Перекопом туманным,
По цветущему морю держат серые пеликаны –
Золотой кильватерный строй,
Говорили – только глина, песок, зола,
Объясняли – сухая порча на поколения,
Но скопилось глобальное потепление –
И вода пришла,
Среди водорослей дрожит, луну обучая ждать
На урартском, на хеттском и на латыни,
А кому теперь внимает эта пустыня,
Не вам, поручикам, рассуждать.

А у нас на стенке глаз – а у вас?
А у нас Мицар погас – а у вас?
А у нас тут Мэри Шелли биоэтику вела,
Мы на ней собаку съели
И теперь на самом деле
Можем и при артобстреле
Отличать добро от зла.
А у нас как раз идет – а у вас?
А у нас наоборот – а у вас?
А у нас вокруг живых
Больше, чем в сороковых,
Но каких-то малокровных
И совсем нестроевых.
А у нас клубится дым,
Надлюдим, неуловим,
Мы не видим, что за дымом,
И не слышим, что под ним,
Только шорох – мимо, мимо...

Елена Михайлик родилась в Одессе, окончила филологический факультет ОГУ. С 1993 г. живёт в Сиднее, преподаёт в университете Нового Южного Уэльса. Доктор философии, тема диссертации «Варлам Шаламов: поэтика новой прозы». Стихи и статьи публиковались в антологии «Освобожденный Улисс», журналах «Арион», «Воздух», «Дети Ра», «Новый мир», «Новое литературное обозрение». Лауреат Первого австралийского фестиваля традиционной и экспериментальной литературы «Антиподы» (2006). Автор книг стихов «Ни сном, ни облаком» (2008), «Экспедиция» (2019). В «Волге» публиковались стихи (2013, № 11-12; 2016, № 3-4; 2017, № 9-10).

Снег проходит до угла,
Смерть проходит до угла –
Обманулась, промахнулась, не застала, не смогла,
Как вы утром говорили – отличать добро от зла?
Сами знаем, мимо, мимо,
Все что было объяснимо,
Даже если тяжело –
Все равно заволокло.
А у нас песок дымится белой пеной,
Море длится не бессонницей,
А птицей, белой, парусной частицей
Склона сада непрошедшей
Части лета обомшавшей оплывавшей
Всеми усиками взявшей сохранившей
задержавшей
камень свет поверхность дня...
Замолчите, сумасшедший,
Вы пугаете меня.

Автоматон – самостоятельно движется, пишет, читает, стреляет, меняет лица.
Автохтон – порождает подземный ужас, которого сам боится,
Автодозвон – гудит в небесах, куда не всякий стремится.
Перепрыгни через ручей,
Отыщи последнюю горизонталь, тридцать девятую параллель,
За досками, за грудой нужных вещей, кирпичей,
По асфальту тянется трещина, то есть щель,
Граница, за которой начинается другая земля
И воздух совсем другой,
Произнеси свое потому, куда, обо что, для,
Выдохни воздух, весь,
Изогнись дугой,
Повтори три раза,
Все, можешь смотреть, дышать, выходить на свет,
Ты уже здесь, а там тебя больше нет,
Не рассказывай ничего даже шиферу, даже глядящим насквозь кустам,
Там уже никто не поймет, что такое – там,
Уходя со двора, в ту сторону не смотри,
Убрать – невеликий труд,
Еще до зари синицы все приберут.
Автоответчик – давно уже знает все, но нигде никому не снится.

Встала из мрака богиня соленых вод,
На Пастернака, метеоролог, труби поход,

Хлещет потоп, зеленый, фиолетовый, золотой, от начала времен
параллельно ничьей земле,
Это все он со своей неуверенной правотой и контрабандными чернилами в феврале,
Встала его обида от Антарктиды, от солнечных ледников,
Город чихнул и пропал из виду, а также из писем и дневников,
У остановки – автобусов нет, остается ждать бригадин,
Дышит ливнёвка на ладан, на чубушник и на жасмин,
Встало, объяло дымом, не формалином – так янтарём,
Ной проплывает мимо – говорит, непарных мы не берём,
Он не владеет рифмой, новой привычкой средних веков, промежуточных мокрых дней,
Он уже взят в кавычки, вычтен вместе с ковчегом, землей и всем, что плывет над ней,
Дождь хлынул – не остановишь, но невозмутим юго-восточный встречный пассат,
Сонмы морских чудовищ привычно плывут на работу сквозь райский сад,
Пусть он, как хочет, пишет, но видишь, между чернильных грив
В море слоями вышит – и лезет выше – на красный свет, как обычно, – барьерный риф.

Леди Груох знает наверняка: небо не сохранит,
Не узнает, не вспомнит, не спрячет и не оплачет,
Леди Груох умеет водить войска, но в Шотландии в наши дни
Даже этот талант почти ничего не значит.

Страна не рада блеску листа, пенью гудка, новому дню,
Страна несколько занята – родня режет родню.

Леди Груох – ее дед убит, ее муж убит, ее брат убит,
Ее медленный сын составляет мир по складам –
Помнит: на этой земле никто никому не щит,
И надежды нет.
Ее муж – второй – шурится на рассвет,
Пожимает плечами и говорит: не отдам.
Никого – ни распре, ни времени, ни огню.
И держит это слово почти восемнадцать лет.

Но против внутренней логики пьесы – то есть кошмара, не устоят
ни разум, ни доблесть, ни волшебство,
И поколение, не помнящее пожара, все же видит его.

Ее муж глядит со стены, говорит, у нас
Неожиданно получился довольно длинный рассказ –
«Они жили долго и счастливо»... и хотя бы речь отложит нас про запас,
Сбережет теченьем песка, давленьем реки
Наше имя, дыханье, след.
Это вряд ли, думает леди Груох, стирая кровь со щеки,
Но семнадцать лет – это все же семнадцать лет.

Архивная мышь, успешно проскочив Аргонат,
Избавившись от счетных, а также несчетных бед,
Все равно каждый раз роняет очки в шпинат,
А шпинат на паркет,
Вспоминая солнечный мармелад и тетушку Ганимед.
Она, конечно, делала, что могла – шуршала,
летала по кухне так, что посуда
разбегалась к Чуковскому, плача и дребезжа,
Предупреждала,
Что герои в лаборатории являются признаком мятежа,
Да, не только здесь, да, повсюду.
Она читала.
И когда революция арестовала источник зла,
Заявила: теперь все пойдет на лад – с цветами и цирком – и совсем по-другому,
Мышь, как обычно, архивной памятью всё правильно поняла –
И ушла из дому.
Да, сбежала в первое попавшееся бытиё,
Чтобы помнить людей, пока они живы, и историю – пока не закрыта,
Потому что с тех пор, как эта девица – невоспитанная, в 1865 – затопила её жильё,
Мышь запомнила тот поворот сюжета, за которым не остается быта.
Так что, затариваясь крекерами в хоббичьей уютной норе,
Слушая краем уха про поход на дракона,
Мышь автоматически отмечает дату на календаре,
Потому что и здесь закончилось время оно.
А тот, седой, похожий на доктора, тоже всё с фейерверками, бросит взгляд
на её заплечный мешок,
И скажет – да всё у них хорошо,
Не горюй, возвращаясь, там всё в порядке,
Мармелад – апельсиновый, небо – синее, воздух – блестит как паучий шелк,
Я покажу, как выбраться по закладке.
Понимаешь, у нас другое небо и другая земля,
Та самая, что видна сквозь облако, лист и дыру в заборе,
Здесь – по договору – никогда не бывает горя
Ни от плебейской республики по цеховой раскладке,
Ни от коммунизма, ни от возвращения короля.

Как в русской поэзии все не задается верлибр

И когда обстоятельства обретают настоящий романый размах,
Выселяя в статистику облака, истопника и историка,
В городских лакунах, в щелях между плитами и, конечно, в уцелевших домах
Поселяются совы, лисицы и силлабо-тоника.
*Чем держать, кроме рифмы и ритма,
Какой верлибр,*

*Если главный параметр – плотность дыхания на декалитр
Уступает пермскому,*

*Если помнить, кто ты, слишком тяжелый труд,
И огонь сохраняют, чередуя кремень и трут –
Или сено-солому?*

*Несвободный стих, млекопитающая шпана,
Наделен весельем и звонким разумом грызуна –
Паразит, прохиндей, подхалим, под любую крышей
Проживает, свинец перемалывая на медь,
Потому что обмен веществ, потому что петь –
Это значит выжить.*

А потом, когда слово снова стоит на самом себе
Словно лист в траве,
Никакому Иванушке не пройти,
Как туман над рекой,
Не тускнея, не рассыпаясь, не каменея,
Ты читаешь в газете – или в небе – или в сети:
Император встает из гроба в девять вечера по Москве...
То есть в пять утра по Сиднею...
И смыкаешь рифму как раковину над строкой,
Отсекая все, что за нею.

Откапывая очередное завтра, глядя как крошится земля,
Куда подевались динозавры, не спрашивай журавля,
Всехяден, всерьшущ, благоразумен, везде впечатан в петит,
Он никуда отсюда не умер, он все еще летит.

Наблюдая закат в молдавской зимней полупустыне,
Где лиса ныряет в сугроб на корпус, заслышав мышь,
Понимаешь: все, что ты думаешь, проще уже сказать на латыни –
Но на ней ты и говоришь.

Чей водород проплывает мимо, чей алеф – иль текел – несет стена,
Написано углекислым дымом на листьях хвоща или плауна,
И ты проходи осторожно мимо, не то припомнишь, прямо с утра,
Кем это лицо бывало вчера –
Какой пожар торчит из-под грима,
И выпадет пеплом твоё «тогда» в годичный слой гренландского льда.

Включается северное сияние, квадраты экрана почти пусты:
Гугл не готов считать расстояние от Княжпогоста до Воркуты –
Всей силой спутникового зрения в лесах отслеживая нить,
Он единицу измерения здесь не берется определить.

Конечно, покуда скользит оврагами, кто видит – выдаст, кто слышал – съест,
Не стоит чуду враждебной магии влетать в подробности этих мест,
Чем измеряли, не зная роздыху, какою рифмой мороз горчит,
Вторую Речку найдет по воздуху, о прочих частностях – промолчит,
Не то совместится – сведет вселенные, вдохнет пермской прерывистый дым...
И чаша будет шуршать антеннами над мелким холмиком меловым.

Сбежала какая-то сволочь, украв луну,
Бесхозные волны терзают материки,
Вишни вызывают о гибели к плауну,
Звезды огромны, воды, само собою, горьки.
Скоро – мечта профсоюзов – до дна сократится день,
Скоро – какая физика! – солнце и ветер всех возьмут в оборот,
Шарик с горящей шапкою набекрень,
Катится так, что никто уже не найдет.
В городе, где квадрат зданий не спит, не спят,
Отбрасывая эхо на весь фольклор –
На мостовой – прожилки руды, слюда.
Где ни ложись, не окажешься одинок,

Там
Посреди площади поднимается отсутствующая тень, остроугольная,
уютная, как всегда,
Бедный Евгений, не нужно смотреть в поток,
Бедный Евгений, не нужно искать зазор,
Станешь как автор, узнаешь все наперед...
Полюса немедля зарываются в плотный лед,
Наклоняется ось, день продолжает счет.
Тень говорит луне: товарищ, не бойся, иди сюда.
И луна идет.

На старой набережной, где глиняная вода
Становится мифом, еще не успев спуститься,
Эдгар Алан угостил «осадным кофе» черную птицу
И ответил ей «Никогда».
Большая птица привычно цикорий пьет,
Нет, не эрзац, а почтенное традиционное блюдо,
Наследье Гражданской,
И думает, чтобы этот поверил, потребуется настоящее чудо.
Но чудо не настает.
Зато есть пончики, речные раки, бурбон,
Планшет – стилем, от руки, как ему привычно,

Любой Орлеан по сути есть пограничье,
А Новый особенно – в нем беспокоен сон
Даже у тех, кто спит, не помнит, не слышит,
А уж те, кто горит – и об этом пишет,
Могут здесь свободно кормить ворон –
И воронов из непрочного злого льда,
Неверной речки и оружейной стали,
Из хриплого риффа на стыке Проточной и всех светил,
Бензина, метана – город – куда деваться,
Любому кошмару легко легализоваться,
Любой пришелец знает – ему сюда,
Вот и Эдгар Алан собою неудивлен –
Дыра как дыра, переехал, когда позвали,
Прекрасный пейзаж и много новых могил.
Он не помнит, что умер, много работает, но не согласен публиковаться.
Ни в «Парадайз Хералд», ни в «Вечерней Валгалле»,
Ни... она не придет, вам же было сказано – никогда.

И еще одна версия

Он избрал эволюцию, находясь в жестокой тоске,
Шел и увидел не крупную рыбу на отдельном от вод песке,
В воде вода, на земле вода и даже в небе вода,
Вот он и скажи кистепёрой дуре «Коллега, ползи сюда,
Раз уж море тебе настолько осточертело за всякие миллионы лет,
Бросай умирать, у меня для тебя есть в запасе авантюрный такой сюжет.
В перспективе города на полконтинента, летучие поезда,
Стихи от Камакуры до Магриба...»
Ну что могла ответить рыба? Рыба сказала «да.»
Шагнула кистью, вдохнула ртом, повела неудобным хвостом,
А все эти яблоки и сады он придумал потом,
Уже лечась от второй ножевой, но по-прежнему видя сны,
Где организм гуляет живой по неверным холмам Луны.
А что до познания добра и зла и того, чем земля кругла,
Повстречаешь рыбу – спроси у неё, это её дела.

Жил счастливо,
Старался не помнить, что окружен людьми –
Кроме текстов, естественно, писем и дневников,
Не любил уходить из дому за пивом –
просыпался в Перми,

Или в нижнем Тагиле (выпил полбанки и далее был таков),
Или в море, или в такой Юре,
где саговники стоят неподвижно, как в букваре,
И рамфоринх карабкается мимо перистых облаков
Словно верхнее «ми».
Завтра днем
Он стоит у раскопа, рифмуя цифры свои,
Пересчитывая геологические слои,
Вспоминая этаж и дом,
Машинально рисуя птицу – «правнук, привет»,
Машинально строя границы, включая свет,
Да, конечно с приливом, луной, открытым окном,
Да, конечно счастливо, потому что несчастья нет,
Или есть, но не здесь – он его не пускает в этот сюжет.
И не помнит о нем.

Загнали случайное существо в ядовитое вещество,
Согласия не спрашивали – перебьется, еще чего.
И каждый примерно футбольный тайм (равный нашим четырёмстам)
Заглядывали, справлялись – как они там?
А потом отвлеклись, не до того, не вспомнили, даже когда из угла
Подплыло невидимое вещество, разъедающее дотла.
И вошедший следом распахнул рот и сказал: я пошел, с дороги всем напишу,
А этот со мной – его зовут кислород. Что я делаю им? Дышу.

Владимир ТУЧКОВ

ЧЕРНЫЙ ПОЛКОВНИК

Рассказ из цикла «Протяжные песни Среднерусской возвышенности»

Грибы способны лишать людей разума.

Ну, конечно, не совсем разума, это был бы некоторый терминологический перегиб. Но здравого смысла – это уж точно.

По осени во многих людях пробуждается какая-то маниакальная тяга к собиранию грибов в подмосковных лесах. Чего за пределами России нет и быть не может в силу... Трудно сказать, в силу чего, поскольку в своих бы мозгах нам разобраться.

Ну, разве что в Белоруссии этот процесс имеет еще большую остроту. Достаточно почитать поэта Игоря Шкляревского, у которого грибная охота имеет отчетливо выраженный эпический характер. И хоть давно уже человек перебрался в Россию, но белорусский гриб для него является мерилom всего сущего на свете.

Короче, вместо того чтобы спуститься на лифте, выйти из дому, дойти до магазина и купить банку маринованных опят ли, груздей ли, или белых, заплатив за это дело сравнительно небольшие деньги, человек сажает в автомобиль жену, детей, бывает, что и тещу, и ранним субботним утром передвигается по перегруженным магистралям, изнывая от пробок, в радиальных от центра Москвы направлениях. Добирается до места в лучшем случае к обеду. И, аукаясь с домохозяевами, собирает грибы, рискуя положить в корзину какую-нибудь ядовитую их разновидность.

Вполне понятно, что стоимость таких поездок из-за постоянно дорожающего бензина существенно превышает стоимость банки грибов, купленных без суестьи в магазине.

Так вот к чему я это? Если бы данное безумие происходило где угодно, но только не в Подмоскowie, мне оно было бы абсолютно безразлично. Но в Подмоскowie, а конкретно – в Сергиево-Посадском районе, эти люди, эти грибники мне изрядно досаждают.

Потому что полгода я живу вдали от цивилизации, где банку грибов с огнем не сыщешь. И за грибами вынужден ходить в лес.

А в лесу – они, в больших количествах, аukaющие, все вытаптывающие и все подчистую уносящие из лесу в своих пятиведерных корзинах.

Поэтому идти в лес за грибами в выходные абсолютно бессмысленно. Приходится ждать до четверга, когда напуганные грибы придут в себя и начнут робко вылезать из земли, словно из бомбоубежища.

Так что эта история, которая чуть не перевернула мое представление о мироздании, произошла именно в четверг.

Владимир Тучков родился в 1949 году в Подмоскowie. Окончил факультет электроники Московского лесотехнического института. Стихи и проза публиковались в России, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Израиле, Нидерландах, Словакии, США, Украине, Франции, Швеции как на русском языке, так и в переводах. Автор двух сборников стихов и двенадцати книг прозы. Ряд рассказов был включен в «Антологию русского XX века. 50 авторов», вышедшую в издательстве Academic Studies Press, США. Предыдущая публикация в «Волге»: роман «Вышка» (2018, № 11-12).

В лесу.

Неподалеку от деревни Барково.

То есть она началась в этом районе, а завершилась северо-восточнее города Красноармейска.

Утро было туманное. Очертания деревьев расплывались, как попавшая под дождь акварель, уже метрах в пятидесяти. К тому же накрапывал мелкий осенний дождик, слегка штриховавший ближнюю перспективу.

С грибами с самого начала не заладилось. Нагло лезли на глаза лишь одни опять, облепливающие стволы замшелых деревьев. Но я заготовил их достаточно в прошлый раз. Хотелось чего-нибудь поблагороднее, из классической троицы: белые – подберезовики – подосиновики. Однако за час хождения галсами в знакомом месте, где их должно быть навалом, попались лишь два подосиновика в франтоватых оранжевых шапках.

Словно под землю провалились, подумал я, закуривая сигарету.

И вдруг впереди промелькнула человеческая фигура.

И не фигура даже, а смутные ее очертания. Погода-то была абсолютно импрессионистическая. То ли впереди родные березки с елками колеблются в такт дуновениям ленивого осеннего ветерка, то ли мост Ватерлоо раскинулся, то ли Руанский собор произрастает.

Через некоторое время я понял, что это предположительно мужчина. Вышагивает впереди меня в офицерском плаще-палатке практично-функционального покроя, который был в большом ходу в армии в стародавние – советские – времена.

Я покашлял. Демонстративно, чтобы обратить внимание человека на мое присутствие.

Никакой реакции не последовало. Как шел с прямой спиной, с капюшоном, полностью защищавшим лицо от мороси, так и продолжил идти.

У меня возникло вполне естественное желание догнать его. И поинтересоваться, удастся ли ему находить грибы. Может, он какой-то секрет знает, может, место особое. Может, и поделится со мной. Чем черт ни шутит?

Я прибавил шаг.

И с удивлением обнаружил, что расстояние между нами остается неизменным. Хотя по движениям незнакомца нельзя было сказать, чтобы он ускорился. Те же самые размеренные движения. И частота шагов неизменная.

И тогда я решил его окликнуть.

Открыл рот. И тут же его закрыл. Потому что было абсолютно непонятно, как следует к нему обратиться.

Господин? Ничего нелепее в лесу невозможно было представить.

Сударь? Абсолютно та же самая дичь.

Любезный... Милостивый государь...

Хотя многие сейчас, очень многие, не задумываясь, крикнули бы: «Мужчина!»

Но к этим многим я, к счастью, не отношусь.

Оставались лишь два варианта: гражданин и товарищ.

Гражданин – это, пожалуй, было чрезмерно официально.

Наиболее подходил «товарищ».

Я открыл рот и довольно громко сказал: «Товарищ...» И совершенно неожиданно, помимо своей воли и замысла, словно кто-то внешний привел в действие мои голосовые связки, добавил: «...полковник!»

Незнакомец, не сбавляя шага и не поворачиваясь, поднял вверх согнутую в локте правую руку и дважды махнул ей в направлении движения. И хоть я прежде не знал армейской системы жестовых команд, вдруг понял, что это означает «следуй за мной!».

И я беспрекословно подчинился.

Я уже не думал ни о грибах, ни о недавнем желании поговорить с этим человеком...

Я исполнял приказ!

Я следовал за ним!

Я, можно сказать, уже почти забыл, кто я, зачем я сюда пришел и что тут делаю.

Незнакомец – а это, несомненно, был офицер, по-видимому, старший, майор, а то и полковник – полностью подчинил меня себе, не произнося ни единого слова, ни единого звука. Я даже не видел его лица.

Он махал рукой с раскрытой ладонью сверху вниз, и я пригнулся, подлезая под опасно нависшими, почти завалившимися, стволами деревьев.

Он поднимал вверх две руки и разводил ладони, и я немного отставал, увеличивая интервал.

Он поднимал вверх две руки и сводил ладони, и я приближался к нему, сокращая интервал движения.

Такое со мной уже бывало однажды. Очень давно, когда мне было шестнадцать лет.

На Белорусском вокзале подошла цыганка, схватила за руку и, несмотря на мой робкий протест, начала гадание.

И вдруг я начинаю видеть себя со стороны.

Вот я стою.

А вот цыганка, что-то говорит, что-то абсолютно бессмысленное, не складывающееся даже ни в какую абстракцию. И обследует содержимое моих карманов.

Я смотрю. И мне происходящее абсолютно безразлично.

И как-то очень сонно. Настолько, что не могу пошевелить ни одним мускулом.

Не знаю, сколько это продолжалось. Поскольку я существовал в каком-то совсем другом временном измерении.

Наваждение прервала женщина, которая орлицей накинулась на цыганку. А потом привела меня в чувства, шлепнув по щеке ладошкой.

Тут было примерно то же самое.

Однако вернуть меня к реальности с помощью пощечины было некому. Был четверг. И в лесу были только мы двое: я и человек в плащ-палатке, которого я уже называл мысленно полковником.

Я не имел ни малейшего представления о том, где я нахожусь, куда он меня ведет и зачем все это. Я просто знал, что надо. А зачем надо – это была уже не моя, а его компетенция.

Из леса мы выходили на поляны, поднимались на холмы, обходя стороной человеческое жилище, которое не могло не попадаться нам по пути, поскольку места были не такие уж и дикие.

Собственно, меня ничто уже не удивляло. Ни то, что мы идем уже долго, без отдыха, довольно быстро, но никакой усталости не ощущается.

Не удивило меня даже то, что полковник прошагал по верху воды, когда путь нам преградил небольшой ручей. И даже полы своего плаща не намочил. Мне же пришлось проделать шагов пять по колено в воде.

Периодически он повторял жестовый приказ «Следуй за мной!», хотя это было абсолютно излишне. Казалось, ничто на свете не было способно разорвать прочную связь между мной и полковником, который вел меня вперед, несомненно, для того, чтобы я совершил что-то чрезвычайно важное и значимое, от чего зависит очень многое, может быть, даже жизни тысяч людей. Человеку военному, полковнику, должно быть это точно известно.

Однако, как я теперь понимаю, у него были другие планы относительно меня. Но которые он по неведомой причине резко изменил.

Когда мы спустились с высокого холма, его крутой спуск плавно перешел в еле заметный уклон. Который длился и длился. Хвойные деревья уступили место чахлым березкам. Потом пошли гнилые осины. Под ногами начало слегка чавкать.

Полковник шел, не снижая скорости.

Вскоре мои следы начала заполнять вода.

То есть местность становилась заболоченной. С кочками. И с предательской неизвестностью между ними.

Метрах в пятидесяти впереди меня шел полковник. И было видно, что там уже трясина. Но болотная мерзость под ним не прогибалась. Он шел словно посуху.

И, соответственно, через пятьдесят метров мне предстояло утонуть.

Но полковник, полуобернувшись, выставил назад правую руку с обращенной ко мне раскрытой ладонью: «Стоп!»

Остановился и сам.

Какое-то время он стоял неподвижно, не подавая никаких признаков жизни. Но было понятно, что он напряженно о чем-то думает, решает какую-то неведомую мне задачу, с которой неожиданно столкнулся. И от этого решения очень многое зависит. Вероятно, жизнь тысяч людей.

Своя мне тогда была абсолютно безразлична.

Напряжение было столь велико, что уши начало покалывать, словно иголками, от громадной концентрации в атмосфере электричества. Или же какого-то иного поля, нам неведомого, которое излучал полковник.

И мне было абсолютно безразлично, чем это все закончится. Пойдет ли он дальше, что приведет к моей смерти. Или же примет иное решение.

Он резко сместился вправо. И пошел по краю болота, вполне для меня безопасному.

Когда мы подошли к забору из колючей проволоки, полковник достал кусачки и сделал проход.

Мы проникли на какую-то территорию, пребывание на которой посторонних людей, несомненно, сильно не приветствовалось.

Через некоторое время оказались на обширном поле, которое было покрыто воронками.

В роли пощечины, при помощи которой неведомая женщина на Белорусском вокзале когда-то привела меня в чувство, выступил артиллерийский снаряд. Он взорвался метрах в ста от меня. Калибр, несомненно, был очень большой. И мне показалось, что поверхность земли встала на дыбы. А от свиста осколков зашевелились волосы.

Наваждение исчезло.

Я был свободен.

Полковник повернулся ко мне лицом.

Это был человек лет сорока пяти. С седыми волосами и смоляными бровями. На правой щеке был засохший ручеек крови. В глазах каким-то странным образом совмещались непреклонная решимость, железный характер и какое-то неземное отчаяние. Отчаяние, которое может родиться лишь на страшной высоте и в абсолютной пустоте, где печальный демон, дух изгнания, летал над грешною Землей. Да, именно, с большой буквы, летал над Землей, а не как у Лермонтова...

Я бросился прочь.

Некоторое время, наверно, неделю, а то и две, пытался осмыслить произошедшее со мной. Дать ему хоть какое-то объяснение. Но, разумеется, так ни к чему и не пришел.

Тут можно нагородить чего угодно, и каждый элемент нагороженного мог оказаться реальным.

Любой. Вплоть до инопланетян и лучевого воздействия американских спутников в районе красноармейского артиллерийского полигона.

Да, снаряд, который вернул меня к реальности, взорвался именно на полигоне. О котором опосредованно мне было известно уже давно. Дело в том, что во время стрельб наиболее мощными боеприпасами у меня дом подпрыгивает на фундаменте. А расстояние немалое – больше двадцати километров.

Некоторые разъяснения я получил спустя год. Правда, пока еще не решил, стоит ли их воспринимать всерьез.

В конце августа, опять же в четверг, я столкнулся в лесу с человеком в камуфляжном костюме и с ружьем за плечами. Он назвался лесником.

Человеком он оказался открытым. Более того – словоохотливым.

Заглянул ко мне в корзинку и картинно вздохнул:

– Что ж ты, мил человек, ходишь без толку?

– Да не попадаются, – ответил я якобы сокрушенно. Словно был профессиональным грибоводом, который на вырученные за сезон деньги живет целый год.

– Так места знать надо.

– Да вроде бы уже не первый год тут хожу. Все места на примете.

– Так они места меняют.

– Как это? – изумился я.

– Да просто! Они в наших местах, как половцы, кочуют все время. Лучшей жизни, видать, ищут.

Я понял, что меня подкалывают. Ответил соответственно:

– Так ты прописку у них, что ли, не требуешь?

Мы рассмеялись. И пожали друг другу руки.

Он назвался Федором. Я – своим именем.

Закурили.

Поговорили, естественно, о лесе. О том, что без должного ухода он приходит в негодность – гниющий бурелом, выжирающие строевые сосны короеды, заболачивание и прочие напасти. Потому что раньше в лесничествах лесников было достаточно, чтобы порядок блюсти, а сейчас один Федор на сто квадратных километров. Да к тому же и зарплата издевательская. Приходится надеяться только на личное хозяйство.

В общем, это был вполне стандартный профессиональный стон и скрежетание зубами. Поговори с фрезеровщиками, поговори с врачами, поговори с пилотами гражданской авиации, поговори с полицейскими, поговори с библиотекарями, – все в один голос будут говорить в том же тоне и с теми же интонациями про ситуацию в их сфере деятельности.

Закурили еще по одной.

И тут он сказал:

– Ты поосторожнее тут ходил бы.

– А что такое?

– Полковник.

– Какой еще полковник?..

И тут меня словно током ударило. Я вспомнил прошлогоднее свое приключение.

– Черный.

Я не торопился поведать Федору о происшедшем со мной, рассчитывая услышать от него какие-то существенные вещи об этом феномене.

– И что же он? Лютует? С калашом тут бегает?

– Ну, бегать он как бы не может. Потому что мертвый уже давно. Но бродит. Это точно. И много несчастий приносит...

– Призрак, что ли?

– Может, и призрак. Я, слава богу, не встречал. Потому что мало кто в живых остался, кто с ним столкнулся.

– Как это? Душит? Режет? Стреляет?

– По-разному. Но только был человек – и нету.

И Федор рассказал самую жуткую историю о деяниях Черного полковника.

Дело было пять лет назад. Прикатила компания на двух джипах. С девицами. С ночевкой.

С ящиком водки. Ночью на поляне такой костер запалили, что в Барково было зарево видно. По бутылкам из автоматов лупили. В общем, бандиты, для которых человеческий закон не писан.

И тут – Черный полковник. Ночью. В отблесках костра...

Решили над ним поглумиться. Решили, что божж какой-то престарелый.

Пара гопников к нему. А он потихоньку от них. Они за ним. С калашами.

Остальные посмотрели на это дело, да и продолжили ханку жрать.

Утром проснулись, а этих двоих нету.

Пошли искать с похмелья.

Вскоре нашли. С рож кожа содрана, обнажены мышцы лица в запекшейся крови. Как на анатомическом атласе. Брюки содраны. И в задницы автоматы вставлены. Да не просто вставлены, а магазины все пустые, отстрелянные. И в темечке у каждого по здоровенной дыре. Через нее пули вышли.

Бандиты от этого дела совсем озверели. Решили устроить охоту. Потому что с похмелья были, плохо соображали.

Запрыгнули в два джипа. И через пару часов приехали четыре джипа. Вся ихняя банда.

Встали цепью и начали лес прочесывать.

Примерно всех их через два дня нашли. Страшно было смотреть. Следователя, который заносил все увиденное в протокол, то и дело нашатырем в чувства приводили. В общем, создалось впечатление, что их через пилораму пропустили, которая бревна на доски распиливает. Вначале пропустили вдоль, а потом поперек.

От этого рассказа мне стало зябко. Я представил себя примерно в таком виде.

– Слушай, – спросил я у Федора, – а чего он так лютует?

– Ну, не всегда. Некоторых не тронул. Хотя и немногих. Может, он так борется с выродками? А тех, которые не особо напаскудничали, отпускает, немного постращав? Я, честно признаться, не знаю. Никто не знает.

– А откуда он взялся? Какая у него история? Это хоть кто-нибудь знает?

– Вот это-то как раз все знают.

Я изумился.

Впрочем, история привидений, которые не могут, как говорится, уйти на покой, это хорошо разработанный жанр. Причем все эти легенды настолько правдоподобно расписаны, с достоверными деталями и не вызывающими сомнения подробностями, что не верить им просто невозможно.

Черный полковник при жизни был командиром воинской части, директором артиллерийского полигона, что расположен к северо-востоку от Красноармейска.

Служил честно. Не воровал, хоть в девяностые годы воровали практически все.

Офицеры его уважали.

Солдаты были довольны, что попали служить именно в эту часть, где к ним относились, как к людям. Пусть и спрашивали службу строго.

Вышестоящее начальство в Главном ракетно-артиллерийском управлении ставило его в пример.

И семейником он был прекрасным. Любил жену, как и она его. Воспитывал десятилетнего сына, надеясь, что он, когда настанет время, пойдет по стопам отца.

Но случилось несчастье.

Впрочем, в армии любое несчастье является следствием некомпетентности, разгильдяйства, а то и преступной продажности.

Чеченские террористы где-то украли (читай – купили) громадное количество тротила. И тайно, опять же подкупив кого следует, заложили его в плотину Жигулевской ГЭС.

Для того чтобы синхронно сработала вся взрывчатка, необходимо было использовать специальный взрыватель – последняя разработка российского оборонно-промышленного комплекса. Но чтобы привести взрыватель в действие, необходимо было ввести специальный секретный код.

Террористы выяснили, что на предприятии, где взрыватель разработали, никто кода не знает. Потому что все компетентные инженеры эмигрировали в США и давно работают в компаниях «Локхид Мартин», «Дженерал Динамикс» или «Боинг».

Код знал только один директор Красноармейского полигона.

К нему подогнали гонца с чемоданом долларов. Однако полковник арестовал его и сдал в военную прокуратуру.

Тогда решили вышибить код под пытками.

Когда полковник был с семьей на даче, нагрянули на трех джипах.

У полковника был лишь пистолет Макарова и три магазина к нему.

Террористы были вооружены до зубов.

Полковник отстреливался. Но исход сражения был ему, конечно же, известен.

Он понимал, что они в конечном итоге ворвутся. Начнут его пытать, требуя назвать код.

Разумеется, он ничего не скажет. Потому что в случае разрушения плотины гигантской волной смоем несколько городов вниз по течению Волги. Погибнут несколько миллионов человек, среди которых большинство составляют старики, женщины, дети.

Затем террористы скажут, что будут глумиться над женой.

Он опять ничего не скажет.

Потом после истязаний и пыток они убьют жену.

Потом подступятся к сыну.

Но и тут он будет молчать. Потому что отгрызет себе язык.

Когда у полковника остались три патрона, он застелил сына. Потом жену. Потом застрелился сам.

И тем самым унес тайну кода в могилу.

– Вот с этих самых пор Черный полковник тут и бродит, – закончил свой рассказ Федор.

– Может, он требует отмщенья? – спросил я, вспомнив шекспировскую историю, завершившуюся серией убийств. И не только во имя возмездия, но и совершенно бессмысленных.

– Да где их искать-то? И как определить, потому что все они уже Россию любят изо всех своих сил.

Закурили по третьей.

– Но, вообще-то, – продолжил Федор, – примерно известно, что ему надо. Ему надо звезду Героя, посмертно.

У меня аж челюсть отвалилась.

– Это кто говорит? Он сам, что ли?

– Нет, он, говорят, всегда молчит.

– Так тогда откуда?!

– Да сам подумай, логически. Он Герой России, реально?

– А то!

– Вот ему и надо присвоить. Тогда и успокоится. Да только дело это тухлое!

– Что так?

И тут Федор поведал мне не менее невероятную историю.

Жители сел и деревень, расположенных в местах посмертного обитания Черного полковника, на сходке создали инициативную группу. Группа начала ходатайствовать перед Министерством обороны о посмертном присвоении Черному полковнику звания Героя России. Была большая

надежда на то, что человек, ну, или же призрак, получив наконец-то заслуженную награду, успокоится. И удалится в те места, не пересекающиеся с материальным миром, где ему самое место.

Подготовились основательно. Прежде всего, собрали, насколько это было возможно, свидетельства подвига Черного полковника. Со строгими выкладками относительно возможного количества жертв, которых не удалось бы избежать в случае разрушения плотины Жигулевской ГЭС. Приложили вырезки из газет о загадочных трагедиях в окрестных лесах, при расследовании которых невозможно было выдвинуть ни одной материалистической версии. Связали все собранные материалы неразрывными причинно-следственными связями.

Лидера инициативной группы, профессионального юриста, принял сам министр обороны. Взял пухлую папку с документами и пообещал во всем разобраться.

Ровно через месяц пришел ответ. В бездушном бюрократическом духе в нем говорилось о том, что коллегия по награждениям не нашла достаточных оснований для присвоения звания Героя России бывшему гражданину такому-то.

Людей это настолько возмутило, что жители деревень Федоровское и Путилово перекрыли железнодорожную ветку, соединяющую город Красноармейск со станцией Софрино.

Этим были крайне недовольны те «красноармейцы», которые ежедневно отправлялись в электричке на работу в Москву.

Произошли стычки на рельсах. К счастью, до жертв дело не дошло. Однако обстановка накалилась настолько, что еще немного, и вспыхнул бы бунт на мистической почве.

Из районного центра Пушкино на усмирение протестующих был направлен отряд национальной гвардии. Однако это не помогло. Гвардейцы приняли сторону вышедших из повиновения жителей окрестных деревень и категорически отказались их усмирять.

Но прошло время, и всё рассосалось само собой. В России так бывает всегда, когда толпой руководят люди, которые стремятся облегчить участь этой самой толпы: провести водопровод, или закрыть свалку, или избавиться от зарвавшегося мздоимца, или разбить парк на месте пустыря, или выжечь каленым железом наркомафию, или сделать еще что-то общественно полезное. Все эти благие намерения обречены на провал.

Когда же на трибуну взгромождаются главари, которые преследуют прежде всего свои корыстные цели в особо крупных размерах, то лишь в этих случаях можно чего-то добиться. Разумеется, далеко не в полном объеме задуманного. Потому что полный объем присваивают себе жуликоватые борцы за социальное процветание.

– А знаешь, – сказал лесник, когда мы собрались уже разойтись, – почему Героя не дали? Не за тех голосовал!

– Как это? – изумился я. – Откуда это известно?

– В Зубцове на даче летом живет мужик, который недавно в Генштабе шофером работал. Так вот он и сказал, что когда раскрыли личное дело Черного полковника, то видят, что голосовал он не за «Единую Россию», а за «Яблоко»!

– Постой! – изумился я еще больше. – Ведь тайные же!

– Ну, это у штатских, может, и тайные. А в армии без порядка никак нельзя!

– Вот суки! – возмутился я.

– Суки, – согласился Федор.

Его собака, которая все это время внимательно слушала наш разговор, залилась звонким лаем.

Виталий МАМАЙ

ЗИМНЕЕ ДЛЯ КЛАРНЕТА С МАРТИНИ

Вечер и юго-восточный ветер...

Вечер и юго-восточный ветер из эмирата
вечного синего неба, безмолвия и песка.
Края, не ведавшего Робеспьера или Марата,
края, где даже Толстой и Ремарк нон грата,
края, где можно не знать своего сто восьмого брата,
где без полива не вырастет ни травинки, ни лепестка.
Юго-восточный ветер, сухой, неживой, и жжёным,
калёным песком отдающийся на губах...
Люди в чалмах, с бородами, со взглядом, столь заряжённым
ненавистью с презрением, спешат то ли к покорным жёнам,
то ли к своим караванам, наркотиками гружёным,
мерно колышущим дни и столетия на горбах.
Может быть, это иллюзия, может, опять собака
лает на караван, но верблюды всегда в пути...
Край, где все знают Калашникова, но не Баха,
край, где смерть ближе телу, чем жизнь, что уж там рубаха,
край, где работать бессмысленно, проще же побабахать
гранатомётом в горах, чтобы не зря уйти.
Улочкам Старого города только и остается ахать.
Раньше их не видали в святых местах хоть...
Но караваны идут... И вот они, здесь уже, во плоти.

Яффо

Ночь не приходит. Она возникает из
шелеста шин, замирания ветра и сонных трав.
Площадь мала. Не по мерке ей храм Петра...
В жаркую полночь Яффо сползает вниз,
к морю, которое всюду и всё же не-
видимо, если не потрудиться взойти на холм.
В полночь, смывая праведность дня грехом,
в Яффо приходят, словно к чужой жене.

Виталий Заиченко (Виталий Мамай) родился в 1971 году в Кременчуге (Украина). Работал в периодических изданиях, занимался рекламой, копирайтингом. Журналист, переводчик. Сборники стихов «Фигура речи» (2014), «Элиев мост» (2017). Публиковался в журналах «Знамя», «Новый берег». С 1998 живёт в Израиле, в Тель-Авиве.

В Яффо находят коку и crystal meth,
 в Яффо берут всё, что хочешь, – от песо и до рубля...
 Если его отмыть, как чёрного кобеля,
 Яффо красивее тысячи Андромед.
 Ночь нескончаема. Здесь в переулках тишь
 гулкая... Вдруг, ночь на десять секунд глуша,
 Шесть одиночных в воздух из калаша...
 Яффская свадьба, где без калаша престиж
 падает ниже плитуса, до нуля.
 Тонкая девочка, вычурный кринолин,
 чёрные глазки как пара больших маслин,
 младшая дочь кокаинного короля...
 Гости воображают детали смет,
 мечут конверты истово на поднос...
 Сцена Кустирицей сильно шибает в нос,
 впрочем, такой уж это дивертисмент.
 Ночь не растает, но... Медленно закроют
 небо с востока, и крыши зальёт напалм
 солнца. Я маленький, как Давид,
 если стоять в тени Голиафов-пальм,
 глядя, как Яффо глаза протирает. Скрип
 ставен, тележек стук, неизбывный смрад
 улиц у рынка, как тысячи лет подряд...
 Город короткий, словно гортанный вскрик,
 город бездонный... Свой сорок четвёртый век
 невозможно меняя на медяки минут,
 яффские улочки снова не преминут
 взять меня сонного, не размежая век...

Тель-Авив. Перекрёсток

Пусть миг увековечен мной едва ль –
 предутренние сумерки, январь,
 крыльцо борделя, как ни закрывай,
 мигает синей
 гирляндой ламп. В бурнуса, белизны снегам
 лишь равной, ниспадающем к ногам,
 бредёт заблудший сын одной из ган
 и абиссиний,
 других ли стран, где голод, страх и гнёт...
 Холодный ветер с моря пальмы гнёт,
 и небосвод того гляди рванёт
 грозью зимней,
 к которой явно непривычен сей
 пришелец из далёких мест отсель,
 из-за реки, где прежде Моисей
 проплыл в корзине.
 И я, рождённый над рекой иной,

вдруг ощущаю с ним в реке одной
себя, с надеждой общей, и виной,
и правдой, судя б
хоть по тому, что свет одержит верх,
раз солнце робко озаряет сквер
на этом древнем перекрёстке вер,
ветров и судеб.

Окрестности Назарета. Рождество

Странный для диктора радионовостей иврит,
чуть угловатый, с налётом халебского акцента.
Где-то перед прогнозом погоды он говорит,
что из-за праздника въезд в Назарет закрыт,
пробка от перекрёстка а-Мусахим до центра,
и после этого о погоде... Погода, мол,
полностью характерная для сезона.
Кстати, простуда?
Поможет – о чудо! –
не сам Господь, но его парацетамол,
если купить панацею в аптечной сети Ицика Мосензона.
Вроде так просто – и всё же немного жаль.
Раньше казалось – и жизнь, и простуда сложнее и глубже.
В пробке сигналият, разноязыко кричат: «Езжай!»
Годы не возвращаются, как их ни провожай...
Краешек неба с крестом отражается и в придорожной луже,
и в лимузине, и в зеркале старой «Субару», на коей, похоже, с лет
сорок местные дэвы ночами лепешки свои месили,
и пацанёнок глазастый вдоль пробки куда-то торопится на осле.
Жаль, не на белом осле мессии.

Зимнее для кларнета с мартини

Сизый дым поднимается с чёрных крыш,
обращаясь в заледеневший воздух...
В нём закат безмятежен и медно-рыж,
и кресты, как матросы в «вороньих гнёздах»,
но помпезных, как истинный нувориш.
Видишь дальше бесснежного февраля,
этих мёрзлых осин и каштанов голых,
только плёнка рвётся на (voilà!)
чёрном титре на белой стене «В ролях»,
и сознание зиждется на глаголах,
у которых общего – в горле ком
да прошедшее время. Звнящий вечер
накрывает улицы колпаком,
и кларнет поскуливает щенком,

и скрывает память следы увечий,
на уста накладывая печать,
превращая воду в martini rosso...
В зимнем небе звёзд на десяток grossов¹,
и не хочется задавать вопросов,
потому как некому отвечать.

NN

День умирает... Новый не рождён.
Ты гонишь свой выдавший виды «Плимут».
В душе ноябрь. Этот гадкий климат...
Всё дрянь, а тут ещё и снег с дождём.
...Промозгло. Пробирает до костей.
Совсем взбесились Фаренгейт и Цельсий.
Скучает милый мальчик-полицейский.
Не затащить ли мальчика в постель?
...Мотель. Кровать. Распятие... Три «ха»!
Нет, этот мир определенно спятил.
Какого чёрта вешают распятия
В обителях дорожного греха?
...Однако... Время предъявляет счёт,
Между бровей морщинкою ложится.
Но то, что скрыто тонкой тканью джинсов,
Довольно привлекательно ещё.
...Смерч торопливых ласк. Шнурок. Торшер.
Привычная динамика постели.
Ты вовремя подумала о теле.
Пожалуй, поздно думать о душе.
...Изучен код теней на потолке.
Сосчитаны овечки и барашки.
И мальчик в синей форменной фуражке
Давно исчез, шепнув тебе: «Take care...»²
...И только тот, который на кресте,
Молчит. О да, он всё сказал когда-то...
...Ноябрь. День без времени и даты.
Сырое утро. «Плимут». Интерстейт.

Каждый раз ты уходишь в осень...

Каждый раз ты уходишь в осень, пробормотав: «Дела...»
Не дожидаясь криков, мол, я б тебе родила, я ж тебе отдала
юность ли, девственность, пару ли лучших лет,
ради тебя я бросила танцы, гимнастику, йогу, цигун, балет,

¹ Гросс (нем.) – мера счёта, 144 единицы, дюжина дюжин.

² Take care... (англ.) – Береги себя...

потеряла подругу или подруг... Всю эту чушь и муть
ты оставляешь за дверью, не желая нужное подчеркнуть.
Проведя пятерней по кудрявой башке, слов пронзительных не ища,
ты слетаешь по лестнице камнем, так, будто бы дверь праша...
Дверь праша, конечно, а ты то ли камень, то ли Давид,
но кого в наше время это действительно удивит?
Та же осень на улице, у тебя всё тот же богемный вид.
В две недели щетина давно считается бородой,
дни текут между пальцев, водкой текут, водой,
осень смывает песчаный замок, как долго его ни строй,
ты опять выбираешь между студенткой и медсестрой,
выбираешь, кто будет врать маме, мол, я с ним живу, жених...
Чёрт возьми, почему ты ночуешь всегда у них?
В двадцать пять – ни работы толком, ни правильного пути,
только двадцать семь метров хрущёвки, чтоб было куда уйти,
если с этой не выйдет, и не срастётся с той...
Через месяц наступит... Какой? Девяносто шестой?
Новой девочке верится, будто бы счастлив он будет и долог, но
в этот раз из подъезда ты выйдешь через окно,
напоследок махнув нам, оставшимся, чёрным крылом плаща...
Все мы камни. Давидовы камни. И всякого ждёт праша.

Зимнее утро серей шинели...

Зимнее утро серей шинели,
в щели набилась мгла,
в дымке морозной заметны еле
тусклые купола.
Стены ещё не в расстрельных язвах,
будет страшной стократ.
Но от предчувствий своих неясных
ёжится Петроград.
Снег, и на нём, точно пятна нефти,
островки воронья.
Пастью раскрытой на Малой Невке
чёрная полынья.
В дрожь – и княжну, и дворовую бабку,
полнится вестью дом:
«Слышали? Таки нашли собаку
в полынье подо льдом.
Пёс, хоть в рубаше чистого шёлка,
так побит, что никто
и не узнал бы... Вот ведь ушёл как
царский лампадник-то.
Был и небеден, и важен собою –
есть конец всё одно.
И, говорят, даже шуба соболья
не утащила на дно.
Бог же не Яшка, ущучил шельму,

выдал старицею
и за хлыстов, и за службу Вильгельму
вместе с царицею...»
Зимнее утро. Гудит столица.
Где испуг, где восторг.
Кровью, которой ещё пролиться,
ало окрашен восток,
солнце в предчувствии будущей бури
гонит к заливу мглу.
...И обречённо, растерянно курит
городовой на углу.

Восемьдесят восьмой

на *Вечно живых*,
в доме, где Военторг,
мечется рыжий вихрь,
в пальцах моих ток,

корчится новый мир,
старый уже мёртв,
запах её мирт,
тело её мёд,

город давно спит,
лунный блестит хром,
водку сменил ром,
мог бы сменить спирт,

первый троллейбус в пять,
выйду – авось мой...
Стикс, поверни вспять
в восемьдесят восьмой,

в лето, где рыжий вихрь,
в лето, где в пальцах ток
на *Вечно живых*,
в доме, где Военторг.

Градчаны

Если мы всё-таки жнём, что сеем,
я однажды вернусь к тебе Одиссеем,
оборванцем, бродягой в наряде жалком,
Сен-Жерменом, вечным жидом, фаталистом-Жаком;
не посмотришь даже, пройдёшь, не видя,
из кафе на свет предзакатный выйдя,
улыбнёшься, что-то сказав подружке,

и небесный зодчий из снежной стружки,
света в окнах, туч и подмёрзшей влаги
будет строить заново зиму в Праге,
где фонарные тени длинные и шатки,
надевать на крыши смешные шапки,
подметать позёмкой площади деловито...
Я дойду за тобой до святого Вита,
но зелёный намеренно прозеваю,
и останусь глядеть вслед твоему трамваю.
Двадцать лет – это двадцать зим, бесконечных, долгих...
Даже если анамнез –
недели винных паров и предутренних жарких догги –
это нам не даёт ничего в итоге,
даже будь не в рванине я, в девственно белой тоге...
Ты наутро вспомнишь, как накануне сильно мело по
замёрзшим Градчанам, где нам не увидаться, Пенелопа...

Из диалогов с Б. Мы будем жить с тобой...

*Мы будем жить с тобой на берегу
отгородившись высоченной дамбой...*

Иосиф Бродский

Мы будем жить с тобой на берегу,
отгородившись высоченной дамбой
От всех на свете. Волн неровный гул
В ушах когда-то выученной гаммой,
Где ясно различим кларнет, гобой,
Звучать нам будет постоянным фоном.
Мы будем жить на берегу с тобой
По нами лишь придуманным законам.
Под серым небом, на клочке земли,
Где хилая растительность и блёкло,
Неясным эхом слышатся вдали
Мелодии прекрасного далёка.
Простой уклад, нехитрый сельский быт.
Поскрипывают ставни, рдеет пламя
В печи. И мы, два баловня судьбы,
Друг другом не насытимся часами...
Пускай на тёмном пыльном чердаке
Порочно и призывно стонет ветер –
Твоя рука лежит в моей руке
Как нежное письмо в большом конверте...
Холодным утром кофе аромат
Острее, чем клинок дамасской стали.
И если здесь, за дамбою, тюрьма –
Свободы мне захочется едва ли.

Это смешение вывесок...

Это смешение вывесок, тускло мигающих светофорам,
запаха кофе, магнолий, жжёного ли песка,
рябь нескончаемых волн под Суэцем ли, под Босфором...
Здесь даже войны приводят только к ожесточённым спорам,
кто победил. Здесь развязка неописуемо неблизка.
Это иллюзия веры, а паче спасенья... Всего, что идет за гробом,
судя по старой книге, весьма истрёпанной за века.
Если не посвятить здесь себя авантюрам, ошибкам, пробам,
можно остаться распространённым верующим микробом,
в будущей жизни надеясь возвыситься до червяка.
Это история переворотов, походов, осад и боен,
имя Господне в которых всегда заменяет любой резон...
Так почему же, когда серебристый огромный боинг
ухает вниз вместе с сердцем из рваных ночных пробоев
в тучах, ты ждёшь электрическим заревом тлеющий горизонт?
Пусть ты рождён далеко, на степном восточном краю Европы,
в царстве штампованных винтиков, вечно оторванных от корней.
Видя теперь эту землю, где камни, пустыни, скалы и козы тропы,
ты ощущаешь себя полноправным плодом её утробы,
корчишься, плачешь и радуешься вместе с ней.
Что тебе в этой земле и в пронзительном небе, кроме
царских щитов, под которыми деда и прадеда погребли?
Где этот голос вечности, голос причастности, голос крови?
...Раннее утро. И на запруженном сильными птицами аэродроме
видятся рыжебородые капитаны и финикийские корабли.

Дорогам Фландрии

Подземный паркинг. Пять часов утра.
Чудовища асфальтны и бетонны.
Минуты вялы, злы и монотонны,
и ночь сползает в пантеон утрат,
где не слышны моления и стоны...
Как утро? Неужели утро, брат?
...У рамок очередь. Расстрелянный Брюссель
не верит больше ни слезам, ни визам.
Бессмысленно торчащий тепловизор
на винтаре, и мутный, как кисель,
квадрат окна броневику времён лендлиза...
В деревню, в глушь, подалее отсель!
Туда, где Шельда повстречала Лис,
где лижет камни вековая тина,
где серые громады Гравенстина
с таким же мрачным небом обнялись,

и в этом небе прорвана плотина,
и капли разбиваются картинно
о мостовую Гента. Помолись,
о, путник, помолись своим богам,
философам, пенатам или ларам
за эту страсть к далёким берегам.
Такие встречи не проходят даром.
На этих ли, на прочих площадях
лишь камень чары времени щадят,
обтёсанный умелыми руками,
и в камне – память.
То есть, память – камень.
...В полях за Ипром, от земных оков
свободна, спит английская пехота,
и не судьба дожидаться Дон Кихота
шеренгам равнодушных ветряков...

И вопросов не остаётся вовсе...

...И вопросов не остаётся вовсе,
кроме вечных – эти уже не в счёт.
Машинально следишь за часами. Восемь.
В новостях говорят о Сирии и Давосе.
Открываешь книгу, собственно, на авось, и
ждёшь... Но память границ не пересечёт.
Вроде всё как всегда, но в груди непривычно пусто,
так, что гулкое эхо гаснет, дёргаясь на ножах,
словно вздох стадиона, глухо, тысячеусто...
И февральская полночь, и мягко горчит *robusta*
diablo, как утром назвал эту смесь бакалейщик Жак,
ухмыляясь в усы, мол, разбудит любую Барби,
даже, кажется, зная, как метко
ухмылка и слово ложатся в цель...
И привязанность к жизни, как и привязанность к бабе,
из разряда болезней скорее, нежели панацей.

Из итальянского этюдника. Пьяцца Сан-Иньяцио

...Мрамора столько, что ты цепенеешь вдруг,
рядом с японцами, в центре одной из piazzas,
думая о миллионах голов и рук,
строивших этот город в дожди, в жару,
в войны и эпидемии... Ты, паяц,
не отесавший и камня за столько лет,
не завершивший даже простой чертёж,
и не сжимавший в складках плаща стилет,
просто явился, просто купил билет.
Просто стоишь и смотришь. Чего-то ждёшь.

Ангела? Озарения? Ночи? Дня?
Это не город, это прорыв плотин,
пляска святого Неронового огня,
жаркие бёдра кудрявых шальных латин,
перерождённые в мрамор и травертин...
Смерть победима. Истлели века назад
кости, но их фонтаны полны монет,
музыка льётся, заката лучи скользят,
глядят скульптурный, каменно-крепкий зад,
кто-то читает Тассо... И смерти нет.

Джо

...Знаешь, Джо, всё же время – плохой попутчик.
С ним и в ногу непросто, и не отстать, да и не обогнать никак.
В тёмных шеффилдских улочках, в поднятых воротниках
и в прокуренных барах останется твой скрипучий
голос тёплым глотком фэн-буаского коньяка.

Ради Бога, Джо, вот не надо, что время лечит..
Стёрлись крылья. И к лучшему. Больше не нужно ничем махать.
Это слишком ответственно. Правда, без них полегче.
Все уходят без крыльев. И нет иных, а другим далече
До тебя. До небес. До *Unchain my heart*¹.

Всё по-честному, Джо. Так записано в книге судеб.
Закрывается дверь, громыкает в затылок тяжёлый стальной засов.
Пусть тебе там крылатое войско нектару нальёт из своих посудин.
Ты, кто в жизни взлетал до звёзд, никому неподвластен и неподсуден,
самый рыжий, бродячий и пьяный из прочих рычащих английских псов.

Так и кончилось, Джо. Небо посеребрило Млечный
путь. Не желаю покоя. Дерись, вырывайся, мечись, не покойся, вой
на каком-то из этажей пресловутой ночлежки вечной..
...Знаешь, время плохой попутчик. Сходя на своей конечной,
ты не вспомнишь о том, что время
давно пересело
на кольцевой...

¹ *Unchain my heart* (англ. анчейн май харт) – раскуй (освободи) мое сердце, название песни Джо Кокера.

Иван МАКАРОВ

КАПЛИ И КАМНИ

*Да, – сказал Жан-Жак Руссо, –
Лансье было каласо...*

Мария Козлова

I.

А как хорошо все начиналось!

И осень была теплая...

А потом у нас сгорел курятник.

Действительно, хорошо начиналось. Правда, шли иногда дожди, и даже снег уже был и растаял, но настоящего холода еще не случалось.

А потом у нас сгорел курятник. Вместе с курами. Куриц было много. Едва не сто. Курятник был большой, кирпичный, с большой деревянной пристройкой, в которой и начало гореть.

Еще в августе я с товарищами колот и носил туда дрова для печки. На зиму. Дров было много. И когда в пожаре почти все уже сгорело, в том месте, где мы сложили наши дрова, стоял большой плотный огонь. Даже издали видно было, какой там жар.

А еще вместе с курицами в курятнике сгорел щенок.

Там их было много, весь помет.

Наша большая старая сука Арма оценилась, и когда щенки чуть подросли, Игорь, заводивший курятником, всех их собрал туда, в пристройку, ни одного не позволил утопить, он очень любил собак и вообще всякое зверье.

Но вот случился пожар, все собачонки выбрались, а один сгорел.

Страшно, но мне тогда не очень жалко было щенка, до того я успел устать от жизни и очерствел душой. Сразу, когда сказали, что щенок сгорел, больно кольнуло, конечно (просто себя на месте погибающего в огне щенка представил: я маленький, беспомощный, ничего не понимаю, а кругом огонь, и ничего сделать нельзя). А потом я больше переживал за Игоря: вдруг у него будут неприятности из-за электрического или печного небрежения, от которого загорелось.

Обаче, обошлось.

Почему обошлось, понятно. Монастырские люди бывают умны. Все поняли: раз сгорело, так и должно было быть. Не нарочно же поджигали.

Кто-то, может быть, сказал даже: «Бог посетил». Или подумал.

А как хорошо все начиналось! –

так любил говорить послушник Евгений («схиархипослушник», как он сам себя называл), человек большого роста и толстый, с глубоким громким голосом.

– А как хорошо все начиналось! – говорил он, на двух костылях медленно спускаясь по узкой лестнице желтого корпуса. – Еще два месяца назад с палками только ходил, а теперь вот и на двух костылях кое-как. А как хорошо все начиналось!..

Иван Макаров родился в 1957 году в Москве. Окончил химико-технологический институт и заочно литинститут им. Горького. Работал инженером, слесарем, дворником, сторожем и т.д. Публиковался в журналах и альманахах «Новый мир», «Согласие», «Знамя», «Юность», «Поэзия», «День поэзии», «Плавучий мост», «Крещатик», «Топос» и др. В 2006 году вышла книга стихов. Живет в Калужской области. В «Волге» публикуется с 2017 года.

Еще он придумал свою какую-то особенную, грамматически сложно, вернее, непривычно устроенную молитву и очень любил всех, кто еще не знал его и готов был слушать, этой молитве научать.

Похоже, иногда он мыслил себя «старцем». А в остальном неплохой человек.

Из Боровского монастыря его в конце концов все-таки выгнали, хоть и долго пытались терпеть его своеобразие и бороться. «Спасать». Свято-Пафнутьев Боровский был не первый монастырь, из которого его удаляли, потому и – «схиархипослушник».

И вот однажды он вернулся. На Пасху. Просто приехал в гости.

Он сидел на лавке с плотником Евгением.

– Ого! Не каждый день такое увидишь: два Евгения рядом.

– А вот и нет, – сказали мне, – Евгений только один.

А бывший схиархипослушник был теперь (он так сказал) схимонах Петр.

Честно говоря, я удивился, что это за монастырь такой, где так легко и быстро постригают, и тем более в схиму. Да и одет он был в гражданское.

Однако, как бы то ни было, передвигался он теперь совершенно самостоятельно и довольно-таки легко – и с одной только палкой.

А как хорошо все начиналось!

«А потом князь Курбский убежал в Ливию...»

(Это, кажется, на экзамене по истории.)

А как хорошо все начиналось!

Капля, говорили, камень точит...

Но это дело нескорое. А вот сами они, падая на камень, рассыпаются, вдребезги...

А как хорошо все начиналось!

Давно это было. Лето. Свет и тепло. Березы. Елки. Трава.

Свято-Введенский женский монастырь на острове. В городе Покров Владимирской области. Накануне Петра и Февронии Муромских.

И настоятельницу зовут Феврония.

Я в первый раз в жизни приехал тогда в монастырь. Бывал, конечно, «на экскурсии», а «по-настоящему» в первый раз.

Приехал на три недели. «Потрудиться». И «для душевной пользы». А может быть, и из любопытства тоже. И даже, может быть, главным образом именно из любопытства. И образ жизни ненадолго переменить. А главное – «Так благословили». Тогда это было значимо.

Мы, так называемые «трудники», курим на лавочке (где разрешалось).

Много курим и очень много говорим. Мне здесь все еще такое новое...

Трудник Слава очень худой и высокого роста. Я поневоле смотрю на него снизу вверх. И не только из-за роста.

– Это у тебя, – спрашивает он, – первый монастырь?

– Первый... А у тебя не первый?!

Слава только покачал головой.

– Второй?.. Нет?.. А какой?

Слава только иронически качал головой и смотрел на меня сверху вниз. Поневоле. Из-за высокого роста. А я трепетал от уважения.

Сколько ж, думал я, человек монастырей восстановил...

Позже я бы по-другому подумал: Эх, из скольких же уже монастырей тебя, беднягу бездомного, за пьянство выгнали...

А теперь я б уже и ничего не подумал. А что тут думать? Думай – не думай, ничего не придумаешь. Судьба такая. Путь. И не у одного только Вячеслава.

Жив ли он теперь? Хотелось бы.

А как хорошо все начиналось!

Раньше, еще до 17-го года, в монастыри тоже приезжали трудники (случалось, даже по морю приплывали – на Соловки).

Тогда, 100 лет назад, эти трудники разделялись (условно) на две категории: приезжали или «по усердию», или «по обещанию».

Большую часть теперешних трудников тоже можно разделить, хотя и условно, конечно, на два разряда: кому некуда пойти (бомжи, бездомные и т.п., просто не знающие пока, как дальше жить – страна-то у нас, как сказал пролетарский поэт, «для счастья мало оборудована», и число людей, теми или иными обстоятельствами выброшенных из условно-нормальной жизни, не поддается никакому учету) и те, которые от кого-то или от чего-то прячутся, на современном околмонастырском языке – «шифруются». Тоже – «область неблагополучия». Или то и другое одновременно.

Но не все, конечно. И «по усердию» бывают, и «по обещанию», и «по благословению», и «за послушание». Некоторых родные в надежде исправления (исцеления, перевоспитания) отправляют в монастырь, других приходские батюшки благословляют. И «взыскующие» бывают, и «ищущие»... И верующие, и всякие... И те, кто в семинарию собирается, и рекомендация нужна, и те, кто монахом хочет быть, или просто в монастырскую братию (это, кстати, не совсем одно и тоже)... И в разных монастырях бывает по-разному, и в разное время по-разному...

Но первые две категории, хоть и не всегда, но очень часто главные. Случается, спустя некоторое время кто-то из этих людей получают подрясник, а иные становятся даже монахами...

Но что бы там с кем дальше ни было, дай Бог здоровья и всякой радости настоятелям, наместникам и экономам тех монастырей, где принимают в трудники всех приходящих без разбора чина, звания и возраста, всех болящих, заблудших, трудных, белых, черных, чистых, грязных... Лишь бы минимально соблюдали (или старались) общепринятые нормы человеческого общения (друг друга не убивали)...

Не всем, конечно, но очень многим это самое монастырское трудничество очень помогло в жизни... Многих монастыри просто спасают. И от физической гибели даже... Не всех, конечно, но многих...

Хотя бывает и наоборот... И монастырская (околмонастырская) жизнь таит в себе множество опасностей. Случается, просто калечит... Бывает, и убивает...

...А вообще-то все мы, странники, очарованные и разочарованные, обыкновенно и сами не очень знаем, зачем, как, почему и отчего оказываемся в том или ином месте времени и пространства. От каких поворотов чувства, мысли, судьбы, обстоятельств. Просто летим, куда ветер дует, плывем, куда несет волна или течение, тащимся, куда тащит...

А как хорошо все начиналось!

И у Вячеслава тоже. В армии он служил где-то на Памире. Очень высоко в горах. Пограничником. Любил вспоминать про это. Потом жил возле Питера. В Сосновом бору. На атомной станции работал. Техником. Была у него там жена и дочь...

А теперь вот идет он по свету из монастыря в монастырь.

Из Свято-Введенского в Покрове, я после слышал, его вскоре тоже выгнали.

А тогда он не унывал. О странствиях своих рассказывал весело и не зло. Что-то врал, конечно. О чем-то молчал. Разумеется, хвастал. Мне тогда это все было удивительно и даже казалось прекрасным...

Между прочим, Слава утверждал, что его прадед по матери был епископом, и что он тоже непременно когда-нибудь будет епископом...

Все может быть. Правда, «Символа веры» он тогда, на четвертом уже десятке лет совсем не знал, и «Отче наш» нетвердо... Но разве он в этом виноват?

А как хорошо все начиналось!

У моей знакомой медсестры Любы есть подруга.

Год назад она нешуточно заболела. Ей поставили диагноз. Страшный и неутешительный. Когда узнала, она все свои вещи, всю одежду в срочном порядке раздала...

Но пока, слава Богу, вопреки диагнозу, жива. И неплохо себя чувствует.

Только теперь ей совершенно не во что одеться. Все раздала.

Сейчас мороз –15-20 градусов, а она ходит в плаще и туфлях или в очень тонких (осенних) сапогах. Ко всему, она дама крупная, и необходимого размера ей нелегко что-нибудь на себя подобрать.

Но ведь это теперь просто смешно, правда?

Теперь, когда диагноз «не исполнился». К тому же подруга медсестра Люба ей непременно поможет, срочно добудет где-нибудь все необходимые тряпки...

А как хорошо все начиналось!

В Св. Введенском монастыре был обычай каждый вечер обходить остров с иконой. Иногда ходили порядочным числом, благословляя иконой всех, и нас, трудников, сидящих на «курительной» лавке у нашего отдельного корпуса тоже. Тогда мы все вставали с лавки, прятали за спину горящие папиросы, крестились на иконы и кланялись.

А иногда шествие состояло из одной только старушки, за которой шли две-три маленькие, дошкольные девочки. Но всегда, независимо от числа женщин, за ними шла хотя бы одна кошка.

Кошачьи вообще почему-то очень любят крестные ходы. Однажды в Боровске на Светлой седмице два кота даже подрались – за свое место в процессии.

А как хорошо все начиналось!

В Св. Екатерининском монастыре в Суханово (г. Видное) благочинным был иеромонах Иоанн, довольно еще молодой человек.

В отсутствие настоятеля, епископа Видновского Тихона, ему вменено было в обязанность после обеда, перед началом работы произносить напутственное слово.

О. Иоанн очень любил и умел работать и служить в храме любил, но назидательное говорить не любил и при всякой возможности уклонялся, но послушание у нас «паче поста и молитвы», паче того и другого, паче много чего, и о. Иоанн иногда говорил это положенное «слово».

И до и после я много слышал и читал и напутственных, и разных, и замечательных, и всяких «слов», но лучше того, что я услышал однажды от о. Иоанна, я едва ли вспомню:

– Ну, что я могу сказать?.. Молиться и трудиться... Трудиться и молиться... И... – О. Иоанн помолчал... – И... И не обижайте друг друга... Всем трудно... Тяжести друг друга носите...

Кто-то улыбнулся, кто-то поправил, и о. Иоанн улыбнулся тоже и поправился:

– Тяготы, конечно, тяготы... Тяготы друг друга носите...

Будь я не так жестокосерд, я б, может быть, прослезился тогда от этих простых и честных слов.

Тем более про несение тяжестей было как нельзя более своевременно: нам случилось там и очень большие камни, и много всего другого, еще более тяжелого, перетаскивать, откапывать и закапывать, разбирать и складывать.

Конечно, о. Иоанн не только эти, и прежде всего не эти тяжести имел ввиду, но я был так тогда своей личной душевной болью и скорбью полон, что все чужие несчастья и эти самые тяжести (которые суть «тяготы друг друга») казались мне совершенными пустяками... Мне б, думал я (дурак!), их заботы...

А как хорошо все начиналось!

Выпал снег. Сразу стало легко и красиво. И работа выпала нам всем в тот день легкая и радостная.

В монастыре тогда была еще свалка строительного мусора, и в тот день мы убрали и грузили металлолом. Железо вообще приятно грузить и сравнительно легко: оно не камни и тем более не мешки.

Но главное: что мы грузили!

Сколько радости было сдавать это в переплавку!

Это было радостней, может быть, чем если б мы мечи на орала перековывали...

Примерно три четверти лома были большие железные решетки. Обычные на вид, сваренные из прутка, уголка, полосы, похожие на какие-нибудь самодельные двери, каких на каждом заводе сколько угодно встречается.

Но это было совсем другое. Это были настоящие тюремные решетки, оставшиеся от прежних хозяев.

Когда-то, а в сущности, не так уж и давно, в монастыре располагалась Сухановская особая тюрьма МВД.

Даже когда монастырь вернули церкви и в храме уже шли службы, местные жители все еще просто боялись заходить внутрь...

...Один из братских корпусов и сейчас называется «бериевским», а в трапезной в цементном полу видны были срезы железных труб – ножек намертво залитых в бетон железных табуретов, там допрашивали...

С воодушевлением и восторгом я кидал гнусное железо в кузов 130-го ЗИЛа.

Туда их! Вон! В печь! В переплавку!

Наверно, я слишком несдержанно радовался. Или рано радовался.

Совсем немного времени спустя, оставив монастырь, я побывал в обезьяннике за очень похожей решеткой...

Не все переплавили.

Больше того: много еще новых навывдумывали и наделали...

...Когда меня везли в милицейской машине, был поздний вечер, горели фонари. И тяжелый, большой, мокрый, совсем не московский, а какой-то южный выпал в тот вечер снег, и ветки деревьев в снегу были красивы, как пальмы, даже лучше, и я смотрел, смотрел на них с жадностью. Старался запомнить. Что бы ни было со мной дальше, я должен сохранить, не забыть эту красоту, она согреет, она утешит меня всегда... Обыкновенные городские деревья в снегу. На нешироких улицах. Вечером. В свете фонарей.

...А ночью резко похолодало. Градусов до десяти. И засыпанным снегом деревьям, схваченным вдруг льдом, было, наверно, больно, ветки гнулись и ломались...

Рядом со мной в обезьяннике умирал бездомный. Похоже, действительно умирал. Похоже было на воспаление легких.

Он пытался все же улечься на узкой лавке. Я положил ему под голову свою шапку, стал стучать в дверь. Неотложку, к моему удивлению, охотно вызвали. Фельдшер с блестящим чемоданчиком подошел к решетке, ему открыли.

Обернувшись, он спросил сержанта:

– Документы есть? – (т.е. у лежащего). – Нет? – Фельдшер развернулся. – До свидания...

...Для меня, однако, тогда все обошлось: выпустили.

Следователь умный попался. Решил не занимать драгоценную зарешеченную площадь всякими пустяками...Или установка была такая... Не занимать попусту драгоценную зарешеченную площадь...

А как хорошо все начиналось!

Многого я не знал, был глух и нем, патологически самовлюблен.

В Св. Екатерининском монастыре я не жил. Даже не переночевал ни разу.

Видел мельком, когда искал кого-то, что койки в кельях у них там по большей части двуярусные. Мне, дураку, это даже понравилось. Показалось уютно ...

Я просто приходил в монастырь поработать «во славу Божию» (так это называлось). С 9 до 18, кажется.

Когда в 18-00 я уходил, на меня смотрели с тоской и завистью.

А я завидовал остающимся. Уходил, с тоской оглядываясь на стены и башни, в пустоту и одиночество дома, где, как говаривал Батюшков, «я не один, и нас не двое»...

Я работал в монастыре не «по усердию» и не «по обещанию», а как бы «за послушание». Вернее, «за непослушание».

В августе я, мягко говоря, порядочно начудил, и настоятель храма, куда я тогда ходил, велел мне однозначно и немедленно ехать в монастырь – «исправляться».

А я считал, что уезжать из дому мне как раз в это время и нельзя было, и придумал такую вот непонятную паллиативу: в монастыре не жить, а только приходить «трудиться». Мне и прежде случалось так «приходить потрудиться» – было время всеобщего воодушевления и восстановления храмов. Ни служб, ни молитв практически не зная, бежали хотя бы «потрудиться»...

И вот я уходил, а трудники, в большинстве своем, в сущности, бездомные, завидовали мне как уходящему, а я, дурак, завидовал им, остающимся...

А как хорошо все начиналось!

1960-й год. За окном маленькие, чуть живые, их только посадили, липы, зато во дворе огромные старые тополя.

Дома, в комнате большой лимон на подоконнике, диван... Радио, сначала это был даже не приемник, просто большая черная тарелка репродуктора... Старый платяной шкаф с зеркалом до самого пола. По граненым краям зеркала – радуга...

На полу горшок...

А потом я поступил в Детский Сад...

А как хорошо все начиналось!

Но меня укусила собака.

В детстве я очень боялся собак. Даже самых маленьких. Любая несчастная болонка или «пекинеса» могла просто терроризировать меня. Мне отец объяснял: «Не надо бояться, и собака не тронет». Я верил, но не мог с собой справиться...

Это продолжалось долго. Пока первый раз не укусила. Тогда я понял, что это не очень страшно, и перестал бояться...

Но на сей раз это была совсем другая собака. Правда, она была большая, лохматая и грязная. Но я ее совсем не боялся.

Я жил тогда, как все: пил, гулял, занимал деньги у друзей и знакомых... А потом случилась эта самая маленькая беда. Собака.

Я, собственно, ничего дурного не делал. Я только газету хотел почитать.

Очень вдруг захотелось почитать газету. Бывает, знаете, приходит вдруг такая блажь...

Я в подземном переходе стоял, от дождя укрылся, а газета на мраморном полу лежала, а на ней какая-то чепуха... И собака это ела.

Ей, по-видимому, так и дали на газете, чтобы мраморного пола не пачкать...

Я не трогал ее еды... Зачем она мне нужна?.. Я только газету хотел, а собака, наверно, не поняла и укусила. Дура собака!..

А как хорошо все начиналось!

Воспитательницы в детском саду были большие и красивые. Чулки у них были черные кружевные. Это я хорошо помню, потому что, когда они меня одевали, голова моя была где-то на уровне их коленок.

Они были добрые и веселые.

А еще они учились, наверно, где-нибудь на вечернем или на заочном. Или просто любили читать. Потому что в самой младшей группе они выучили меня стихотворению Лермонтова «Воз-

душный корабль». Сами, может быть, учили по программе и заодно меня выучили. Мне очень нравилось, хотя я не все смог запомнить:

По синим волнам океана,
Лишь волны блеснут в небесах...

А потом я продекламировал это дома, и дальше тоже:

Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем,
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем...

Мама страшно возмутилась. Для младшей группы детского сада это показалось ей непозволительно сложно. Вероятно, она и в детском саду, придя меня забирать, возмущалось: нельзя так нагружать малолетнюю голову...

На самом деле мама очень любила Лермонтова и, может быть, это было что-то вроде ревности: не она сама, а какие-то детсадовские воспитательницы читают его с мной.

А как хорошо все начиналось!

Только никто никому не верил, и за колбасой в Москву даже с Урала ездили...

Нет, не совсем так... Верили... «Своим» верили... И «чужим» верили: заграничным, эмигрантским и несоветским...

А потом объявили зеленого змея врагом и ввели полусухой закон... Даже за самым плохим и глупым пойлом живых людей выстроили в километровые очереди. Первые жертвы, и слезы, и смех...

Одна из веселых историй того времени:

Очередь к пивной палатке. Длинная. Над окошком объявление:

«Ветераны Куликовской битвы обслуживаются вне очереди».

Кто-то возмущается, кто-то смеется.

Приходит старец с клюкой: Давайте пиво без очереди. Я ветеран.

– Очень приятно. Ваше удостоверение...

– Какое удостоверение? Вы что? 600 лет прошло...

– Не знаю, не знаю... Татары предъявляют.

А как хорошо все начиналось!

...Тулун, Египет, Аустерлиц, Москва, Лейпциг, 100 дней... А дальше ночь, океан, Св. Елена...

И – этот самый воздушный корабль Лермонтова:

«... Иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою...»

Изменили... Это очень нехорошо... И шпагу продали...

В те счастливые детсадовские годы я понимал это очень буквально, я отчетливо представлял себе маршала в темном плаще, который в вечерних сумерках под полой этого плаща нес продавать свою шпагу на какой-то рынок с деревянными прилавками, вроде нашего Зацепского...

А как хорошо все начиналось!

Но – появилось лучшее: непримиримый враг хорошего...

А как хорошо все начиналось!

Но – четверть века промелькнула как миг.

И вот, конец июля. Пасмурно. Низкие тучи. На увитых хмелем репейниках веселятся и ссорятся птицы.

А как хорошо все начиналось!

А теперь... Увы... Увы...

А что теперь?... Нехорошо?... А как знать, может быть, и про это наше нехорошее сегодняшнее мы еще скажем: «А как хорошо все начиналось!»

А как хорошо все начиналось!

Однажды случилось чудо.

То есть чудеса, конечно, случались часто, можно сказать, почти ежедневно, и теперь случаются, и самое главное чудо это то, что мы еще до сих пор живы.

Но то было совсем другое чудо.

Отключилось электричество на подстанции. Это бывало нередко, отключалось ненадолго. Дело было днем, ничего страшного не произошло, только воды в кранах не было, насос не работал, и чайника нельзя было подогреть. Но это все не чудо.

Я проходил мимо Собора, в это время на колокольне сколько-то там проббили часы, и полминуты спустя ко мне подлетел Круглый Дима (действительно круглый):

– Ты слышал? Ты слышал?... Чудо!

– Какое чудо?

– Света нет, а часы идут... И звенят!.. Чудо!..

Дима в свои 35 лет и не подозревал даже, что на монастырской колокольне 17-го века могут быть механические часы, которые идут и звенят независимо от подачи электричества... И в самом деле: чудо. Чудо удивления.

Дима вообще был немногословен, поэтому все, что он говорил, слушалось с вниманием.

Однажды, лежа в келье, он безо всякой связи с происходящим, отвечая своим внутренним мыслям, вдруг произнес:

– Да... Теперь настоящих монастырей мало. Теперь монастыри коммерческие.

А как хорошо все начиналось!

Действительно, хорошо начиналось.

Хуже было некуда. Так казалось.

Мы еще не знали, что бывает гораздо, гораздо хуже. Дураки были.

А как хорошо все начиналось!

Мой добрый друг Вадим, послушник, удивительной, редкой, большой, доброй и умной души и трудной судьбы человек, рассказал мне однажды, как он начал воровать.

Он был тогда без подрясника, и мы с ним присели покурить, спрятавшись в маленькой нише возле монастырских ворот.

– Знаешь, как я начал воровать? Из-за женщины...

Мне было не очень приятно про это слышать. Не то чтоб неприятно, тут другое... У меня не было такого богатого, трудного и страшного опыта, как у Вадима, и я, поневоле, чувствовал себя не совсем ловко. Мне было стыдно, что ли... Да, именно стыдно. Не за Вадима, конечно. За себя. Стыдно, что я такой условно благополучный... Стыдно было, как сытому перед голодным...

– Да, – продолжал Вадим, – из-за женщины. Вернее, из-за девочки. Это было в первом классе. Я как-то случайно залез в раздевалке в карман чужого пальто, там были конфеты, хорошие, шоколадные... Мне очень нравилась одна моя одноклассница, и я принес ей эти конфеты. Она была так рада! И мне радостно было на нее смотреть, когда она радуется... И я стал ходить в раздевалку и искать там сладости во всех карманах... И находил, и приносил ей. И смотрел, как она радуется...

А как хорошо все начиналось!

Ночь. Луна. Волки.

А как хорошо все начиналось!

В Иосиф-Волоцком монастыре по утрам перед началом работы, еще в темноте, мы все собирались возле мусорных контейнеров. Курили, разговаривали. Потом приезжал эконома на тракторе с прицепом, мы загружались в этот прицеп, усаживались на борта и ехали куда-нибудь недалеко, где на монастырской или околмонастырской территории мусор был выброшен «беззаконно», там вылезали и лопатами нагружали прицеп. Эконом привозил его назад, а мы возвращались пешком и выкидывали мусор в контейнеры.

Однажды мы как-то слишком долго ждали эконома, видно, трактор не заводился, к нам подошла Михайловна, жаловалась на свои беды.

Михайловна командовала коровником. У нее были неприятности. Трудники от нее как-то все сразу разбрелись, некому стало работать. Убирать за коровами.

Михайловна добрая женщина. Она очень любила животных, она так сильно их любила, что те, кому случилось у нее поработать, говорили, что коров она любит гораздо больше, чем людей, и поэтому работать в ее хозяйстве никто не хотел.

Вот она и стояла с нами, разговаривала, надеясь кого-нибудь уговорить.

Рассказывала, какие у нее трудились подвижники. В основном жаловалась, что сильно пили. Но этим никого не удивишь. Однако бывали и другие случаи.

– ...Один был такой уж старательный... Не нарадуюсь... Но... Другая беда... Все надо было на замок закрывать... Только не закроешь, что-нибудь стащит...

Мы слушали сочувственно, но помочь Михайловне и пойти к ней на коровник никто не спешил. А Михайловна все рассказывала:

– А вот еще один был... Чудо... Не работник, а клад... Тихий, спокойный, старательный... Две недели проработал, а потом вдруг вечером кошку схватил, нож к ней приставил и мне говорит: «Сию минуту давай, говори мне телефон патриархии, а то я кошку пополам перережу...»

А как хорошо все начиналось!

Мы все больше всего на свете любили прекрасное и стремились к нему...

Но... Увы, увыв... У нас у всех было разное представление о прекрасном...

А как хорошо все начиналось!

Только вот коровы...

Сколько беды от них! Жрут. Жуют. Роняют навоз. Доятся. Рожают телят и так далее. И не знают, не думают, какие они всем этим нам беды несут.

Хуже всего навоз. Валят и валят...

...А весной всякие мелкопоместные дачники радостно покупают этот самый навоз машинами, а водителю стыдно бывает «навозными» деньгами не поделиться, и потом многие страшно болеют, дни путаются с ночами, память теряет огромные куски времени и др. и пр. Тем более, на навозные деньги и напитки приобретаются какого-то совершенно навозного качества...

А как хорошо все начиналось!

Разные люди приезжали в монастырь.

Однажды приехал среднего возраста скромный человек из Москвы. Усердно посещал все службы. Стоял в храме прямо и неколебимо, как памятник. Работал усердно до изнеможения. В немногое свободное время лежал на кровати и читал книжку рассказов Хармса.

Звали его Андрей. Разумный, спокойный. У него случились всякие непонятности.

Умерла, погибла в пожаре родственница в деревне в Елецком районе. Или даже не совсем родственница. Но не чужой человек. Стало душевно трудно. Плюс алкоголь.

И Андрей приехал в монастырь потрудиться, помолиться, успокоиться, привести себе в разумный вид. Что ему, кстати говоря, кажется, вполне удалось. Уехал спокойный, довольный, обещал еще приезжать.

Между прочим, я спросил его о профессии.

– Художник. Художник-ювелир...

– Ну, и как это теперь? Хотя бы прибыльно?

– Нет.

– Конкуренция?

– Нет. Просто все есть.

– То есть в магазинах?

– Да. Все есть... Никому ничего не надо...

А как хорошо все начиналось! А теперь слишком много всего стало, и никому ничего теперь уже не нужно...

А как хорошо все начиналось!

А теперь везде видеонаблюдение. Даже в монастыре. Даже в нашем.

И на трапезной (16 век) установили камеру, что, как говорят, если под колокольной (16 век) почти за полста метров кто-нибудь сядет газету читать, в мощную камеру будет видно, что он читает и даже вместе с ним читать...

О, Сад! Где видеокамеры напоминают людям, что они братья...

А как хорошо все начиналось!

...Ну, сколь можно!.. И не надоело повторять...

Нет! Не надоело. Потому что это правда. И не устану повторять: Как же хорошо все начиналось!..

А как хорошо все начиналось!

Я ходил лохматый и с бородой. И одевался как попало. Мог себе позволить...

Я шел подземным переходом. В кулаке у меня была зажата такая бумажка (сто рублей). Единственная. Перед самой лестницей на меня выскочил мужик. Обыкновенный, не очень выпивший.

Увидев мою лохматость и небритость, спросил:

– А вы в Бога веруете?

Почему-то лохматость и небритость у нас как-то неразрывно связывается в народном сознании с религиозностью и даже почему-то с принадлежностью к Святой Соборной Апостольской церкви...

– Верую, – твердо ответил я, а внутри шевельнулось сомнение: не обманул ли я, может быть, честнее было бы сказать «Стараюсь верить»... Вера-то моя слабая...

– А футбол любите?

– Нет. Футбол не люблю.

– О! – Мужик схватился за голову, зашатался и не пошел, почти побежал мимо меня по переходу. – Вот это да! Вот это да! Как это? В Бога верует, а футбол не любит... Вот это да!..

Бедняга был так удивлен, что даже забыл попросить у меня сто рублей на вино, хотя явно именно ради этого он и про веру спрашивал, и про футбол...

А как хорошо все начиналось!

А теперь нас стало слишком много, и мы больше не можем относиться друг к другу внимательно... Стали, собственно, друг другу не очень нужны. Никто никому не нужен. Потому что нас много?

А как хорошо все начиналось!

В Свято-Введенском монастыре в Покрове кроме прочих было одно довольно забавное послушание.

Озеро, на озере остров, на острове монастырь. Озеро очень чистое и большое.

На другом берегу пляж. Там тоже люди проходили свою аскезу. Вероятно, более привычную, но от этого, может быть, не менее трудную. Что именно там происходило, из-за дальности расстояния видеть было невозможно, только ночью огни костров в темноте. Зато слышно было слишком даже хорошо.

Там хохотали, кричали, визжали. И музыка гремела противная. Все обычно.

А смешное послушание заключалось в следующем.

Ночью надо было, вооружившись длинной жердью, обходить остров дозором. По берегу. На случай, если кто-нибудь с дальнего пляжного берега, одолев озеро вплавь, естественно, голый, и, скорее всего, пьяный, захочет высадиться на остров.

Таковое «десантирование», даже и в мирных целях, считалось недопустимым: монастырь-то женский... И при помощи жерди его, приплывшего, буде приплывет (а прецеденты были), надлежало не допустить выйти на берег.

Моральная трудность тут заключалась в следующем.

Ну, столкнешь ты его в воду, выгонишь обратно в открытое озеро, а если он назад не доплывет? Если утонет, грех-то какой!

А везти его назад на нашей тяжелой лодке, ночью, да если он еще и не захочет... В мои смены, к счастью, ничего такого не произошло.

Зато как я «геройски» себя чувствовал, под пенье птиц и кваканье лягушек, разгуливая по острову с дурацким дрыном в руках... А еще луна, луна, луна...

А как хорошо все начиналось!

В этом самом Покрове, на этом самом озере, на этом самом острове еще в 17 веке основан был монастырь. Свято-Введенский. Правда, тогда он был мужской. Назывался Островная пустынь.

А потом случилось то, что случилось, и на этом острове, за монастырскими стенами (впоследствии разрушились от влажности и заброшенности), в этих самых монастырских корпусах и в храме разместили дом престарелых и инвалидов, затем — детский дом. А в 1932 г. в бывшем монастыре обосновалась женская подростковая колония...

...Как теперь, не знаю, а раньше мы и в монастырь попадали через проходную колонии для несовершеннолетних девочек... По-своему тоже «инокини»...

Пропускали, впрочем, свободно. Надо было только сказать охраннику: «Я в монастырь...» И дальше через понтонный мост...

Может быть, в «другую» жизнь...

А как хорошо все начиналось!

Деревня Теряево. Лето. Пруд. Монастырский огород, большой и ровный, как маленький аэродром. Деревья, птицы, собаки...

А потом наместник о. Сергей заболел.

Всех просили стараться не шуметь возле корпуса.

О. Сергей не появлялся на люди, и только иногда выходил на балкон поливать цветы.

В храме он появился через неделю или даже больше. Служил. Говорил проповедь.

Обычно его проповеди не производили на меня особенного впечатления. Все обычно, как положено. Как все. Ничего нового и ничего особенного.

Но в этот раз он говорил о Добром Самарянине. Все в точности за давностью времени не помню. Но помню, меня задело, разволновало. Я ему поверил. О. Сергей говорил честно и взволнованно, даже голос его как будто немного дрожал...

...Мы, которые хорошие, мы все просто мимо прошли, оставили ограбленного и избитого на дороге.

А мимо не прошел, помог — это кто-то совсем другой... Которого мы, хорошие, еще и осуждаем: чужой, не наш... Нехороший...

А чужой и нехороший, оказался добрым... Не как мы. Так, может быть, чем других («ненаших») осуждать и судить, лучше нам на себя посмотреть...

И в следующее воскресенье он снова служил. И говорил проповедь.

В этот раз, не смотря на всю свою грубость и черствость, я слушал его едва не со слезами. Все в точности за той же давностью времени теперь воспроизвести не могу. Но что-то все же осталось в памяти...

«...А если кто-то уверен, если кто-то чувствует себя уверенным, то...»

Тут получилась пауза. Видно было, как о. Сергей осторожно пытался подобрать слова, чтобы как-то смягчить, чтобы не слишком больно сказать... И не смог:

«...То такой человек практически неизлечим...»

2.

А как хорошо все начиналось!

Да, что ж это я все одно повторяю... Как хорошо все начиналось!.. Как хорошо все начиналось!.. Ведь и теперь все очень хорошо... Страшно даже представить, насколько все могло бы быть хуже...

А как хорошо все начиналось!

Настало лето. Но с ним и летние чудеса.

...В Иосиф-Волоцком монастыре послушание на привратке несли два человека. Федя и Саша. Попеременно. Сутки сторожил один, сутки другой. Достойные, но немолодые люди. Пенсионеры. И ничего – справлялись.

Но настало лето, и с пятницы по понедельник для усиления караула в монастыре вместе с ними монастырь стали сторожить нанятые сотрудники частного охранного предприятия в черных униформах.

Конечно, летом дачники приезжают, население вокруг монастыря увеличивается, вообще, летом всё веселее и все веселее.

Но охранников приглашают не для этого – необходимость укреплять безопасность диктуется свадьбами...

...Нет, конечно, в монастыре не венчают, но в округе не так много достопримечательных мест, и, кажется, все уважающие себя окрестные свадебные кортежи непременно заворачивают в монастырь.

Со всеми вытекающими... Все вытекающие: песни, крики, водка, мат – это понятно. Привычно и не интересно. На то и свадьба. На то и усиленная охрана...

Все это понятно, но меня во всем этом меня другое удивляло... Хотя, может быть, это только меня удивляло, а на самом деле ничего удивительного в этом нет?

Во всех этих свадебных обрядах и гулянках новейшего времени, которые я видел в Иосиф-Волоцком монастыре (а видел я их там немало), да и в других местах тоже, мне другое непостижимым кажется – хотя это, может быть, только мне непостижимо, а на самом деле именно так и надо?..

...В Иосиф-Волоцком это происходило обычно так.

...Свадьба выходит из своих длинных блестящих автомобилей, долго и внимательно поправляет одежды и прически, строится по порядку и входит в монастырь... Жених, невеста...

То на него, то на нее почему-то часто жалко бывает смотреть, а иногда и оба довольно-таки обреченно выглядят.

Причем невеста бывает иногда как будто для нарочного умножения жалобности заметно беременна, а жених случается на полголовы меньше невесты ростом...

За ними – свидетели. Шафера... Папа, мама (если живы)... Но все это как бы неглавные персонажи... Своей воли у них как бы уже и нет. Гости держатся уже самостоятельней, особенно если уже выпили (Хотя одеты ради свадьбы тоже часто бывают как-то подчеркнуто нелепо)... Но и они, можно сказать, почти что никто...

А самый главный у них фотограф.

Фотограф!

Что он им скажет, то они и делают!

Он ими командует, как хочет! Невесту хватает и вертит так, что будь на месте жениха нормальный человек, он бы ему просто по физиономии дал (тем более пьяные друзья рядом, если что, помогут). Но почему-то нельзя. Фотографа все слушаются. Принимают неестественные глупые позы, хватаются за язык колокола на звоннице, забираются в беседку. Обнимаются и целуются точно по команде и в указанных фотографом местах... А он направляет на них свою огромную разбойную страшную камеру и досадливо машет рукой: правой, левой, выше, ниже... Подчиняются беспрекословно.

Будто и свадьба сама по себе никому и не нужна, а для того только и происходит, чтобы все было снято, и при том снято «правильно», и для этого необходим самодержавный и деспотический, всевидящий и всезнающий фотограф...

Велика сила искусства. Особенно фотоискусства...

А как хорошо все начиналось! –

Щелкай, мол, без разбора, милый Кодак...

А как хорошо все начиналось!

Москва. Таганка. Большие Каменщики...

...Знала ли она, как она красива? Возможно, знала. Она так прекрасно говорила:

«Что позволено Юпитеру, не позволено тюленю...»

Она лекции читала. По истории. По истории Церкви. Вселенские Соборы...

А я только и помню теперь: «Что позволено Юпитеру, не позволено тюленю...»

Даже как ее звали, не помню... И про Соборы плохо.

Хорошо все начиналось... Только вот тюленя жаль. Как много всего ему не позволено...

А как хорошо все начиналось!

...А то ли еще будет!

А как хорошо все начиналось!

А потом смелый охотник Исав страшно проголодался и поспешил набить утробу, совершенно не заботясь о будущем...

...Не потому ли у нас в монастыре у нас многие не любят чечевичного супа? Не иначе за первородство боятся...

А как хорошо все начиналось!

А теперь у нас враг у ворот и зима на носу...А дальше что?

А как хорошо все начиналось!

Весело было и беззаботно. Случалось, конечно, всякое...

Трудник просыпается в коровьей кормушке, видит перед собой коровью голову. С добрыми глазами. Берет корову за рога:

– Милая! Дорогая! Дай пятьдесят рублей до завтра!.. Честное слово, верну!..

Действительно, хорошо начиналось: за пятьдесят рублей тогда еще много чего можно было купить...

А как хорошо все начиналось!

Правда, все очень хорошо было... Только мы долго не знали, что с этим хорошим делать, а теперь устали. Просто устали.

А как хорошо все начиналось!

Когда весной я в первый раз прибыл в Иосиф-Волоцкий монастырь, было еще много снега, но была оттепель, таяло...

Вряд ли мой приезд выглядел торжественно, но мне изнутри совсем по-другому казалось: я такой маленький, а монастырь такой древний, такой славный, такой большой и прекрасный, и лиственницы в нем растут, огромные и красивые... И Собор... Большой, белый...

Но прежде всего я еще издали увидел и удивился: какое плоское место!

Ровная гладь огромного пруда, за ним невысокие (издали) и страшно ровные стены, доволь-но-таки далеко друг от друга стоящие башни...

Никогда в жизни такого плоского и ровного места не видел. Даже в степи...

В нижнем храме дождавшись окончания вечерней службы, побежал уже по темноте, догонять о. Моисея, эконома.

– ...Вот он, в корпус пошел, идите скорее...

О. Моисей благословил меня остаться:

– Переночуйте пока, а там посмотрим...

Мне рассказали потом, что он не очень-то хотел меня брать, подозревая пьяницу.

В так называемом «рабочем бараке» (нигде не зарегистрированный памятник архитекту-ры – страннопримный дом начала 20-го века) меня прежде всего накормили. Игорь накормил, бригадир трудников, он же по совместительству – повар (виртуозный), и еще под его началом был курятник, тот самый, который впоследствии сгорел. Выделили место, где спать. Еще тем же вечером я сидел на крыльце, курил папиросу, гладил кошку и разговаривал по телефону с сестрой:

– Да, я в монастыре... Ничего не делаю... Кошку глажу...

А как хорошо все начиналось!

А теперь дрянь всякая на ум приходит:

«И с отвращением читая жизнь мою...»

А как хорошо все начиналось!

Штуки три кошки жили у Игоря в келье. Еще одна жила у двери, в прихожей и на крыльце: ей просто нравилось спать вместе с собакой, которая была велика и в келье не помещалась. Еще два крупных пса жили просто на улице. И все на воле!

Кроме одного, Лорда (так его звали). Того иногда привязывали: очень кур любил.

А как хорошо все начиналось!

И у Игоря тоже. По крайней мере, обыкновенно. Школа, армия...

Но у него была сестра. Наверно, красивая. И из-за нее ему пришлось отрезать человеку уши.

Этот тип стал к ней приставать. Не ухаживать, а именно приставать, грубо, гадко... Сестра Игорю не жаловалась, другие сказали, и что ему было делать? – Он встретил этого парня в подъезде и отрезал ему уши.

Может быть, он правильно поступил, может быть, нет, я не знаю. Понятно только, что по-другому он поступить не мог... Выбора у него не было. Не было выбора!

Дали ему четыре. Потом еще три.

А потом он решил, что ничего этого ему больше не надо, пожил на свете, как мог, а потом при-шел в монастырь. Не в монахи, конечно, но прожил он там уже довольно долго. Где-то он теперь?

А как хорошо все начиналось!

Звезды с неба падали. Похоже, часто. Некоторые были металлические... Из них делали мечи, ножи, топоры...

Потом это называли метеоритным железом.

Как хорошо было!.. Все само с неба падало...

А как хорошо все начиналось!

...А потом появилась просто Металлургия... Выковали доспехи для Голиафа и др. и пр...

...А потом «У бронзового Ивана Сусанина в Костроме руку отпилили и снесли в кабак. И в кабак взяли» (Ф. Достоевский. Дневник писателя. 1873 год, кажется). И так далее...

А как хорошо все начиналось!

Рано утром сосед, отставной военный, широко открывал окно, брал огромный нож и крупными кусками крошил на карниз колбасу и хлеб.

Тотчас слетались голуби и, толкая друг друга, хватали еду. При этом видно было, что колбаса им нравилась заметно больше, чем хлеб. То же повторялось и днем.

А потом он уехал, но голуби в привычные часы долго еще слетались, ждали, шумно толпились на карнизе, просто сидели рядом на грязной ветке соседнего тополя...

Не так ли и мы, летаемся под привычные окна, где нам когда-то улыбалось счастье... Толпимся, суетимся, надеемся. Хлопаем крыльями.

И – иногда счастье снова нам улыбается.

А как хорошо все начиналось!

Еще недавно было утро. Большое, веселое. И трамвай звенел весело, как звонок с урока...

А теперь вечер. (Люди, простите меня, что вечер настал!)

Вечер, и на вытоптанной траве, где совсем недавно еще черные люди в черных кожаных куртках торговали черной черноземной картошкой и слабосолнечного цвета кукурузой, лежит пьяный толстый мужик с голым пузом. Спит.

И трудно поверить, что совсем недавно еще было утро...

А как хорошо все начиналось!

В монастыре жили замечательные коты и многочисленные голуби...

В монастырской «иерархии» голуби, конечно, главнее котов, но котам-то иногда удавалось ловить голубей, а наоборот никогда.

Коты в монастыре были удивительные. Некоторые даже летали. Правда, сверху вниз. Со стены. С диким нечеловеческим криком. Но это были коты-неудачники, потерпевшие временное поражение в беспощадной «внутривидовой» борьбе.

А вообще коты были знатные. Большие, медленные. Удивительно всеядные (когда кормили из рук), и откликались на любую кличку. Когда хотели. А когда не хотели, ни на какую не откликались.

Самого в то время главного чаще всего звали Василий (Васька). Вел он себя соответственно царственно.

Вот идет он по белому гравию, а за ним Володя, заместитель наместника по строительной части, зовет его ласково: Вась... Вась...

Кот идет сам себе. Не обращает внимания. Не хочет.

Все это видит и слышит иеромонах Дорофей, в недавнем прошлом послушник Василий, или попросту – Вася.

Когда кот и Володя уже прошли, каждый по своим делам, о. Дорофей, как бы ни к кому не обращаясь, просто в пространство замечает обиженным голосом:

– Вась... Вась... А откуда ты знаешь?.. Может, его Вовой зовут...

...Похоже, не забыл о. Дорофей своего нареченного родителями и данного при крещении имени, и называние этим именем кота его не слишком радовало...

А как хорошо все начиналось!

А потом некоторый человек обнаружил, что у царя Трояна ослиные уши.

Сберегая свою жизнь, он должен был об этом молчать, но ему было невыносимо эту правду в себе таить... Она наружу просилась! Быть высказанной хотела....

...И выкопал он ямку, и, что знал, туда прокричал, и выросла на том месте березка...

А как хорошо все начиналось!

А теперь... А теперь все стало как-то непозволительно...

И пушка – не игрушка, и лягушка – не игрушка...

А как хорошо все начиналось!

Танька была маленькая, и звали ее Молекулой.

Когда я увидел ее в первый раз, она была чудо как хороша. Молоденькая, тоненькая, маленькая. Скромная, тихая. Большие глаза ее светились добротой и ласковостью. У нее был муж Слава (вместе приехали), и они оба стояли на паперти...

То есть не на паперти, конечно, кто б им позволил бы там стоять... Они стояли и просили у монастырских ворот. Танька просто стояла, а Слава подходил к машинам...

Обыкновенная судьба. Домашняя жизнь. Потом какие-то черные риэлторы отобрали квартиру... Дальше чистая лирика: улица, фонарь...

А Танька тогда была правда красивая...

Хотя Славе она, судя по всему, не изменяла, однажды ради нее угнали трактор...

Ребята с подсобного хозяйства немного выпили, угнали трактор и поехали на нем гулять: звали Таньку кататься...

Танька немного с ними проехала, метров сто, до моста, и вылезла, трактористы поехали дальше, долго катались и встали среди полей и оврагов: солярка кончилась.

Там стальной коня задержала милиция: кто-то из местных жителей позвонил, испугались: по окрестностям гулял трактор, даже приблизительно не соблюдая никаких правил движения...

Двоих участников угона тогда из монастыря выгнали, а третьего все же оставили. Когда солярка в баке кончилось, двое ушли, а этот третий, молодой веселый парень остался: вроде бы сторожил бездвиженную машину...

На самом деле он, очнувшись, просто не мог понять, где он находится и не знал, куда идти... Пейзаж-то у нас неровный: холмы, овраги...

Танька Молекула во всем этом, конечно, не виновата, но трактор-то, возможно, угнали именно ради нее. Такая она была тогда еще красивая.

От бездомной, хотя и околмонастырской жизни Танька стала тускнеть, вянуть...

Несколько лет я в тех краях не был, а когда снова приехал и увидел Таньку, то едва узнал ее: это была большая старуха. Только большие глаза светились...

Прошлой весной Славка заболел, его забрали в больницу.

Танька ходила теперь с каким-то относительно юным бедолагой, смуглым и темноволосым. Мне, конечно, все равно, но как-то обидно было за Славку... Хотя это очень глупо, конечно... Какое мне дело?

А зимой Молекула умерла.

Замерзла в брошенном доме, где они, бездомные, ночевали.

Вечером, один из так называемых трудников сказал как-то между прочим равнодушно и почти даже весело (происшествие все же!):

– Там бомжиха какая-то насмерть замерзла, а друга ее в монастырь взяли...

Вроде бы и ничего особенного, все обычно, все привычно (привычно уже!), но больно жаль: у меня почему-то сердце.

Прощай, Танька.

Упокой, Господи, в мире душу рабы Божией Татианы...

Летом Славка приехал из больницы. Стоял грустный.

– Как дела?

– Плохо. Молекула-то умерла...

Об этом я уже знал. Не знал только, что звали ее еще и Молекулой. До этого она была для меня просто Танька.

А как хорошо все начиналось!

Индустриализация, электрификация, всевозможный ликбез и культурная революция... И металл, металл... Черное и цветное железо...

...И металла стало навалом, и с течением времени металл стал вдруг как бы никому не нужен, стал ничего не стоить. То есть: «в кабак не стали брать», а вот посадить за этот металл, даже если человек его просто на помойке нашел, очень даже могли. Так что беспризорного железа, как черного, так и цветного, скопилось в стране невероятное количество... И когда его снова если и не прямо в кабак, то, по крайней мере, в приемные пункты стали брать, к заветным дверям и окошкам выстроились длинные очереди. Почти такие же, как когда-то в ленинский мавзолей, за колбасой, за иностранными визами, а после – за водкой (чаем, сахаром, табаком и т. д.)...

Так я стоял однажды в хвосте, томясь ожиданием и страшной неизвестностью: достанет ли в моей ветхой котомке пресловутого цветного металла до необходимого (1 кг.) минимума, а следовательно – на шкалик...

...В квадратном дворе приемного пункта у станции, казалось, все было железное. В грязный грунт были втоптыты автомобильные клапана, болты, гайки, и всякий другой, не цветной, и тогда еще не слишком и не везде принимаемый лом.

А в небе невысоко летел, опускаясь, большой белый самолет.

На его шум я и поднял глаза от железного грунта и увидел, какое ярко-синее и прекрасное было над нами небо.

Господи, думал я, небо-то какое синее... И какое большое, а я его почти и не вижу... Может, я и теперь не поднял бы глаз, если б не шум самолета ...

В это время что-то большое и тяжелое больно ударило меня сзади по ноге чуть ниже колена.

– Ах, извиняюсь, простите... Тут цыпленок у меня...

Это стоящий за мной в очереди гражданин не удержал на тележке свой ценный груз, и этот груз на меня наехал.

– Ладно... Ничего... Но при чем тут цыпленок?

– А... – ласково засмеялся счастливый металловладелец, по виду уже пенсионер. – Цыпленок, говорю... Облущенный цыпленок, мутированный... С двумя головами... Хотите покажу...

– Цыпленок?

– Да, цыпленок... С двумя головами...

И в самом деле под старым синим одеялом на тележке покоилось две одинаковых, приблизительно полметра на полметра и сантиметров пять толщиной алюминиевые доски-вывески с какого-то новейшего советского учреждения с новым гербом: хищной двуглавой византийской птичкой...

А как хорошо все начиналось!

Ромка был художник, умел жить красиво и говорить красиво.

У него получалось. Он кое-что понимал в этой жизни.

– Вот, смотри, ветки на деревьях... – сказал он, когда мы выпили по второй. Мы стояли над рекой, на узкой тропе, был декабрь, но было тепло, снега не было, шел дождь... – ... Смотри... Ветки на деревьях... Какие они все кривые, некрасивые: точно как мы... Не отличишь одну от другой... Все одинаково кривые, одинаково темные и некрасивые... И как хотелось мне вот так, среди таких же корявых и некрасивых затеряться, спрятаться... И чтобы никто не нашел... Ведь мы все такие, некрасивые и одинаковые...

Ольха, верба, липа – все старые... Зимние деревья над рекой действительно неважно выглядели.

– Однако нашли меня... Жена нашла. Бывшая...

В тот день у Ромки был юбилей: два раза по пять лет. Он так посчитал: пять лет в Москве жил, и вот теперь в монастыре тоже пять.

– Тогда холодно было, а мне всего надарили, я с огромными сумками по морозу иду, думаю, может, половину выкинуть...

А за пять лет до этого, до монастыря, он приехал из своего Якутска, где кончил художественный институт, работал в Москве.

В том числе и на Арбате. Похоже, у него неплохо получалось. Тогда все это еще более или менее стихийно было, еще живое... И даже художники на Арбате настоящие встречались... (Все то же, все одно, неотвязное и неумолимое: «Как хорошо начиналось!»)

Стоял там и Ромка со своими работами. Продавались они, судя по всему, тоже хорошо.

– Там были как бы и религиозные сюжеты тоже, и я заинтересовался... Что же на самом деле я все-таки изображаю... Поехал в Иосиф-Волоцкий монастырь, и там меня крестили...

Но в Иосиф-Волоцкий монастырь его тогда жить не взяли, хотя он хотел: тогда там были такие правила, что благословить остаться пожить, как сказали ему, мог тогда только сам наместник, а наместника на месте не было... Посоветовали поехать в Боровск.

И вот 5 декабря Ромка поехал в Пафнутьев-Боровский... И здесь тоже прожил пять лет. Как в Москве.

– Там пять и здесь пять... Где дальше буду?..

Он это то и дело повторял: «Пять там, пять здесь... Пять в Москве, пять в монастыре...»

Вообще-то до этого вечера я с Ромкой пить опасался: не мог позволить себе таких длинных и бесповоротных запоев, как он. Мне было бы не по силам. Его к тому же все знали и вроде привыкли, а я тогда не так давно в монастырь приехал. Меня могли просто не понять. А в тот день он пришел на источник, где я убирал (т. н. «послушание»), с бутылкой, сказал, что у него юбилей, и я не смог отказаться. Тем более день был такой... Страшненький... 5 декабря 2008-го года...

Небо над нами и над деревьями вдруг стало розовым. Яркое зарево охватило всю северо-восточную сторону... Это был не пожар и не «огни большого города», как при подъезде к столице. Наше небо освещали розы...

Да, розы... Просто неподалеку были теплицы. Гектары или десятки гектаров огромных стеклянных теплиц, где выращивали эти самые цветы.

Вот и теперь, ветер ли поменялся, тучи ли стали реже и выше, освещенные теплицами небо ярко-розовым светом запыхало над нами...

На другой день утром я брел на свой источник, открывать купальню, и под кленом у братской могилы встретил Ромку. У него все продолжалось. Юбилей. Пока еще жизнерадостно. Помню, я ему что-то веселое рассказал, мы вместе посмеялись, но продолжать пить с утра я отказался категорически.

А вечером, возвращаясь в монастырь, за десять минут до закрытия ворот, я встретил у этих самых ворот Ромку.

Он не видел меня, и никого не видел. И не слышал. Или не хотел. Сидел в своем блестящем от дождя мокром плаще и плакал, уткнув лицо в колени. Это с ним бывало.

Я потряс его за плечо. Уговаривал идти в монастырь, спать. Он никак не отвечал.

Потом он разговаривал с мужиком из какой-то машины, стоящей у обочины. Плакал. Говорил, что никто его не понимает... После вина это у него (да и у него ли одного?) была обычная тема...

Человек из машины уговаривал не отчаиваться, говорил, это грех...

Не сумев привести Ромку в осмысленный вид и ввести в ворота, я пошел в наш желтый корпус спать.

Неприятно было, но не очень беспокоило. Это уже бывало. Уходя в запой, Ромка часто оставался за стенами. И на улице было не очень холодно. Все было привычно, обычно, знакомо.

...Искать Ромку начали дня через три. И по реке ходили, и вокруг.

Обнаружили его недели через три. И не Ромку, а тело. На Киевском шоссе.

Говорили, сбило машиной... Другие говорили, убили...

Язык у Ромы, когда выпьет, случалось, бывал очень ядовитый и озорной. Не злой, конечно, но язвительный и неуважительный...

Этой весной я был на кладбище.

Там как-то все рядом: и «Горгаз», и трансляционная вышка, и «Спецтранс» (вывоз мусора). Все возле кладбища. Кладбище, впрочем, наверно, раньше всех остальных там появилось. Другие институты к нему как бы пристроились.

Хоронили Андрея. Его действительно машина сбила. Действительно нечаянно.

В той части кладбища, где хоронят монастырских, земля тяжелая, глинистая. Хотя место высокое и сосны.

На Ромкиной могиле деревянный крест подгнил, упал.

Временно, пока вкопают, как надо, его прислонили к кресту Ивана Николаевича, тоже художника.

– Ничего страшного, – сказал батюшка, – они ведь дружили. Рома к нему часто в гости ходил...

А как хорошо все начиналось!

Да, и теперь все хорошо... Нет! Не все хорошо!

Слава Богу, не все хорошо!.. Слава Богу!

Когда все у нас будет хорошо, это будет катастрофа. Конец... Тогда уже точно совсем ничего не будет хорошего!

А как хорошо все начиналось!

Все Святые были хорошие. Очень хорошие...

Только вот Александр Невский наделал нам беды...

Даже от Александра Македонского не было, кажется, такого урона.

Конечно, Александр Невский был замечательный святой!

И великий полководец, и примерный князь. И шведов бил, и немцев одолел, и за Байкал поехал, в самый Каракорум. А это даже князю было тогда труднее, чем теперь самому простому человеку...

И неизвестно вообще, как бы без Александра Невского наша историческая жизнь сложилась...

Только вот случилось на его праздник слишком много Александров в обители...

И праздник Святого Благоверного князя отметили так торжественно, что многие поутру прогнулись головами в кустах. И просто на грунте. И не только Александры. Еще один Слава, один Константин. И Альберт Неврюевич...

Иных на другой день, опасаясь дальнейшей беды, даже за ворота выставили...

Альберта Неврюевича, правда, оставили. Из уважения к почтенному возрасту...

Прости нас, Святой Александр!

А как хорошо все начиналось!

...Вроде и теперь все еще ничего себе, но дальше-то, дальше *«горе ведь будет грешным в муку отсылаемым...»*

А как хорошо все начиналось!

Только лед на огромном пруду перед монастырем долго не становился. И прочность его вызвала опасения.

Так что от Иордани на Крещение отказались по соображениям безопасности.

Как бы вместо этого в монастырь прибыл некий мастер, ему привезли лед кубами, и при помощи обыкновенной болгарки, бензопилы, дрели и еще чего-то такого он изваял ледяного ангела с трубой.

Вроде ничего особенного. Ангел как ангел. Ледяной. С трубой. Впрочем, я не специалист...

Конечно, ледяного ангела то и дело фотографировали...То есть нет... Никто его не фотографировал! По крайней мере, я ни разу не видел. Все просто фотографировались. С ангелом. Или на фоне ангела...

Как ангел таял, я не видел. Уехал раньше. Когда снова приехал, никакого ангела уже не было...

А как хорошо все начиналось!

...И у меня-то еще, может быть, все еще снова хорошо будет... При одном только условии.

Если смогу смириться. Если научусь... А я не могу смириться...

А как хорошо все начиналось!

Теплая осень была. Октябрь. 93-й год.

И мороженое было. Много мороженого.

Конечно, оно неважное было. Импортное. Просто сильно подкрашенная, сильно замороженная и слабо подслащенная вода...

Кажется, все в тот день ели мороженое.

При этом обнимались, смеялись. Счастливые на вид парочки на Арбате. И просто веселые, хорошо одетые и довольные жизнью люди...

А по левой стороне Арбата эхо часто так и негромко щелкало: автоматные выстрелы.

А на Арбате все улыбались, обнимались, весело ели плохое мороженое... Будто и не слышали. Или будто так и надо...

А потом и крупнокалиберный пулемет ударил. И пушка танковая...

Но я тогда уже на Смоленскую площадь выходил...

...Я спешил, почти бежал... Бежал туда, где стреляли...

Хорошо еще, что я слишком приблизительно знал, что там и где происходит, не то непременно бы куда не надо сунулся, и не сносить бы мне тогда головы...

...Нет. Ни за «красных» я не был, ни за «белых».

Просто какой-то необходимостью считал для себя «присутствовать»... Видеть, быть, присутствовать...

А на самом деле, может быть, все проще было. Просто «есть упоение не только в бою», и «у бездны мрачной на краю»...

Вот и бежал туда, и другие, я видел, точно так же бежали...

Просто потому что: «И в разъяренном океане... и в аравийском урагане, и в дуновении Чумы...»

А как хорошо все начиналось!

Пресня. Зоопарк. Пони. Эму. Слон. Верблюд. Кенгуру... И я между клеток хожу, маленький. Хожу среди больших зверей и никого не боюсь. Потому что они в клетках... Но это же не самое начало... Когда-то ведь звери в клетках не сидели...

3.

А как хорошо все начиналось!

...И Адам не был еще изгнан из рая...

Как хорошо все начиналось!

А теперь в сутках только 24 часа. А я так спать люблю! А еще я и не спать люблю...

А как хорошо все начиналось!

А дальше что будет? Завтра?

Завтра? – Завтра уже мы будем уже совсем другие люди.

А если еще война?

А как хорошо все начиналось!

Капля, говорили, камень точит.

Только вот сами разбиваются вдребезги... А камни и ныне там...

А капли, они тоже жить хотят...

А каждая капля – «она тоже люди...» – Так еще Дерсу Узала говорил...

А как хорошо все начиналось!

Да и теперь все не плохо... И я хороший. И все мы хорошие. Не верите? Правда.

Вы только подумайте, каковы могли бы мы быть... Даже представить страшно!

А как хорошо все начиналось!

Крым. Коктебель. Гора. Могила Волошина. Много, конечно, красивых мест на земле, но это... Однажды, посидев наверху, я сошел вниз, у меня еще было немного вина, а спичек не было, кончились.

Внизу горел маленький костер, люди варили мидий, стоял «запорожец» (не казак, а автомобиль), сидела компания. Местные, крымские жители, приехали на море.

Я подошел прикурить, посидели на песке, поговорили, немного выпили вместе.

Хорошо было с ними. Только немного завидно: какие они все молодые, легкие, веселые, простые... Главное, простые... Я сказал между прочим: «Там вот, наверху был... Там могила Волошина... Кто он такой?.. Писатель, художник... У него были замечательные акварели всех этих гор и моря...»

– Да, здесь у нас все такое... Художественное, историческое...

Выяснилось, что хозяин «запорожца» тоже имеет к нашей и здешней живописи непосредственное отношение:

– Мой прадед тоже, – сказал он, – был кучером у Айвазовского.

Как хорошо все начиналось!

А через день я уехал. Отпуск кончился, и билет был взят.

А как хорошо все начиналось!

Случился Карибский кризис, и довольно-таки легко разрешился. Относительно легко, конечно. У нас здесь все относительно...

А потом какие-то нехорошие люди убили президента Кеннеди...

...У нас тогда телевизора, конечно, не было. Мы были с мамой на Шаболовке, в гостях у дяди Лени. Он был, собственно, Алексей Федорович, и мне приходился троюродным дедом, но так уж его все звали – дядя Леня.

У него был телевизор, и жил он почти под самой Шуховской башней: после многих лет в коммуналке как инвалид войны получил там квартиру.

И вот новости. Или экстренный выпуск: Кеннеди убили.

Я сидел на полу, на ковре и сдуру закричал во всю глотку: «Ура!..» – В самом деле: вражеский же президент...

Мать закричала дрожащим голосом:

– Ты что!.. Ты что!.. Что ты говоришь!.. Чему тут радоваться?..

Она так это сказала, что даже я, малолетний дурак, понял, что совсем не то что-то сказал...

А как хорошо все начиналось!

Спали!

А как хорошо все начиналось!

...А теперь...Что прогнозируется – никто не знает. И куда прятаться от того, что прогнозируется, тоже никто не знает...

А как хорошо все начиналось!

В позапрошлом, кажется, году, на Сретенье я решил устроить себе праздник.

И устроил. Пошел на службу в такой дорогой моему сердцу храм Св. Николая в Кузнецях. Расписания служб я, конечно, не знал, и потому не опоздал, а наоборот, пришел раньше. Оказался почти у самого аналоя. Праздник!

И вдруг служба прерывается. Выходит молодой батюшка и читает. Поздравление с праздником... От патриарха...

С «днем православной молодежи»...

Может быть, я дурак, но я едва не застонал от «мучительного несоответствия».

Думал, может, из храма выйти, уйти, убежать... Оглянулся, сзади люди стеной, полный храм... И не выйти...

Плакать захотелось... Неужели у нас настоящих праздников мало... Неужели еще такие чудеса выдумывать... Зачем?!

Между тем, молодой священник дочитал, что положено, и вышел настоятель, отец Владимир:

– Да, конечно, праздник православной молодежи... Молодежь у нас должна, конечно... И все другие правильные слова...

– ...Ну, раньше-то этот праздник как бы стариковским, что ли, считался... Святому Семеону Богоприимцу-то очень немало лет было...

Все! Отпустило. Оттаяло. Праздник вернулся.

«Ныне отпускаеши...»

А как хорошо все начиналось!

Чудес хотелось... А разве теперь не хочется?

А как хорошо все начиналось!

Давно, правда, это было. В девяносто каком-то году. В Крыму. В Планерском.

Еще не совсем осень была. И на деревьях листья.

Домик и дворик перед домиком. Домик маленький, но белый-белый. Такой белый, что глазам больно. И дворик перед ним маленький, и во двореке садик. Тоже маленький. Деревьев семь или восемь... Сливы, яблони... Молодые, тонкие. Но не только плодов, даже листьев на них нет. Ни одного листика. Только на краю, на одной сливе, на самом верху два или три еще зеленых листа, такие яркие, такие веселые... А перед этим деревцем стоит на задних ногах белая коза и ласково так к ним тянется...

А как хорошо все начиналось!

Лето. Начало вечера. Переулки влево от Павелецкого. Я выхожу на Щипок. На перекрестке бомж. Бездомный человек. Старый. Очень худой. На костылях. Одной ноги выше колена нет. Бездомный и безногий. Крошит хлеб. Голуби подлетают.

– Ах, как хорошо, – говорит он, – и сам покушал, и птичек покормил... Как хорошо! Слава Богу... И лицо его радостно светится.

А как хорошо все начиналось!

«Средь берез и облаков

Стоит школа дураков» –

дразнилка была такая.

Берез там, правда, никаких нет. И не было. Облака были. Белые. Пролетали. Но немного. Потому что из-за высоты домов (и улица не очень широкая) неба там не очень много видно.

Школа дураков стоит. Вернее, здание школы. Дураков нет. Выбыли, выехали или поумнели. В том доме, добротном, темно-красном, кирпичном, с высоким крыльцом, живет теперь какой-то

арбитражный суд, то есть, исключительно умные люди. Зато школа напротив, которая прежде была нормальная, обыкновенная, № 519, теперь – «школа коррекции». То есть она теперь стала как бы вместо школы дураков.

...Я в Школе Дураков не учился. А учился напротив, в 519-ой.

...«Наши», из «нормальной школы», «дураков» из школы напротив, дразнили. Обижали. Даже камнями кидали. У них учебный день был короче, они уходили по домам как раз, когда у нас была перемена перед последним уроком.

Я «дураков» не дразнил. Я их боялся и, может быть, немного жалел. Но больше боялся. Не потому что они могли быть какие-нибудь опасные «дураки», в этом смысле я сам был тогда вполне бесстрашный дурак. Я боялся их тронуть, «прикоснуться», даже смотрел с осторожностью. Как на нечистых, «заразных». Брезговал. То есть не сострадание хранило меня от греха, а брезгливость.

Может быть, подсознательно чувствовал и в себе что-то такое, за что их в отдельную школу определили...

...Особенно помню одного. Огромного роста с большими глазами и в огромных очках. Лицо его всегда было повернуто вверх, к небу... Его не трогали. Он не ходил один. Его из школы забирали бабушка. Рядом с ним, огромным и беспомощным, она казалась такой маленькой...

А как хорошо все начиналось!

А теперь вот в монастырь новые трудники прибыли. Четками весело помахивают, как юные ослики хвостами.

Всему удивляются: «Ну, тараканы, в натуре...»

Скоро начнут «Отче наш» учить. Если, конечно, на общую трапезную ходить будут.

Спаси их, Господи! И нас спаси... Уж очень они хитрые, которые с четками...

А как хорошо все начиналось!

Все было. И 9 было, и 10. И половина одиннадцатого. А теперь все это прошло. Полдень скоро.

А как хорошо все начиналось!

...Только к чему это? «Как хорошо все начиналось!...» да «Как хорошо все начиналось!...»

Зачем оглядываться? Зачем в прошлое смотреть? Надо в будущее...

Так и я в будущее смотрю. Полдень скоро. А там, может быть, Бог даст, и обед.

4

А как хорошо все начиналось!

Вот кошка у нас, такая худая, такая маленькая, такая глупая, а попостилась два дни (некому было покормить) и – голубя поймала...

А если и мне, например, два дни усердно попоститься, может, и я кого-нибудь поймаю? Только б лишнего или ненужного чего-нибудь или кого-нибудь не поймать...

Как в народных рассказах о балканской войне:

– Иван! Ты где?

– Я турка поймал!

– Так веди сюда!

– А он не идет!

– Ну, так сам иди.

– А он меня не пускает...

Так что, может, лучше и не пробовать?.. И не поститься?..

А как хорошо все начиналось!

Начиналось, начиналось, начиналось...

Миша – строитель. Плотник. По опалубке. Он маленького роста, лысый, страшно худой, очень веселый, живой, с богатой мимикой и выглядит молодо.

Последнее, что он строил, перед тем как нам случилось познакомиться, было нечто под названием «Москва-Сити». На Пресне. Получилось не очень.

Не только в том смысле, какая чудища в конце концов, уже без Миши, состроилась, но и в том смысле, что ему не заплатили, как теперь говорят, «кинули»...

То есть не совсем кинули, что-то все же заплатили, но совсем не то, что обещали... Получилось, работали почти даром.

«Дело в том, – объяснял Миша, – что уже сделанное то и дело приходилось срубить и перделывать... То ли проект менялся, то ли что-то пересогласовывали... А бетон там был М700 и щебенка гранитная...»

А за ломку и перделку им не заплатили. Вот и получилось, что зря работали...

Мы с Мишей часто курили на лавочке, разговаривали. С ним было легко, просто. Никакими сверхценными идеями он нагружен не был и другим не навязывал...

Живой человек. Настоящий. Скромный, как бы даже немного застенчивый...

Кое-что про себя он все же рассказал. Военный. Майор в отставке. Афганистан. Не десант. Горнострелковая дивизия. Единственная в Вооруженных силах.

Майорские погоны Миша проносил недолго: в девяносто первом году уволился. Написал рапорт. Поэтому никаких особенных военных пенсий он не получал. Только «военкоматовские»: за ранение...

«Под минометы попали... И вот как вышло... Ребята вынесли...»

Он как будто даже удивлялся, что его не бросили. Улыбался...

Так случилось, что некоторое время спустя Миша при мне в первый раз в жизни готовился к исповеди. Задавал всякие вопросы.

Я, как мог, не отвечал. Старался не отвечать. Отсылал к священнику.

В самом деле, я сам дурак, что я могу объяснить и какое имею право?

Но Миша все равно спрашивал:

– Но вот тут-то как... Непонятно... На войне был... Стрелял, убивал... Это как бы понятно... Война... Но ведь я и своих раненых приказывал добивать... Это-то как?... И по-другому нельзя было... Такая война была...

А как хорошо все начиналось!

Но... Все проходит. Времена меняются. Имена меняются. И Василий Андреевич был когда-то просто Васей. И Чингисхан был сначала Темучином...

То же по географии. И Петербург стали звать сначала Петроградом, потом Ленинградом, а потом переименовали обратно...

И в Калининской области был город Калинин. А потом его обратно переименовали... И вот однажды:

Негритенок из города Тверь
Постучался в известную дверь
И сказал: «Я ни в чем не повинен,
Но по матери – тоже Калинин.
И нельзя ли мне тоже теперь
Проживать под фамилией Тверь...»

А как хорошо все начиналось!

Жили-были две сестры. Знатные, богатые женщины. Боярыня и княгиня. Феодосия и Евдокия. Верные дочери своего времени.

Молились, трудились, постились... Воровали и верили! Боролись и не сдавались...

И за все это самое или просто из-за стечения обстоятельств и «исторической ситуации» («текущий момент») их замучили в земляных тюрьмах (в ямах) в Боровске, на Городище. Страшно и больно читать, как об этом в их житие рассказывается:

Просит Феодосия (в иночестве Феодора) стрельца:

– Принеси калачика...

– Не смею, матушка... Боюсь...

...Теперь там Крест и часовня. Новая, блестящая, Старообрядческая.

Слева от часовни – Нарсуд. За ним – ДОСААФ... Впереди, над обрывом, за железной оградкой небольшой камень с железной кованой розочкой, грубовато выкрашенной в зеленый цвет, и надпись с обещанием поставить здесь памятник героям – 1380-го года.

Справа – Управа, Народное собрание – и еще чего-то такое же, простым людям совершенно непонятное, удивительное и загадочное. И не запомнить даже: на особняке четыре вывески и два флага.

Перед часовней длинный деревянный зеленый дом с белыми железными решетками на окнах, в нем обитает что-то кадастровое и топографическое...

Но ближе всего Нарсуд. И к часовне, и ко Кресту...

Между управой и топографически-кадастровым домом припаркован автомобиль. «Газель». На «газели» написано: «Программа “Счастливое материнство”. По Калужской области...»

Что бы сие значило? Может быть, они на этой новенькой синей «газели» по Калужской области Счастливое материнство развозят?

Кто посмеет сказать, что чудес не бывает... Может, и развозят... Полный автомобиль счастливого материнства...

А с другой стороны от Нарсуда и как бы на пути к нему – памятник Циолковскому.

Но на идущих (и на ведомых) в суд Циолковский не глядит: он в небо смотрит...

А как хорошо все начиналось!

Еще бы не хорошо! Если б уже и начиналось нехорошо или недостаточно хорошо, что б теперь с нами было...

А как хорошо все начиналось!

Только заповеди «Не судите» я не знал. Судил других, себя приговаривал.

И вся моя жизнь в осуждении, как в поганом огне, сгорела...

Не судите!.. Не судите? А когда война?

А когда у нас не война?

А как хорошо все начиналось!

Шел человек к Богу...

А пришел в монастырь.

Бывает, конечно, и наоборот... Всякое бывает... Все мы люди...

А как хорошо все начиналось!

...Самое, может быть, страшное, что я видел, когда расстреливали Белый дом, это один мужичонка, скромный, немолодой, серый. Он, когда из танка выстрелили, и из окна пламя вылетело, и дым пошел, и, возможно, кого-то убили, от радости запрыгал, в ладоши хлопал: «Попали! Попали!» Как будто можно было не попасть...

И почему я его тогда в реку не сбросил?

Это его радостное «попали!» было страшней даже, чем сама стрельба из танков по людям...

«Попали! Попали!» – И смеется. И слабыми руками машет...

А как хорошо все начиналось!

Господи! Прости меня. Прости нас. Прости всех.

Хорошая молитва. Отец Силуан научил. Жаль только – вспоминаем редко...

А как хорошо все начиналось!

Начиналось, начиналось, начиналось...

Случается, и теперь еще начинается...

А как хорошо все начиналось!

Прыгал, скакал, без ума смеялся, жил рассеянно...

А теперь: «Тише, тише, не спугните...»

А как хорошо все начиналось!

Тепло не по-мартовски. Большая липа у забора. Стоит, что-то слушает. Пока молчит.

Собака тихонько бежит. Белая. Но грязная. И поэтому серой кажется. Но как она ловко на четырех бежит! И хвостом помахивает.

...А я вот, сколько ни пробовал на четырех, никогда у меня ловко не получалось. Всегда нескладно, неловко, медленно...

Неужели я хуже собаки? А что? Очень даже может быть...

А как хорошо все начиналось!

Только с книгами трудно было. Иных было вообще нельзя было достать... Моисеево Пятикнижие я в первый раз прочел по изданию Одесской хоральной синагоги... Просто другого не было. И негде было взять. Это бы, может быть, и ничего... Только ведь за три дня! Все Пятикнижие... За три дня. Ровно на три дня Светка книгу дала... И, разумеется, строго секретно...

Евангелие у меня, правда, было. Маленькое, старое, русское. Бабушка где-то достала...

Зато как все дорого было! Как трепетно...

А теперь – всё в огонь. Все подряд: иконы, книги... Это не иконоборческая ересь.

Скорее, наоборот. Слишком наоборот. Страшно много всего «воспроизводится»... И все это, оказавшееся вдруг лишним и ненужным, называется теперь «непопираемым мусором»: в помойку нельзя, только в огонь.

А как хорошо все начиналось!

Ученый философ и библиотекарь Николай Федоров думал: «Чист человек и мир только в его источнике, в его детстве: детство и есть возвращение к началу».

...Может быть, это правда... Только я этого не помню. Совершенно не помню себя в том детстве, которое можно было бы назвать невинным. Сколько помню себя, всегда был грешен...

...Большой шкаф в комнате.

На дверце зеркало: до самого пола. Я в него смотрю, и мне не нравится, что я вижу. Я кажусь себе некрасивым. Я не нравлюсь себе. То есть внешность. Мне хотелось бы быть другим. Красивым. Я смотрю на себя и мне мучительно трудно видеть себя некрасивым...

Сколько мне лет? Три? Или еще меньше?

... А детский сад это вообще сплошной грех.

Я собирал на улице грязные камни и черепки и мечтал стать то геологом, то археологом. И о женщинах мечтал... Одно слово: детский сад.

А как хорошо все начиналось!

Однажды зимой в воскресенье мороз был градусов до двадцати, и все или почти все утки с поймы Сетуни и соседних прудов бросили свои водоемы и пошли вверх, к пивной стекляшке. Холодно!

Было воскресенье, и все сквозь толпу уток шли, утки красными лапами по снегу и льду топчутся и кричат: не просят, требуют...

Кругом: Кря-кря-кря... Как бы не наступить...

...Теперь в городе уток меньше.

Наверно, съели их. Несмотря на условную непригодность в пищу...

Сначала продовольственные трудности и недостатки, потом всеобщее подорожание и обнищание... Скушали уток.

А как хорошо все начиналось!

И мы были почти совсем дети. Только выглядели как взрослые, и паспорта у нас были... А скоро и своих детей завели... Хотя и сами еще дети были...

Только и тогда уже случилось мне (да и не мне одному) видеть во сне ядерную войну... Вернее, ее начало... Всегда просыпался раньше, чем все должно было кончиться...

Не мне одному снилось. Мне и другие такие свои сны рассказывали.

И снилось всем одно, и снилось как-то довольно одинаково...

Два главных душевных устремления управляли наши сны: «успеть все, что можно успеть» и «теперь уже все можно». Ну, и конечно, отчаяние...

...Правда, слесарь Илья, три года отслуживший в ВМФ, побывавший в экваториальных морях и даже высаживавшийся со своим мичманом на берег где-то в Западной Африке (в увольнение, и африканское вино там пил), и в свои 22 года уже отец троих детей, собирался во сне еще и обороняться: вытаскивал на балкон пулемет «Максим» (наверно, из кинофильма «Чапаев»). Но и он тоже прежде всего спешил «успеть все, что можно успеть»...

Потому что потом уже больше ничего не будет... И пулемет (из кинофильма «Чапаев») не поможет.

Мы с ним в одной смене работали, и он так весело рассказывал мне этот свой сон, спокойно и жизнерадостно.

...А мне ко всему в придачу еще приснился однажды мой кот. И это было самое страшное. У меня был тогда чудесный кот. Умный, любимый, свой...

И вот я встретил своего кота в страшном сне про ядерную войну... Уже после того, как я разрывы слышал, и вспышки видел, и падал от них под каменный заборчик, приблизительно так, как учили на военной кафедре...

Георгиевская церковь возле Балчуга показалась мне наклонившейся... Это возле нее я под забор падал: как учили на военных сборах... Когда увидел «вспышку»... А за церковью дым... Я, правда, и не знал тогда, что она Георгиевская, и в Ендове, для меня она просто старая «недействующая» церковь была... Маленькая, серая, красивая... И вот она качнулась, покосилась...

А потом из-за забора выбегает мой кот, испуганный, недоумевающий...

И я изо-всех сил постарался спрятаться, чтоб он меня не заметил. Больше всего на свете в тот миг, во сне, я боялся, что он меня увидит...

Что я ему теперь скажу, чем помогу? Теперь все уже... Теперь я уже ничего не могу.

«Беги теперь сам, – прошептал я ему мысленно, – от меня уже нечего ждать... Теперь я и сам беспомощный...»

А как хорошо все начиналось!

Жил-был Зенон. Не сирийский отшельник и не ювелир из Лескова, а простой древний греческий философ. И были у него Апории. Это такие двоедушные и неопределенные существа. Затруднительные и затрудняющие. Унылые и недоуменные. Он их сам из головы выдумал. Про Ахиллеса и черепаху, про Лжеца (почему-то с острова Крит)...

А одна такая Апория рассказывала о том, что когда одно зерно падает, ничего как будто и не слышно, а если целый мешок высыпать, то это совсем другое дело, а почему так получается, вроде и непонятно...

...Ну, а у нас про это безо всякого Зенона совсем по-другому знали. Мужик в кабаке спрашивает:

- Сколь стоит капля водки?
 - Капля? Нисколько... Ничего не стоит.
 - Ну, так накапайте мне стаканчик...
- Не так ли и капли, которые камень точат?..

А как хорошо все начиналось!

А потом сгорела библиотека. Российской академии наук... Жалко, конечно... Только как-то не очень жалко...

Все хорошо начиналось! Большие надежды... Молодость, бедность.

Но бедность угнетала. И заработать что-нибудь никакой возможности не представлялось.

«Советская власть» образца «развитого социализма». Инженерная зарплата.

На «рабочие» должности, где хоть как, но все же платили, меня не брали: во всей моей библиотеке трудовых книжек не было ни одной, где на первой странице не стояло бы хотя бы «незаконченное высшее образование». А с таким диагнозом официально разрешалось тогда только в инженеры.

Дополнительных заработков простому человеку тогда тоже найти трудно было. Однако кто-то находил. В том числе и в этой самой библиотеке, которая теперь сгорела. Оформляли какой-то договор, брали в этой самой библиотеке (которая сгорела) какие-то издания или оттиски статей, писали аннотацию (краткое содержание) и – получали, трудно вообразить, десять рублей...

...Но сколько, помню, ни подымался я по высоким и широким библиотечным ступеням, ни разу для меня работы не находилось... Ни пока учился, ни когда «инженерство-вал»... Ни диплом не помогал, ни относительно приличный (тогда еще) «французский письменный»...

А один мой приятель (учились вместе) хвастал: «Как же... Я вот подрабатываю (все в этой самой библиотеке, которая сгорела)... Мне дают статью, я коротко пересказываю, и все... Если иностранные слова или названия надо впечатать, вставлю в другую машинку, с латинским шрифтом... У меня с латинским шрифтом машинка хорошая, маленькая такая... Когда отец в 68-м году в Чехословакии в командировке был, они там типографию разгромили, и ему оттуда машинку подарили...»

Как же хорошо все начиналось! И работы в еще не сгоревшей тогда по общественным наукам библиотеке для меня не находилось, и даже машинки такой у меня не было... Из разгромленной чехословацкой типографии... Слава Богу...

А как хорошо все начиналось!

А теперь?

А теперь он с бутылкой в руке и с собакой на поводке.

Но в бутылке Эссендуки, а собака – болонка...

А когда-то был дог ростом с теленка...

А как хорошо все начиналось!

Только давно это было. Ученый философ и библиотекарь Федоров не очень любил называться ученым, понимал, как это нехорошо... По самому своему положению ученые не обязаны, говорил он, иметь ни сердца, ни воли...

А как хорошо все начиналось!

А теперь никакого покоя... Никуда не спрятаться. Всюду эти «колхозники»! То один придет, то другой. Всем что-то надо. Мешают про Общее Дело читать...

А как хорошо все начиналось!

Только французы говорят: Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait... Если бы молодость знала, если бы старость могла... Дураки французы! Ведь если бы «молодость знала», кто, скажите, пожалейста, дожил бы до старости?

А как хорошо все начиналось!

...Опять то же самое... Начиналось, начиналось, начиналось... А что делать? Надо же хотя б за что-то держаться, а то я совсем упаду... Хорошо уже и то, что хорошо начиналось...

А как хорошо все начиналось!

Помнить бы еще это самое. Это странное, очевидное и невероятное: «Не судите!..»

5.

А как хорошо все начиналось!

А потом стали привыкать.

К хорошему. И привыкли. Нехорошего захотелось.

А как хорошо все начиналось!

...Раньше людей делали из стекла. Они были хрупкие и прозрачные.

Каждый, конечно, со своим коэффициентом преломления, загрязнения, закопченности, окрашенности и закрашенности.

Теперь технологии разнообразнее. Для изготовления и производства людей все чаще применяется пластик, эластомеры, железо (гвозди, конечно), композитные материалы, а так же, разумеется, различное вторсырье...

А как хорошо все начиналось!

...А разве теперь плохо! Женщина в сарафане: лицо вульгарное и глупое до умопомрачительности... Возможно ли мне не влюбиться? Но ведь и другая тоже... И глупая, и вульгарная... И сердце мое волнуется, и я влюбляюсь...

А как хорошо все начиналось!

А теперь я справедливости хочу... Устал от несправедливости... Ах, как я справедливости хочу! Но это, конечно, только до тех пор, пока она не настала, пока она не настигла... А если она вдруг настанет (избави, Господи!), мне ее в лучшем случае совсем не захочется... Мне тогда совсем не до нее будет...

А как хорошо все начиналось!

Помню, давным-давно я в троллейбусе ехал. Была зима. И поэтому все в троллейбусе были неуклюже одеты... Изю ртов шел пар. Водитель объявлял остановки... И маленький мальчик, услышав название, у бабушки спрашивает: «А Никитские ворота – это в честь Никиты Сергеевича?»

А как хорошо все начиналось!

А теперь... А теперь даже днем, даже на работе приходится иногда притворяться спящим. Чтобы не разговаривать и на вопросы не отвечать...

А как хорошо все начиналось!

И не очень много вроде голов оторвали, а какая хорошая картинка получилась. У художника Верещагина. Называется «Апофеоз войны». Только, кажется, никто, к сожалению, не рассмотрел пока...

А как хорошо все начиналось!

А потом таракан, как у Достоевского в романе «Бесы» сказано, попался в стакан...

А как хорошо все начиналось!

Лет десять назад я на электродном заводе работал. Было пыльно и скучно. Но сколько всякой наивности было и надежд... И многое казалось еще таким смешным и ненастоящим... Я еще и стишки сочинял. Глуповатые, чтоб не сказать хуже:

С их Запором под нашим забором,
Что хотят чужестранцы творят:
Запорожец стреляет мотором,
Из глушителя искры летят.

Мы пошлем им в ответ *Made in Russia*,
Мы настигнем их ночью и днем:
Чужестранцы стреляют по нашим,
Мы ударим фронтальным огнем.

Мы сметем их в геройской атаке,
Мы рванем на них, как на пожар...
Запорожец сверкает во мраке
Озверевшими лампами фар.

Мы покроем их вечным позором.
Натерпелись. Пора. Перебор.
Нам не нужен за нашим забором
Ихний шумный и дымный мотор.

И никто нам на свете не нужен...
Но любви и добру вопреки
Загородки внутри и снаружи
Разрастаются, как сорняки.

Эта крайность с погибелью схожа.
Отвратительно грустный сюжет:
Ведь не только чужой «запорожец»:
Все и вся за оградой уже.

Огорожено, краше не надо,
Этой дряни не видно конца:
Турникеты, заборы, ограды,
Разрывают на части сердца.

И не все пережили разлуку...

И если б знал, что теперь все это так несмешно вспомнится и отзовется...

А если б знал, что б я сделал? Ничего бы не смог... Только, может быть, от сочинения безответственных стихов воздержался бы...

Электричка. Рельсы. Мост. Проспект. Электродный завод. Проходная...

А как хорошо все начиналось!

Браки, говорили, заключаются на небесах...

А сегодня (услышал нечаянно) девушка подругам говорит: «Ну, нет! Знакомиться надо только в монастырях...»

Жадноватого вида и некрасивая...

...Однако, знакомиться они предполагают не всеми подряд, а только с «условно-благополучными», а таких в монастырях, как правило, не большинство, так что часто подолгу приходится бедным ждать своего счастья... А если еще учесть что у многих «условно-благополучных» другое на уме или другие на уме...

А как хорошо все начиналось!

...Только наивно думать, что когда-нибудь кому-нибудь легче было ...

А как хорошо все начиналось!

А теперь вот я, как глупый попугай, повторяю: А как хорошо все начиналось!.. А как хорошо все начиналось!..

И буду повторять!.. Потому что – правда... И забывать нельзя. Неблагодарно.

А как хорошо все начиналось!

Дяде Лене повезло. Ему выбило глаз.

В самом первом бою. В 41-м году. И пуля так удачно попала, что только выбила глаз и прошла навывлет, расколов кость, но ничего больше жизненно-важного не задев.

Благодаря этому он, может быть, и остался в живых. Он был пулеметчик.

И после ранения до конца войны благополучно провоевал он с одним глазом в качестве военного фотографа.

Ездил со своей техникой по частям и делал бойцам и командирам снимки на документы и просто так, для себя, то есть в основном, конечно, для посылки родным.

Он и после войн остался фотографом, поступил в этой должности в Горный институт, где и проработал долгие годы. Зачем-то заодно годам к сорока пяти заочно его и окончил.

Вероятно, фотографом он еще понемногу самостоятельно подрабатывал.

Помню, дома у него были огромные увеличители, видел, как он ретушировал: очень тонкой кистью что-то поправлял в снимках тушью...

А как хорошо все начиналось!

Прыгал, скакал, без ума смеялся...

А теперь пожинаю грустные плоды унылой беспечности...

Все-то я проспал: и раздел и передел собственности, и раздачу способностей и талантов... Что делать? Даже на самое бесовское не гоюсь... Даже в милицию меня не возьмут, а если возьмут, то не на службу, а только в задержанные...

В дворники теперь тоже нельзя, потому что я русский: дискриминация по национальному признаку... Даже в Даниловом монастыре в Москве убирает и подметает теперь «молдавская мафия»...

В депутаты стыдно... Да, и где столько денег взять, чтобы устроиться... В охрану – противно...

Стыдно беспечному! От беспечности то и дело забываю даже, что жизнь прекрасна.

Так и живу. Что приснится, то и выпью...

А как хорошо все начиналось!

А теперь праздник. Торжество Православия.

Сейчас всех анафеме предадут, и будет обед.

А как хорошо все начиналось!

Даже стихи про это есть:

Какие люди прежде были,
Про ни не скажешь «Жили-были»

А как хорошо все начиналось!

Дураки. Дороги. Дороги. Дураки.

А теперь бы мне это все в одно связать: бросить все и в дураки пойти. В дураки с большой дороги... Только ведь и на это сил надо... Хотя бы душевных...

А как хорошо все начиналось!

А теперь все как-то немного измельчало. И мы измельчали. Не богатыри. Ни капли.

Трудящиеся (просящие) у монастыря цыганки, мерзнут на ветру и недовольны: что ж так долго, когда ж это служба кончится, и люди из храма выходить начнут... Не знают, про Торжество Православия.

А как хорошо все начиналось!

А теперь капли, камни... Мелко, подло, суетно и не по-геройски.

Ну, камни это еще, может быть, не очень мелко и не всегда суетно, особенно пока их не собирают и не разбрасывают, и если они крупные, но капли... Их же десятки, сотни мириад... Падают и разбиваются, падают и разбиваются. Камни точат...

А как хорошо все начиналось!

А теперь забываем.

Слава Богу забываем.

И Господи, помилуй забываем.

Все забываем. И благодарить и славить...

А как хорошо все начиналось!

Только так давно это было, что нам уж и жаловаться грех...

В историю, хоть в дальнюю, хоть в ближнюю, хоть в самую ближнюю загляни: кровь и слезы, кровь и слезы... Всевозможное взаимонепонимание... Сколь ни говори «как хорошо все начиналось», а предыдущие-то поколения, наши даже родители труднее нашего жили... Правда, и честнее, может быть, и достойней...

А как хорошо все начиналось!

А теперь как-то у нас то и дело не совпадает: то некого покормить, то нечем...

А как хорошо все начиналось!

А теперь... А теперь... Конечно, сами во всем виноваты:

Мы зажигаем лампы, и тогда начинается вечер...

А как хорошо все начиналось!

А теперь Памятники... Eхegi, говорит, monumentum...

Князю Владимиру (слышали?) памятник в Москве поставили... Возле дома Пашкова... А некоторые не хотели... На Юнеску ссылались... А почему не хотели? Чего тут такого?

Где-то, говорят, плавленому сырку памятник поставили, где-то граненому стакану, в Питере – Петру Великому (новый, и не всадник) и Чижик-Пыжику... А сколько еще всяких... Почему бы и князю не поставить?..

Но дело не в этом...

Перед Иосиф-Волоцким монастырем памятник преподобному.

И многие проходящие в монастырь и приезжающие на автомобилях, останавливаются перед памятником, подходят, крестятся и кланяются, будто это икона...

А рядом, у ворот или на лавке под деревьями то и дело кто-нибудь очень умный из монастырских наблюдает это и всякий раз вслух возмущается: «Что они делают? Ничего не понимают! Это же не икона... Это просто памятник...»

Другой раз уже и времени довольно много пройдет, и вечер наступает, и к памятнику никто нейдет, и вокруг никого, а он, бедный, все повторяет: «Дураки!.. Это ж не икона, а памятник...»

А он иногда и вечером в монастыре не может успокоиться и рассказывает:

– Подходят, крестятся, кланяются... А это же просто памятник...

А как хорошо все начиналось!

Начиналось, начиналось, начиналось...

И теперь все хорошо начинается! Я б сказал даже, всегда все хорошо начинается, если б знал, что такое «всегда»...

А как хорошо все начиналось!

А теперь снова фотографирование.

Фотографируют всех. Всех т.н. «трудников» монастыря... Фас, профиль, три четверти.... И снимают отпечатки пальцев.

Фотографируют три милиционера и милиционерка...

Или где-то в окрестностях что-то украли или взломали или просто: «профилактически».

Некоторые, привыкшие или привычные трудники легко и ловко прикладывают свои ладони к заготовленным бумажкам, другим помогают милиционеры, при этом иногда ворчат (иронически): а чего это у вас так руки трясутся....

Кто-то шутит: «Все. Теперь работаем только в перчатках».

Поневоле присутствующий благочинный улыбается. А что ему остается?

А как хорошо все начиналось!

...То есть, я не то хотел сказать...

Я хотел сказать, *откуда начну плакати окаянного моего жития деяний?*

А как хорошо все начиналось!

А когда это было? Когда?!

Может быть, кто-то и помнит...

Но – не мы.

Мы неблагодарны.

Люба МАКАРЕВСКАЯ

Она говорит
белым порам
потолка
что хочет
слышать море
как шепот
сумасшедшего
или шевеление
плода внутри
себя самой

И к ней приходит
этот шепот
когда она
вспоминает его
смех
такой ужасно
детский совсем
детский

И шепот
лижет ее глаза
весь аппарат
зрения уши
и низ живота

Как великолепное
и жуткое
животное
с узким и длинным
языком

И собственный голос
вдруг стирает

Люба Макаревская родилась в 1986 году в Москве. Стихи и проза публиковались в журналах «Дружба народов», «Транслит», «Воздух», «Носорог», «Зеркало», «Новое литературное обозрение», а также на сайте «Сноб» и в ряде других сетевых изданий. Вошла в шорт-лист премии Bookscripтор в жанре «современная проза». В 2017 году выпустила альманах «След», посвященный теме насилия. Автор книги стихов «Любовь» (М.: АРГО-РИСК, 2017). Стихи переводились на испанский и английский языки. В «Волге» публиковались стихи (2017, № 7-8; 2018, № 11-12).

как ластик
тело помещение
и свое тайное
черное месторождение

И летит под нёбо
каждого церковного
колокола
каждого движения
соли во рту
у плывущих
глотающих
поющих
говорящих
живых.

* * *

Мне бы хотелось
чтобы ты пришел
и принес мне
все умирание
летнего
кровотечения
летнего
электричества

В порах
в прикосновениях
в словах
которым всегда
страшно
быть
услышанными

Что это
будет?
тонкий разрез
тишины
без анестезии
ради омота
звука

Ради того
что вмещает
в себя
грудная клетка
человека
от а до я.

Ты менялся?
или
короткое нет?
как оборотень
его золотая шкура
сотканная
из крови

Это скучное
слово
закономерность
совсем
неприменимо
к живой шерсти
в лунном сиянии
в дрожи

Страшной как
начало
любовной лихорадки
или столбняка
когда любая
блокада

Только усыпляет
вывернутые заживо
мышцы.

Пахнет гарью
как в конце
того лета
когда мне
было шестнадцать
и мы возвращались
из Подмоскovie
где у меня была
подруга

У нее была
розово-золотистая
кожа светлые
волосы и белесые
ресницы

За все лето
я только один
раз видела

ее без туши
эффект
накладных ресниц

И как летом
2010-го
когда запах
гари будил
меня каждое
каждое утро

Вначале этот
запах такой
робкий
а потом узнаваемый
химически
сладкий

И я представляю
себе как
зарождается огонь
как он впивается
в сухую траву
и листву

В укрытие и дома
животных и зверей

И дым идет
от его ладоней
доходит до наших
растерянных слизистых
вплетается в наш
шепот и сон

В беззащитное
– Дай мне руку
здесь и сейчас.
В пространство
открытое молчанием
перед объятиями
холода.

Как любовь
делает нас
слабыми

Не так страшно
как было
до

Но кипяток
вливается
в любое знание
обжигая наивность
слизистой

И ты вспоминаешь
короткий разговор
в фойе
как первую дрожь
и чужую войну

И весь дым
с полей
и вся хроника
детства
вспыхивают одним
только обещанием.

Расскажи мне
как стираются
границы
в белый свет
в белый порошок

Как из язв
на руках
и языке
восходит
хрупкое знамя
бессмертия

Там где
на каждой
зимней улицы
я жду объятия
с тобой

И сознание
обождено
точно кожа
щелочью

И нет ничего
кроме чистоты
знания над
темным

движением
воды и памяти.

Заболеть
умереть
расцарапать
кожу ядовитым
коготком желания
ради обморока
знания

О новой системе
рук
губ
пространства
о робком плаче
послушания

В усеченном
одним только
усилием воли
огне.

Северное небо
боль в деснах
я знаю
эту науку
ждать снега
как иссечения
и прибавления
одновременно

Как встречи
с любовником
и самой собой

Встречи
всегда такой
неудобной
равной
сдавленному
крику

Голосу
летящему

вверх
внутри лифта
несущегося
вниз

Эта первая
встреча с собой
и с ним другим
всегда так
похожая на ожог
и порнографию

Не оставляющая
в памяти ничего
кроме белой
вспышки
рассеченного зрения
прикосновения
к новой
поверхности снега.

* * *

Конец времени

Я чувствую что
от меня
остается только
негатив
нечто вроде
засвеченного
на пленке
снимка

На него можно
смотреть
сквозь солнце
или лампу
электрического
света

У меня в голове
постоянно
крутится строчка
из дневника Шварц
– В этом акте моей
жизни я все делаю
в полусне.

Крутится
и крутится
крутится

Я бы хотела
посмотреть
на себя саму
сквозь солнце
только как
на снимок

Но больше
больше
больше

Я бы хотела
посмотреть
на себя саму
твоими глазами

Так солнце
входит
в холодное течение
бережно
но
всегда неизбежно

Каждое утро
открывая
окно я вижу
всю непостижимую
статичность
природы

И мне страшно
дышать
как будто
я смотрю
на жирафа
ребенка
или свежий разрез
на своем теле
или ты раздеваешь
меня и я только
кожа и нервные
окончания

Как будто
я прикасаюсь
одновременно
к огню
и к бескрайнему
холоду.

Охота оленей

Сказка-ложь

Утро раннее. Воздух прохладный. Лес зеленый. И два оленя притаились в кустах. Папа олень и сын такой же олень. Папа с биноклем, а сын с винтовкой. Разговаривают.

– Сын, – поучает отец, – охота – дело непростое, особенно для нас, оленей. Мы-то к сему занятию уродились совершенно неприспособленные. Траву, например, мы жуем с детства, с ранних лет ее топчем и нужду на нее же справляем. Все это как-то само приходит, от природы. А вот оружие – тут другое. Здесь надо уметь, здесь учиться надобно. А кто тебя научит стрелять, если не отец?

– Никто, па.

– Правильно, сынок, правильно. Это и называется – связь поколений.

Отец копается в широких лосинах и достает две таблетки, показывает сыну на раскрытом копыте.

– Вот таблетки. Красная и синяя. Возьмешь красную – весь мир засияет яркими красками. Возьмешь синюю – взор твой прояснится, будто синее небо. Ну, какую берешь?

– А можно сегодня без таблеток, па?

– Бери, говорю.

Сын выбирает синюю, бросает в рот, глотает, жмурится.

– Фу, горькая какая!

– Ты на горечь не смотри, ты в прицел смотри, – поучает отец и забрасывает в пасть красную. Тоже морщится. – Действительно, горькая, зараза. Ну, с богом.

Отец поднимает бинокль, наблюдает заигравшееся красками утро. Сын направляет прояснившийся взор в чашобу, направляет через оптический прицел, модели пусть и неизвестной, дикой какой-то модели, но вполне рабочей.

– Итак, сынок. Видишь дерево?

– Па, тут повсюду деревья, это же лес.

– Нет! Дерево. Оно одно такое. Ищи.

– А, вижу, вижу...

Натурально, дерево такое одно, и других таких нет во всем лесу. Высокое, сухое и тонкое. Листья кустятся на самой макушке, вихрятся, как афро у Ричарда Прайора. Стоит дерево, опершись на обычное (лесное) дерево, и заворачивает курительную смесь в бумагу. Суховатыми пальцами крутит, облизывает сочной слюной, склеивает. Затягивается дерево, затягивается разом – хорошо! Выпускает дым, выпускает разом – тоже хорошо! Дым стелется по опушке, словно туман, укрывает одеялом траву (поеденную, истоптанную, загаженную). Умиротворилось дерево.

Кирилл Курбатов родился в 1991 году в Рязани, где живет и сейчас. Учился в Рязанском радиотехническом университете и Современной гуманитарной академии. Работал инженером, продавцом, менеджером, гидом, курьером. В настоящее время снимает кино (короткометражный фильм «Паша» – участник «Артдокфеста»-2019) и пишет рассказы. Публиковался в журнале «Урал».

- Хочешь, чтобы я его пристрелил? – спрашивает сын.
- Na-a-ah, it's too high¹, – отвечает отец. – Левее смотри. See the Rock?²
- Вижу.
- Нет, не камни! The Rock.
- А, кажется, это он.

Натурально, лежит во мху кусок скалы, то есть камень, он же the Rock. Какие у камня того изгибы, какие черты, какие выступы, что неумолимо напоминают Скалу. Как море вырезало из Италии сапог, как астероиды запятнали Луну, так и Дуэйн Скала Джонсон обратился в камень. Лежит каменная голова его на траве, припекает солнце лысину, а вокруг зигзагами муха кружится. Жужжит, порхает, никак не может выбрать место для посадки. И вдруг хватъ – пускает Скала свой длинный язык, и нет мухи, проглотил он ее. Закрывает глаза с полным дзэном, будто нашел предназначение свое. Нет более нужды продавать наушники, нет нужды рекламировать яблоки. Умиротворился Скала.

- Стрелять в него? – спрашивает сын.
- Na-a-ah. He's too bald³, – отвечает отец. – Выше смотри. Видишь ферму?
- Выше... Так, вижу, вижу, па.

Натурально, ферма на опушке леса. Обнесена плетеной изгородью, ухожена, золотиста, а посреди фермы той – изба на сваях, а из избы той льется еле уловимая мелодия. Только мотив ее понять невозможно, никак его невозможно идентифицировать, будто это собрание всех народных мотивов в одном суровом напеве.

- Слышишь?
- Слышу.
- Бери дверь на прицел и жди.

Сидят олени в кустах и ждут. Отец через бинокль ждет, а сын через прицел выжидает. И вот дверь скрипит, открывается медленно-медленно, будто на похоронах, и является на пороге дровосек. Бородатый, суровый, в штанах и соломенной шляпе. Тянет исконно народный мотив. А птички-синички на оградке сидят, ему подпевают.

– Вот и он, человек, – поучает отец, – ессе homo. Самая хитрая тварь. На вид тупая и борода-тая, но по сути беспощадная и живучая. Эта тварь нас всех переживет и истребит. Мы, конечно, такого не хотим, и допустить не можем. Потому мы здесь, сынок, потому я учу тебя охотиться не на деревья и камни, а на человека.

- Стрелять?
- Нет, пока рано. Наблюдай, но с прицела не спускай.
- Так точно, па.

Умолкает дровосек. Почесывает топором бороду, оглядывается: хорошо на опушке. Но до-вольно отдыхать, пора и за работу браться, пора дерево сечь. Спускается по ступеням, медленно, но легко: легко ему на душе, легко без причины и надобности. Идет дровосек по лужайке да под-ходит к поленичке, а рядом – гора пней нерубленных. Вытаскивает дровосек пень, примеривается, замахивается топором – ух! Но в последний момент передумывает, откладывает топор, а сам идет к зарослям: справить нужду перед работой (то благо, необходимость и святое дело).

- Так, сынок, теперь можно.
- Стрелять, па?
- Целься в темечко. Это самое уязвимое у людей место.
- А что такое темечко, па?
- В голову, сынок, в голову. Как будешь готов – стреляй.

¹ High (англ.) – 1) высокий, 2) укуранный.

² Rock (англ.) – скала, камень.

³ Bald (англ.) – 1) лысый, 2) простой, прямой, неприкрашенный.

Замирает природа-мать. Сверчки-паучки перестают сверчать, птички-синички замолкают, утихает исконно народный мотив. Эфирным воздух становится, вязким, кефирным. Только сердце у оленя стучит – тук-тук, и струя у дровосека журчит – жур-жур.

Сын задерживает дыхание, целится, чтобы наверняка. Целится прямо в соломенную шляпу, за которой темечко скрыто. Взгляд сфокусирован, все вокруг будто в водовороте, а шляпа пульсирует, словно намекает: стреляй, стреляй, стреляй.

Сын (олень) стреляет: бах!

Разносится эхо по лесу, порхают птички, колосится трава, бежит по опушке кабан. А дровосек стоит, не колышется. Жив-целехонек. Оборачивается и шляпу снимает. Гладит голову, ощупывает – нет ли и в голове дыры? Нет, цела голова-головушка. Но все равно недоволен дровосек, в шляпе дыра теперь, да знатная. Испортила пуля шляпу, испортила на совесть, большая получилась дыра, такую не зашить да соломой не переложить. Выкидывать теперь шляпу. Лысина сверкает на солнце. Поднимает дровосек затуманившиеся глаза, откашливается и гнусавит:

– Ублюдки, мать вашу, идите сюда, говно олень, решили в меня стрелять? Олени вонючие, мать вашу, а? А ну идите сюда, попробуйте меня пристрелить, я вас сам пристрелю, онанисты чертовы, будь вы прокляты, идиоты, стрелять вас и вашу животную семью, звери вонючие, идите сюда, мерзавцы, негодяи, гады, идите сюда, вы – грязные животные!

И идет обратно, в сторону избы. А отец кричит в ухо сыну:

– Стреляй в него, стреляй, стреляй!

Сын слушается, стреляет (не перечить же отцу). Летят пули, летят одна за другой, зарываются в землю, сверлят бревна, пронзают туманный воздух, но идет дровосек спокойно, нерушимо и ругает оленей. Скрывается в избе, а сын спрашивает:

– Па, а что плохого в том, чтобы быть животным?

– А ты что, не видишь?! – отец в бешенстве вырывает винтовку. – Да то плохо, что мы ни черта стрелять не умеем и не научимся никогда! Они нас всех истребят к чертовой бабушке!

Отец брызжет слюной, ломает пополам винтовку. Страшен олений гнев. Но еще страшнее человечий. Выходит дровосек из избы, да не с топором, а с ружьем, модели пусть и неизвестной, но весьма устрашающей.

– Ну, сейчас я вам покажу, где олени зимуют! – ревет дровосек и стреляет от бедра. Пуля быстро летит, стремительно, метко. Попадает в рога отцу, отламывает кусочек.

– Вот о чем я говорю! – вопит отец, хватаясь за голову. – Всех перебьют! Но есть и плюсы, сынок, есть и плюсы. Ведь одно мы умеем делать хорошо. Одно мы точно умеем.

– Что, па? – плачет сын.

– Бегать. Бегать еще умеем. А теперь – копыта в копыта и валим отсюда, пока нам рога не отшибли!

Олени, копыта в копыта, сын за отцом, прыгают в чащобу и с треском ломаются сквозь заросли. Пули летят за ними, пули.

– Эй! – выкрикивает вслед дровосек и от легкой души смеется. – Знаете, где олени зимуют? У меня в морозилке!

Никак не умиротворится дровосек, нет ему на Земле умиротворения, да и нигде нет, ведь он – человек.

Смерть председателя

Окраина провинциального города Р.

Лет через двадцать здесь появится завод по переработке черного золота в рубли; обрстет общежитиями, окрутится дорогами, запахнет сероводородом, а пока на его месте колосится поле, когда-то крестьянское, но теперь народное, советское даже поле. Пшеницей, овсом, рожью и иными травами засеивали эту землю, да и сейчас она чем-то засеяна, но непонятно чем, ведь то-

варищ, который вдоль посевов идет с косой, должен, кажется, хоть какое-то представление иметь о зерновых, однако совсем в вопросах агрикультур несведущ, настолько несведущ, будто и не от мира сего. Товарищ этот высок, худ, лицо его вытянутое, белое, глаза безбровые, черные, рот узкий, губ не видно. Мантия на нем цвета темного-темного, какой бывает ночь в глубокую осень: что ни всматривайся, все равно лужи не миновать. Укрывает с головы до пят: лишь силуэт виден.

День стоит ясный, солнце палит жарко, всякая тварь живая поспрыгивала по кустам да по норах, но холодом веет от товарища с косой, словно из открытого рефрижератора. На случайного наблюдателя произвел бы он впечатление гнетущее, беспокойно стало бы на душе, тягостно, захотелось бы махнуть стаканчик-другой без закуски. К счастью такого наблюдателя, неоткуда ему взяться в советском поле, редкий он там гость, никто его не приглашает и не ждет. А вот товарища в мантии будто ждут, ибо идет он быстро, с определенной целью, той, что видна за посевами, где возвышается посреди поля одноэтажное здание, где под крышей, прикрывая облезлую стену, натянута алая транспарант: «Совхоз имени Ильича».

Рядом с совхозом покоится сельскохозяйственная техника в неприглядном, но еще рабочем состоянии, а на ее фоне, как Аполлон среди овец, сверкает черный «москвич». Загорелый молодой парень в тельняшке пытается завести один из проеденных ржавчиной тракторов, а потому не замечает движения позади, но чувствует освежающий порыв ветра и мысленно благодарит за это партию.

Внутри здания, между входом и дверью с табличкой «Председатель», сидит за покосившимся столом Зоя Филипповна, помощница, заместитель и секретарь в одном лице, которое она в это самое время и пудрит. Вдруг (неожиданно, как это бывает) врывается с улицы ветер: пушит волосы, разносит облаком пудру, вздувает юбку, обжигает ляжки. Вслед появляется товарищ в черной мантии, который сразу же по красной ковровой дорожке (со следами навоза) берет курс на кабинет председателя.

Зоя Филипповна вскакивает:

– Товарищ! Туда нельзя!

Товарищ игнорирует ее абсолютно, плевать ему совершенно на ее слова, а растрепанная Зоя Филипповна с одной лишь накрашенной щекой обегает его и своей маленькой фигуркой заслоняет кабинет (нерушимой стеной). Леденящий незнакомец производит на нее никакое впечатление. Именно! Недовольные, угрожающие, незванные гости частенько наведываются в совхоз имени Ильича, захаживают сюда типажи не самые радостные и с не самыми благими намерениями, все просят да выпрашивают, а потому Зоя Филипповна распознает таких типов на радость легко. Устрашающим видом ее не проймешь.

– Вы по какому вопросу? Вам что нужно? Вы зачем сюда?

Товарищ молчит. В тишине и покое проходит секунда или три. Затем полуподведенные глаза Зои Филипповны увеличиваются, исключительно от любопытства.

– Ох, – вскидывает она руки, – батюшки, а это не ваше письмо там?

– Да, мое.

– Товарищ Пагубин, кажется?

– Смертин.

– Верно, верно, Смертин! – суется секретарь.

– Зочка, что там такое? – голос из кабинета.

– Вилич Ильич, к вам товарищ Смертин.

– Смертин?! Не может быть! – грохот за дверью, что-то падает. – Ну, пускай, пускай его скорее.

– Пускать? – прищурившись, Зочка оглядывает гостя. – Он какой-то смурной, как бы дел не натворил.

– Пускай, я уж с ним разберусь.

Зоя Филипповна, опомнившись, поправляет сбившиеся волосы и юбку, затем бросает подозрительный взгляд на застывшего перед ней гостя, ежится, потирая плечи:

– Ну и холод. Вы не из Сибири, случаем?

Товарищ качает головой и намеревается обойти Зоечку. Та же ловко выхватывает у него косу:

– С инструментом не положено, – открывает дверь. – Ну, что стоите? Проходите уж, коли Вилич Ильич велит.

Смертин проходит, за ним сквозняком захлопывается дверь.

Кабинет выглядит весьма свежо, а относительно общего состояния совхоза – почти на пять звезд, разве бассейна недостает: мраморный пол, сводчатый потолок, золотые канделябры, стол из красного дерева, великолепное высокое кресло прошлого века, обитое кожей кого-то экзотического, даже редкого или вымершего. На стенах развешаны портреты вождей в хронологическом порядке, диагонально, от старшего к младшему. Сам Вилич Ильич тоже выглядит вполне здорово. Качественные пиджак, туфли и часы заброшены на округлую такую, но невысокую форму, где одна часть тела незаметно перетекает в другую. Словно колобок, что катится по жизни, как кот по маслу. На столе – банка с красной икрой. Председатель поспешно убирает банку под стол, смахивает со стола крошки.

– Проходите, товарищ, присаживайтесь, – Вилич Ильич, не вставая с кресла, показывает на компактный стул, сбитый, по виду, подмастерьем неумелого плотника специально для гномов. – Чем обязан? – улыбается, но не очень широко, а так, формально.

Товарищ (уже без косы) степенно садится на предложенный стул, мантия его неслышно колышется, слово соткана из внеземной материи. Садится, но все равно оказывается почти на голову выше председателя. Тот такому положению видимо не рад, а товарищ хриплым, немного простуженным голосом, будто простуда его на исходе, но никак не пройдет уже долгое время, произносит слова и смотрит на председателя черными глазами из бездонных глазниц, смотрит пронзительно, жутко немного. На председателя, которому от того ни холодно ни жарко, который языком пытается удалить остатки икры между зубов.

– Разрешите представиться. Господин Смертин.

– Отчего ж господин? – хмурится председатель. – Товарищ! Все господа либо за границей, либо сами знаете где, – он многозначительно обращается к окну. Смертин следует за его взглядом, но ничего там не находит, кроме желтого поля и голубого неба.

– Товарищ? – вопрошает гость.

– Полноте! – отмахивается председатель. – Будто не понимаете. Основная-то масса наших господ давно стала товарищами. И какая странная штука: теперь пока за один стол с ними не сядешь – не поймешь, кто есть кто. Как же, спросите, определить? – Ильич прищуривается.

– Как же? Спрошу, – говорит Смертин.

– Да очень просто. За бокалом да за рюмочкой, за настоечкой да за водочкой. Тут-то все бывшие товарищи себя и проявляют с самой господской стороны. Как говорится, что у умного в голове, то у пьяного на языке. Ума-то стать товарищами хватило, а вот подшофе себя вести соответствующе, тут не ум, а голову иметь нужно!

Ильич берет со стола какой-то документ и продолжает:

– Голова у вас есть, товарищ Смертин, по крайней мере, в физическом плане, хе-хе, а вот что внутри нее – большой вопрос. Не пойму, в трезвом ли уме вы это писали? Что это такое? Записки из сумасшедшего дома? – Ильич потрясает документом.

– Из мертвого, – кланяется Смертин.

Председатель качает головой:

– Не иначе, – читает. – Вот вы пишете: гос-по-дин Смертин. И не просто пишете, но и сейчас продолжаете настаивать на своем господском, так сказать, привилегированном происхождении. А рекреационное мышление – прямой путь к контрреволюции.

– К чему, простите?

– Именно! – восклицает председатель. – Такие идеи сами знаете куда приводят... Мы вот вчера с Зоечкой, с Зоей Филипповной то есть, головы ломали. Извоили нам загадки загадывать. Прямо шарады. Ребус! Приходит нам утром письмо, с вензелями, печатями и подписью, чуть

ли не кровью. Сроду таких писем не выдывали. Мы уже боялись вскрывать, но потом подумали: письмо-то адресовано нам, так кому вскрывать, если не нам же? Вот и собрались, открыли аккуратно, но в присутствии третьего лица. Сашку-тракториста от его будней пришлось оторвать, от законного обеда, между прочим, чтобы лично засвидетельствовал. Открываем мы, значит, ваше письмецо, а в нем это – резюме-е-е. Вот!

Председатель демонстрирует вскрытый конверт, действительно, с вензелями, подписью и печатью, а вместе с ним и само резюме, которым он все это время дирижировал:

– Сколько лет живу, а никаких резюме никогда не выдывал. Что это за слово такое, а? Резюме? Это вы где таких слов понабрались, не из-за границы ли?

– Из потустороннего мира, – отвечает Смертин.

– А! Вот и угадал. Из-за границы пожаловали. Я-то думаю, прямо по-французски звучит. Резюме-е-е. Прямоком из Парижа к нам? На историческую родину решили посмотреть? А наряд у вас – это по тамошней моде? Ишь, и лицо в белилах. Ну, точно, мода. Привет парижской коммуне, – Ильич подмигивает, затем перегибается через стол, насколько позволяет комплекция, и полупешотом спрашивает, оглядываясь на дверь:

– А вот скажите, товарищ, парижанки, они в этом смысле какие? Слышал, такое выделяют, что нашей бабе и не снится. Верно говорят или нет?

– Парижанки? – Смертин отстраняется. – Как все. Смертны.

– Ах, – председатель растекается по креслу. – Значит, как все. Так я и думал. Все одно: что парижанки, что китайки, что наши. Впрочем, вернемся, к вашему резюме. Одного я не понимаю. Зачем вы решили изложить все в письменном виде, все равно же сами сюда явились, персонально?

– Так положено. Для формы, по-вашему.

– Что ж, похвально. Последовательность мы любим. Сам, – он поднимает взгляд на портреты вождей, – был последователен, что бы мы делали без его последовательности, где бы мы были сейчас, его последователи... Здесь вам, конечно, честь и хвала.

Смертин чуть склоняется в знак благодарности. Или председателю кажется?

– Однако ж это не отменяет того, что резюме ваше – полная катавасия. Кто в здравом уме будет такое про себя писать? Мало, что написано оно какой-то вязью, сперва даже и непонятно, русский ли это язык. Но ведь самое главное – не как, а что вы тут пишете! Это же кошмар, кошмар! Мы тут с Зоеч... с Зоей Филипповной сначала думали, что-то важное нам прислали. А как не подумать, с такой-то помпезностью? Но как увидели, что внутри, – просто ужас, розыгрыш, фик-ци-я!

– Как вам будет угодно.

– Мне будет угодно, видите ли! – восклицает Ильич. – Сижу и слышу – кто? Товарищ Смертин, собственной персоной, лично. Не шутки же ради пришли? – Смертин сидит неподвижно. – Нет? Однако творчество ваше всерьез никак нельзя воспринимать. Все у вас как-то нелепо, как-то не по-людски. Вот, к примеру, пишете возраст: испокон веков был, есмь и буду. Это мне угадывать надо, сколько вам лет, это что за каламбур, простите? Понимаю, про возраст не хотите, но так и не надо начинать такую графу. А то сначала написали «возраст», а потом так в узел заворачиваете, что и не распутать. Испокон веков был, есмь и буду. Что это вообще значит? Молитва какая? Знаете же прекрасно, религия – опиум.

– Кому опиум, кому коноплю, а кому просто табакиум. Зависит от того, кто принимает, господин председатель.

– Товарищ, товарищ председатель! Просто невыносимо...

– Мы с вами на брудершафт не пили.

– Это в вашей великосветской Франции буржуазные обряды еще в ходу, у нас тут общество прогрессивное, и человек человеку – друг и товарищ по рождению.

– Это вы прекрасно сказали.

– Да? – председатель задумчиво смотрит на собеседника, затем переключается на резюме. – Профессия: проводник. Снова туман нагоняете. Что за проводник? В поезде, самолете или где?

– Усопших, – кашляет Смертин.

– А, успших. Так бы сразу и написали: поп. Так бы сразу было понятно. То-то я смотрю, наряд у вас поповский, прямо ряса. Только какого-то заграничного покроя, – Ильич оглядывает Смертина. – Отпеваете, значит, умерших. Похвально, похвально. Однако есть одно интересное обстоятельство, о котором, я полагаю, вам тоже прекрасно известно, если вы человек здоровый, что, впрочем, я ставлю под большое сомнение, – Вилич Ильич делает паузу. – Бога-то нет! – поднимает торжествующе палец. – Вот в чем дело. Поэтому ваша забота о них – что псу под хвост.

– Может, нет, а может, есть. Неведомо это ни вам, ни мне, ни партии.

– Как это неведомо? – вздрагивает председатель и крестится. Сплевывает. – Тыфу ты, совсем попутали меня. Партии все ведомо, все она знает и обо всех заботится. Это наша сила и опора. Посмотрите в окно – красота: бескрайние просторы, поля, рожь колосится, скоро урожай собирать, а все благодаря партии.

– На «москвиче» будете собирать?

– «Москвич» – это личная заслуга. Но вернемся к вашей писанине. Место рождения: Поднебесная. Опять не понимаю. Опять вы со своими эвфемизмами. Если Китай – так и напишите.

– Это мир.

– В поддержку мирового интернационала, значит. Хорошо... Но! До полного господства коммунизма в мировом масштабе заявление это весьма преждевременное. Потому как для нас, советских людей, родина пока одна, – он разводит руки. Снова углубляется в текст. – Образование: образовался с миром. То есть в миру, значит? Опять клерикальная муть. Болото, прямо скажу! Что ни шаг – засасывает все глубже и глубже. И засосало вас, похоже, по самое горло. Пока вы в Париже с француженками забавлялись да песни поминальные пели, мы за это время новую страну построили. Старую снесли напрочь, а на ее месте... Видите поле? Вот там, в середине третьей полосы, раньше церковь стояла. Большая, с золотыми куполами, вся деревня окрестная ходила туда молиться. А потом мы эту церковь с землей сровняли. Вот этими самыми тракторами. Золото – в казну, технику нам отдали, а на месте церкви, видите – поле засеяли. И никто не жалуется. Одним святым духом сыт не будешь. Народу нужно что-то есть.

– У вас под губой икра, господин председатель.

– Это я... – председатель вытирает рот манжетой. – Это подарок, подарок от товарищей, в честь, так сказать, Дня совхоза. Сами, понимаете, оклад небольшой, да и где в наше время достать икры? Только в подарок.

– Подарками едиными живы...

– Вы же пишете, – Ильич продолжает, – желаемый оклад: за вечную жизнь. Тут конечно, в контексте всего упомянутого и вашего личного присутствия, понятно, что вы не просто так к нам пришли, а пришли, так сказать, с идеями. Только за такие идеи, что вы тут излагаете, дорога в наш совхоз вам закрыта. Открыта она только в другие учреждения, исправительного характера. Я бы на вашем месте сдал себя в руки санитарам: там хоть попом можете быть, хоть Наполеоном, будете чувствовать себя как дома. И что вам в Париже не сиделось...

– Вам тоже недолго осталось.

Председатель непонимающе смотрит на Смертина, откладывает резюме. Наклоняется к гостю и тихо спрашивает:

– Я вот только одного не понимаю, товарищ Смертин. Зачем вы сюда пожаловали? В этот вот совхоз. Вам что, медом здесь намазано?

– Икрой, господин председатель. А впрочем, – встает Смертин, – сейчас все прояснится.

Он поворачивается к двери, и та сквозняком распаивается.

– Зоя Филипповна, инструмент.

– С инструментом нельзя, – пищит секретарь с недокрашенной бровью.

– Инструмент? – любопытствует председатель. – Что это вы выдумали на этот раз? Ну, несите Зоя Филипповна, давай посмотрим.

Та достает косу из угла, заносит и быстро вручает Смертину:

– Что тут смотреть-то? Коса у него.

– А, так вы, значит, косарь! Поп-косарь.

Председатель начинает хохотать. Смех волнами расходится от центра живота по поверхности тела, достигает волос, кончиков пальцев и даже добирается до Зои Филипповны, которая тоже начинает хихикать. Ильич смеется заливисто, краснеет, как созревший овощ из кубанского совхоза-побратима. Конца не видно его смеху.

– Святой отец, а не скосите ли мои грехи? – он хохочет. – Нет, все-таки глаза, Зой, посмотри, глаза-то у него раско-о-осые. Верно, не из Парижа, а из Китая приехал, не врет, а!

Председатель сползает под стол и катается там, как Ежик Соник, содрогаясь от хохота.

– Я не могу, вот уж появился на потеху. Косарь, значит, а? Ну, косарю косарево, как говорится, ха-ха-ха.

Наконец, председатель перестает смеяться и выкарабкивается из-под стола. Перестает и Зочка. Черная тушь ее, так старательно подведенная, расплзлась по щеке. Председатель смотрит на нее и улыбается, показывает пальцем:

– Зой, у тебя тушь убежала.

Зоя Филипповна трогает лицо, вдруг резко краснеет и убегает, по-видимому, в уборную. А Смертин стоит все это время, опершись на косу, и наблюдает совхозную истерию.

– Товарищ Смертин, извините, но косарем никак не получится, – говорит председатель, вытирая слезы. – Во-первых, рук у нас хватает, а во-вторых, ну кто в наше время косит вручную? Прогресс, как говорится, не стоит на месте. Механизация, сами понимаете.

– Понимаю, – говорит Смертин, задумчиво потирая косу. – Во-первых, господин председатель, механизация ваша близка к утилизации, чего, конечно, не сказать про ваш «москвич». Во-вторых, послание мое и само мое появление обычно достаточно красноречивы, чтобы человек мог сразу увидеть свой дальнейший путь, а вернее, его скорейшее окончание. Вы же выстроили перед собой крепостную стену, вырыли ров, напустили дыма. И обманываете себя, слово за слово, минута за минутой погружаетесь в болото собственных фантазий. Конечно, намеки мои несколько трансцендентные, если позволите так выразиться, да и сам я существо не очень приземленное, а потому могу не поспевать за передовыми идеями, но в общих чертах прекрасно улавливаю направление общественной мысли. Послание мое весьма типично, а сам я и есть архетип, а потому с первого взгляда всегда был и буду понятен как китайцу, так и француз. И тем более вам, носителю революционных идей. Вижу, однако, идеи ваши настолько застлали вам глаза, что кажется, будто мир вращается вокруг совхоза и делится на черное и белое, или, как вы говорите, на товарищей и господ. А ведь между любыми крайностями – пропасть промежуточных состояний! Пропать, в которую вы, между прочим, давно уже падаете, но вам мерещится, будто вы взлетаете на первой космической скорости, а свет вдаль – это не свет в конце тоннеля, а солнце. Будто несет вас в светлое будущее, которое непременно наступит. Но как водится, блестящее, сытное, накрашенное настоящее интересует людей гораздо больше. Если вы еще не поняли, то я здесь затем, чтобы настоящее ваше превратить в прошлое, а лично вас отправить напрямик в место, где никакого будущего нет, потому что и времени там нет. Впрочем, это лишь слухи. Видите, с вами я уже начинаю сомневаться в своей компетенции и в известной мне реальности.

– А вот это правильно, – председатель невозмутим. – Сомнение – первый признак выздоровления.

– Ради выздоровления, господин председатель, взгляните на резюме еще раз.

– Что мне этот бред читать... – председатель бросает взгляд на документ, лицо его вдруг меняется. Он хватается лист и подносит близко-близко к глазам. Затем переводит взгляд на Смертина.

– Что это, снова шутить вздумали? Это-то когда успели подсунуть?

– Господин председатель, вы же сами вчера письмо распечатывали, да при свидетелях. Никто вам ничего не подсовывал. Вы, наверное, его не с той стороны читали, а может, не на том языке?

– Помилуйте, – говорит председатель. – Да на каком же языке...

Речь его обрывается, он быстро начинает читать, как бы про себя, но вслух:

– Curriculum vitae. Жизнеописание Рудольфа Вениаминовича Бакаева... Родился в семье потомственных купцов... вступил в партию... получил должность... оклад... любит хороший алко-

голь... имеет любовницу... использует служебное положение... представляется идейным... партийный билет... для личного обогащения...

– Что, что все это значит? Откуда у вас такая информация? – озирается председатель. – Вздумали запугивать меня?! – кричит он вдруг.

– Мне вас запугивать незачем, я здесь по работе. Простая формальность, я же говорю.

– Это все ложь, ложь! – багровеет председатель и начинает кромсать лист на мелкие кусочки.

– Понимаете, это совершенно неважно. Ни происхождение, ни заслуги, ни грехи. Все равны по праву рождения, так вы говорите. Грехи не мне отмерять. По существу, я и не знаю, будет их кто отмерять или нет. Я ведь совсем по-другому поводу.

– Так по какому же?!

– Я вас забрать пришел.

– Забрать? Куда?

– Да вы и сами знаете.

– Нет, не знаю!

– Что-то холодом повеяло, господин председатель.

– Что? Каким холодом?

– Тучи грозовые накрывают любимое вами поле.

– Какие тучи? Что вы говорите?

– Ночь идет.

– Какая ночь? Что вы несете? Ненормальный, совсем ненормальный, я говорю, Зюечка! Ах ты черт... Вы либо ненормальный, либо пьяный.

– Рудольф Вениаминович, ваше время истекает.

– Откуда вам все это известно?! – председатель трясет обрывком резюме.

– Партии все известно, – усмехается Смертин, председатель бледнеет. – Да вы блее смерти. Не пугайтесь. Я не партийный. Вы же резюме читали.

– Получается, что же, вы вне партии? – округляются глаза у председателя.

– Можно сказать и так. Куда мне поручено вас переправить, никакой партии нет. Да и ничего, там, кажется, нет. Впрочем, вам вскоре предстоит узнать.

– Что ж, у меня тоже есть свои покровители, – мрачнеет председатель и поднимает трубку, начинает накручивать номер.

– Вот смотрю на вас, с одного бока – вроде умный, а как другим повернетесь – дурак дураком. У вас телефон не подключен, господин председатель, не ломайте комедию. Пиджачок ваш не из Парижа ли, кстати?

– Зюечка, Зой! – председатель бросает трубку.

– О, о ней можете не беспокоиться, ее время еще придет.

– Я буду жаловаться! – кричит председатель.

– Что ж, начинайте.

На улице вдруг темнеет, набегают тучи, и начинается гроза. Порыв ледяного ветра распахивает окно. Мантия развевается на ветру темным зловещим силуэтом. Председатель (удивительно ловко) вдруг вскакивает на стол, перепрыгивает на подоконник, хватается за створки окна и под оглушительный раскат грома прыгает в колосья. Дождь врывается в комнату, ветер сметает документы и обрывки бумаги со стола, кружит их по кабинету, дождь заливает пол. От раскатов грома звенят хрустальные рюмки и бокалы в серванте.

– Рудольф Вениаминович, от судьбы не уйдете.

Молчание. Молчание. Молчание.

– Я в судьбу не верю, – доносится, наконец, сквозь грохот дождя через пару минут.

– А во что вы верите? – тихо спрашивает Смертин, но слова эти услышал бы любой адресант и на другом конце планеты. Тем более услышал председатель. – Может быть, в партию?

Голова председателя появляется над подоконником, затем Ильич переваливается и сам, с трудом забирается в кабинет, захлопывает окно. С него течет рекой вода. Насупившись, подходит к серванту, достает два стакана, наливает водочки.

Один стакан пододвигает Смертину, другой залпом опрокидывает. Наливает еще. Поднимает стакан, будто перед тостом, говорит:

– Нет, в партию я не верю, у вас же в чертовом резюме написано. Но! Верю, что всегда можно обо всем договорится. И, как видите, – он обводит глазами кабинет, – у меня это неплохо получается, – выпивает. И продолжает:

– Значит так. У меня там машина. Вижу, она вам приглянулась, – он кивает в сторону выхода. – Вот ключи, – кладет ключи на стол. – Вот документы, – открывает дипломат, достает, – «мо-сквич» ваш. Езжайте, пользуйтесь. Я вас не видел. Вы меня не видели.

– Осталось вам жить всего минуту, а вы паясничаете. Все-таки не зря я лично явился. От души смеюсь над вами, – говорит Смертин с белокаменным лицом. – Впрочем, в душу вы тоже не верите, ведь от нее пользы никакой.

– Псих, – шипит председатель и опрокидывает очередной стакан. Затем неожиданно (для себя тоже) с вытянутыми руками бросается через стол на Смертина. Ему удается сомкнуть пальцы на горле гостя, вместе они падают, Ильич придавливает грузным телом костлявого Смертина, коса выпадает у того из рук. Председатель с побагровевшим лицом изо всех своих революционных сил сжимает горло супостата. Глаза Ильича налиты кровью, изо рта течет пена, он шипит, как кобра. У Смертина симптомы аналогичные. Он, задыхаясь, смеется (от души):

– Схватка... со... смертью... господин председатель...

Ильич в приступе ярости усиливает хватку, наконец, глаза Смертина выпучиваются, язык вываливается, тело обмякает. Молнии зловеще разбивают полумрак, а раскат грома сотрясает кабинет, с серванта падает бутылка с вином и разлетается вдребезги. Осколки стучат по полу, резонируя с дождем.

Председатель приходит в себя. Насквозь мокрый от пота и дождя, он пытается отдышаться, лицо его багровое, сердце прыгает, как после эстафеты. Облокотившись на столешницу, он тяжело поднимается. Кабинет плавает перед его туманным взором. Он дрожащими руками нащупывает водочку, наполняет рюмку, пролив оставшиеся полбутылки. Выпивает.

Лицо его багровеет окончательно. Он порывом хватается за грудь. Хрипит:

– Зоя, Зочка, Зо...

Тянется к двери, делает шаг и падает навзничь.

Гром замолкает. Дождь утихает. Тучи расходятся. Зоя Филипповна в полной боевой готовности, то есть с накрашенными губами, бровями, ресницами, щеками и иными принадлежностями, стучится в кабинет.

– Вилич Ильич, тут Сашка хочет пораньше уйти с работы, говорит, трактор починил, но работать невозможно, поле мокрое. Отпустить его?

За дверью тишина. Секретарь ждет некоторое время. Стучится снова.

– Вилич Ильич? – говорит она тише.

Аккуратно открывает дверь и заглядывает в кабинет. На кресле, запрокинув голову, раскинулся Вилич Ильич, дыхание его мерное, свистящее. На столе рядом с ним – пустая бутылка водки, две рюмки и наполовину употребленная банка икры. Распахнутое окно, мокрый пол, разбитая бутылка вина, по всему кабинету разметены бумажки.

Зочка прикрывает дверь. Показывает загорелому Сашке, который ждет в коридоре, большой палец, затем прикладывает указательный к губам – тс-с-с. Сашка улыбается. Зочка (тише воды, ниже травы) заходит в кабинет, приближается на цыпочках к краснодеревянному столу, берет полбанки икры, из серванта достает непечатую бутылку грузинского вина; хихикая и кивая на приобретения, пританцовывает, подбегает к трактористу, вычерпывает горсть икры. Сашка жадно слизывает икру с ее ладони, облизывая каждый пальчик, и едва прожевав, прижимает Зою к себе, впивается в нее соленым поцелуем. Затем подхватывает ее на руки и выносит из совхоза имени Ильича.

А председатель спит как убитый.

Дмитрий РАСКИН

ТЁТЯ КЛАВА И ЛЁВА БРИЛЛИАНТ

Рассказ

Клавдию Степановну уважали все. Сдержанная, немногословная, знающая себе цену, работающая. Да что там «работающая»! Вкалывала всю жизнь без продыху. Лёве всегда было как-то неловко перед людьми тяжелого труда. Его ведут за ручку домой из школы мимо рабочих, что отбойными молотками долбят, вскрывают асфальт. Дома его ждет стакан какао, а они так и будут бить своими страшными молотками до самого вечера, и даже если пойдет дождь. Лёве стыдно. При первом его знакомстве с Клавдией Степановной, Леночкиной мамой, это детское чувство стыда всплыло вдруг. Удивился сам.

Клавдия Степановна, после того как Лёва с Леночкой расписались, просила зятя называть ее тётей Клавой – понимала, что неправильно требовать с него «маму» или же «маму Клаву», мама у него одна. Лёва оценил. Так вот, тётя Клава была не по годам бодрой и крепкой, как сама она говорила – «шустрой», но Лёва знал от Леночки, что есть уже кое-какие проблемы с сердцем. «Не сможет моя мамочка без дела. Она из тех, кто и на одре будет думать о том, как бы не померзла в майские заморозки наша только-только распустившаяся вишня, и о том, что надо прибить какие-нибудь распорки, укрепляющие каркас самого “одра”», – Леночка гордилась мамой. Только в гордости этой была и немалая доля снисходительности «образованной» дочери (Леночка первая у них в роду, окончившая университет) к своей маме «из простых».

Борису Львовичу и Доре Марковне, родителям Лёвы, Клавдия Степановна понравилась едва ли не больше, чем сама Леночка. К Леночке они отнеслись доброжелательно, но все-таки сдержанно: «Приятная девушка. Скрамная. Чего еще надо? – читалось на их лицах. – Все остальное? Жизнь покажет». После затянутого и, скажем так, весьма драматичного романа Лёвы с женщиной на девять лет его старше, женщины, опять же, скажем, не без странностей, им хотелось для сына чего-нибудь ординарного. Они верили в надежность и в правоту смыслов обыденного и ординарного.

Леночка боялась знакомства с его родителями, боялась страшно. Лёва ее успокаивал. Ему было непонятно, как это его родителей можно бояться? А то, что Леночка боится, ему почему-то было приятно. Мама, Дора Марковна, почувствовав робость Леночки, как-то сразу нашла слова и ее поддержала. Насколько она могла быть бесцеремонной и грубой со своими, настолько у нее получалось тактично и проникновенно с теми, кто вне семьи... Клавдию Степановну родители Лёвы поняли сразу. Поняли и оценили. Борис Львович, как только они остались одни, в своей полухулиганской манере, имея в виду именно тетю Клаву: «Поздравляю, сынок, кажется, ты попал в

Дмитрий Раскин родился в 1965 году. Учился в Горьковском пединституте, кандидат культурологии. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Борис Суперфин» (М.: Водолей, 2017) и «Маскарад миров» (электронная книга, Международное издательство Стрельбицкого, 2017, лауреат международного литературного конкурса «Генератор фантастики»). Публиковался в сетевом журнале «Артикуляция», литературном альманахе «45-я параллель». Живет в Нижнем Новгороде.

хорошие руки». Лева всегда ценил остроумие отца, но мог бы его ценить еще больше, если б папа не имел привычку повторять понравившуюся шутку множество раз. Впрочем, сам Лёва здесь не слишком-то далеко от него ушел. Затем родители начали о том, что Лева человек бедный, а бедному в наше время рассчитывать на брак и не приходится. (Бедному не приходится рассчитывать вообще ни на что!) А тут семья еще беднее, неприязнительная, и это залог семейного счастья Лёвы с его-то учительской зарплатой. Лёва согласен, но неприятно немного, что родители не могут смотреть на Леночку его глазами: то, что его умиляло в ней, ими просто «принималось к сведению». А то, что не слишком-то умиляло... отец, кажется, понял его, сказал – это норма, это жизнь, просто не надо мечтать непонятно о чем, самому спокойнее будет. И Лёве действительно стало спокойнее. Он сам удивился – оказалось, он «беспокоился», был не уверен?! Точнее, смущен. Но он же определился. Он же любит!

Два года спустя он поразится, до какого отвращения друг к другу они с Леночкой дожили.

Военное детство тётки Клавды, послевоенная юность. Как появилась возможность, вырвалась в город. Училище, чтоб стать маляром-штукатуром. Жила в общежитии. Потом общежития строителей. По ночам лазили парни с химфармзавода, те, что там были «на химии». Страшно, конечно. Надо смотреть, чтоб не ограбили, не избили или чего еще похуже.

С Саней своим познакомилась на танцах, сразу ейглянулся: красивый, стройный такой. Свадьбу сыграли почти что сразу. Комната в семейном общежитии. Зарплата у него хорошая, он токарь на «почтовом ящике». Все как у людей. Кроме одного. Кожа у нее, *та самая*, оказалась тонкой. И Саня не поверил в ее невинность. Как он злился! Как над нею куражился! Она уговорила, чтоб он сходил с ней к гинекологу. Докторша была хорошая, все ему объяснила. Он вроде бы успокоился. А потом все заново, может, даже и злее, тяжелее. Вбил себе в голову, что она договорилась с врачом.

Повез ее к своим, в деревню, знакомить. Тётя Клава однажды подслушала, как мать наставляла Саню: «А ты ее побей». Только Саня и без материнских советов здесь разобрался, он *уже*.

Не доверял ей годами, попрекал, материл при всяком удобном случае, при каждом скандале. И уж само собой, по пьянке. И руки распускал. Все силы, всю душу ей вымотал. А что сделаешь? Надо терпеть. С самого детства знала, *жизнь надо терпеть*. С детства жила с крепко сжатыми желваками.

Он, бывало, ночью ляжет на нее, делает свое дело, она знает, что он не хочет ее, себя принауждает, но делает. Зачем? А как кончит, бывало, начинает упрекать за то, что тогда, в юности, обманула его (не может простить обмана!), была недевственной (в переводе с матерного так). Но хорошее у них в жизни тоже было.

Первая беременность закончилась выкидышем, во второй раз ребенок родился мертвым, потом долго не могла забеременеть, уже не надеялась даже, видно оставила женское свое здоровье на стройках, на сквонзях, и вот Леночка.

Наконец получили квартиру, у Саньки в «почтовом ящике» очередь подошла. На самой окраине, но квартира хорошая, две изолированные комнаты, она о таком и не мечтала.

Вваливала у себя на стройке, вечерами, в выходные и в праздники калымила на ремонте квартир, и все равно денег не хватало – вот у Леночки даже рахит начался, врач говорит от плохого питания. Если б Санька меньше пил, было б полегче с деньгами. А ведь одеть-обуть Леночку надо и квартиру обставить надо! Чтобы все как у людей, чтобы все, как положено, чтобы правильно...

Санька пил не запойно все ж таки, но тяжело, и допился – умер еще не старым. Тётя Клава поняла вдруг, что она этого и хотела, этого и ждала.

На кладбище с воем бросилась за ним в могилу, прямо на крышку. Видела, людей проняло. Эта смесь радости освобождения, страха перед начинающейся новой жизнью, усталости от прожитого, сознания, что радоваться не принято, стыдно – а прыгнула за ним, на крышку, и как-то все проще и легче стало, она вдруг стала права.

Леночку поднимала тяжело, но подняла вот, выучила. Дочка окончила университет, теперь в библиотеке. Платят, конечно, гроши, но зато работа легкая. Ее дочь теперь в жизни ничего тяжелее шариковой ручки не поднимет. Она, Клава этого и хотела. Все сбылось.

Тетя Клава вышла на пенсию, как раз в те годы, когда на пенсию прожить уже было нельзя. Но у нее сад и огород, целых двенадцать соток. От отца осталось. Так что с голоду не помрут. Ей удается даже продавать немного картошки. В городе торгует, у себя же в районе, на автобусной остановке.

Когда Леночка сказала, что, *может быть*, она выйдет замуж за еврея, тетя Клава одобрила. Евреи (она часто делала ремонт в еврейских квартирах) люди положительные, мужчины у них заботливые, непьющие, только в квартире всегда беспорядок, в общем, дай-то бог! Что же, выйдет Леночка за хорошего человека, чего еще надо?

Она давно уже мечтала о замужестве дочери, но все почему-то никак. Тетя Клава боялась жизни и подозревала ее во враждебном замысле против нее, Клавы. Она вряд ли смогла бы выразить это словами, но здесь и не нужны слова – это изнутри, из глубинных каких-то пластов, и непоколебимо. Ну и, конечно, здесь весь ее жизненный опыт... Жалость к самой себе и сознание собственной правоты, правоты проживаемой жизни, правоты своего уклада были, пожалуй, главным содержанием ее любви к самой себе. Той любви, о которой вряд ли кто догадывался. Да и не зачем тут догадываться! А то, что она права, тому есть доказательства – у нее же все получается, она всегда добивается своего. Быстро ли, медленно, но добивается. И не нужны никакие доказательства! Когда она вдруг начинала бояться жизни сильнее, чем обычно, или же ей что-то очень уж надо получить от жизни – шла в церковь, ставила свечку.

Тетя Клава боялась за дочку. Как бы Леночка не учудила чего до свадьбы, как бы все не испортила. От таких хороших парней нос воротила, все ей чего-то такого-этакого хотелось. Кажись, нашла. Не хватало только сейчас по глупости потерять такого хорошего Лёву! Дочку она, сколько бы та ни чванилась перед ней своим образованием (тетя Клава не обижалась), считала непрактичной, балованной (понимала, что сама же и избаловала), не приспособленной к жизни. Ну, да ничего, она, тетя Клава все возьмет на себя, наладит их быт, и Ленку-дуреху будет держать в узде, не даст ей распускаться, не говоря уж о том, чтобы обижать Лёву. Все будет хорошо.

Стали жить в его квартире. Лёве осталась от деда однокомнатная в самом центре, но очень уж маленькая. Тётя Клава приезжает к ним по утрам, пока Лева и Леночка на работе (у нее свой ключ), готовит, убирает, стирает, исчезает до их возвращения. Вечером по телефону спросит у Леночки, что приготовить завтра, что сделать по дому, Леночка дает задание, смеется в трубку: «Ах ты наша мамка-самобранка». Лёве неловко, конечно, тем более что тетя Клава ездит к ним каждый день, да еще и через весь город. Но и отказаться от такого сервиса он не может. В общем, как-то сама собой возникла мысль, что им надо съезжаться. Ленка и тетя Клава не возражали. Тетя Клава сначала оробела несколько, еще бы, сниматься с насиженного места, но понимала, что надо... так будет лучше для всех.

Борис Львович дал сыну уверенность на свой «жигуль», или как он еще его называл, вкладывая в слово максимум сарказма, «мерседес». Сам он давно уже не водит, а у Лёвки права, да и неплохо увеличить капитализацию сына в этой семье. Шутка отцу так понравилась, что он раз за разом находил предлог, дабы позвонить тётке Клаве и повторить остроту, посмеяться. Тётя Клава сделала вывод, что ей тычут в нос благодарием. Сама она Лёве ничего не сказала (она действительно очень сдержанная), но Леночка передала, не без насмешки над мамой. «Ой, Львенок, смотри, что получается, – смеется Леночка, – хотела честно выйти за тебя по любви, а вышла-то по расчету – у тебя же квартира, а теперь еще и машина. С ума сойти!»

Позже, недоумевая, как он мог полюбить и *что* он, собственно, в ней любил, Лёва вспоминал этот ее экспромт. Две-три черточки обаяния, две-три девичьи ужимки, живость характера,

девичье очарование, самое первое, ранее... и этот ее смех, ее простодушие и незащищенность – и за всем за этим угадываются, как само собой разумеющиеся, легкость характера и душевность. Только довольно быстро выяснилось – не было вовсе ни душевности, ни легкости даже.

Чистота и наивность, разве этого не достаточно, чтобы он влюбился? Принял ее застенчивость за чистоту? Ее робость и неуверенность в себе – за глубину душевной жизни? И, конечно же, это ее восхищение им. Она восхищалась Лёвой как «талантливым педагогом», «творческим, ищущим филологом» (он организовал в одной школе гуманитарный класс, и она ходила к нему на уроки), как «многообещающим ученым» (он начал писать диссертацию и кое-что еще). Похвалы ее были выпренны, часто слащавы: «будущий гений», «обостренная совесть» слетали с ее губ как-то сами собой. Лёву коробило, но он объяснил себе так: «Неумелое проявление искренних, добросердечных чувств. Надо быть терпимым. Главное, что чувства искренние, а мера и вкус к ней придут. Нужно время просто». Сие объяснение успокоило его совесть. К тому же здесь он считал себя мудрым, все принимающим, каким еще?

О любви к нему она говорила много, проникновенно, страстно. Ему было даже неловко, он вот не может любить ее в той же мере. Получается, он обманывает ее? И, опять же, ее стиль, ее пафос и сентиментальность. Но Лева уже все объяснил себе насчет стиля. Нельзя же упустить *главное* в ней из-за нелепости формы.

Она слабая, незащищенная, а он... получается, что он, стилем сказать, «соблазнил». А услужливый язык подсказывает штамп «соблазнил и бросил». Это чувство вины перед ней возвышало Лёву в собственных глазах. И маму ее тоже как-то было жалко, он не знал ее биографии (Леночка не рассказывала), но многое угадывалось.

После тех его отношений со «взрослой женщиной» ему хотелось быть главным, он собирался заботиться и покровительствовать...

Эта смесь девичьего обаяния, его, Лёвиного, предвкушения будущего, его неуверенности в собственных силах, его самовлюбленности, весьма лестного для него самообмана, просто глупости, наконец, и есть любовь? Он догадывался, что его любовь незрелая, сентиментальная, но она разовьется, станет подлинной, он дорастет до подлинности.

Были у него и не очень приятные для него самого соображения: Леночка с матерью будут ценить, будут ему благодарны. И еще одно обстоятельство: у Лёвиной мамы под влиянием, скажем так, возрастных изменений испортился характер, она провоцировала Лёву, скандалила, он был к ней беспощаден, потом его мучила совесть, потом опять на нее срывался – нужен был какой-то выход. С родителями он уже жить не мог. А жить в дедушкиной квартире и самому вести хозяйство? До встречи с Леночкой он уже не исключал и такой вариант.

Что еще настораживало в ней, она была вспыльчива, можно сказать, гневлива, чуть что – лицо красное, возмущенный голос, в глазах слезы. Но потом так трогательно смеется, иронизирует над собой.

Представляя его своим подружкам, говорила так: «Левчик у меня маленький (Лёва вообще-то был среднего роста), довольно щедушный, видите (!), и с носиком, особенно, если в профиль, но я выбрала его за потрясающий интеллект и за богатый внутренний мир». Лёве делалось кисло, но он был великодушен и влюблен. К тому же Леночка говорит это не для того, чтоб подчеркнуть его изъяны, это она так намекает подружкам на собственную одухотворенность. Леночка недоумевала, смеялась: «Я так расхваливала тебя, чего тебе еще надо?» «Ну да, это ж какой надо быть необычайно возвышенной, утонченной, обладающей редкой, можно сказать, повышенной одухотворенностью, чтобы выбрать такого Квазимодо как я», – отшутился однажды Лёва, когда они вернулись из гостей домой. Леночка трогательно иронизировать над собой не стала, а налилась красным, и голос возмущенный, и в глазах слезы. Пройдет немного времени, и Лева поймет, все, что говорит Леночка – все для того, чтобы доказать эту свою «повышенную одухотворенность».

Леночка демонстрировала друзьям свою новую фамилию как модное платье. Она теперь Леночка Бриллиант. Ей казалось, что это как псевдоним артистки или же светской львицы. Впрочем, в какой компании этой фамилии надо стесняться, она тоже знала.

Леночка делала вид, что «совсем не разбирается в деньгах», путается при расчетах. Это ее сместило и умиляло. Лёва не сразу понял, Леночка видела в этом доказательство собственной интеллигентности. Она-де выше денег, «неотмирна», как и положено подлинно интеллигентному человеку, в высшей степени непрактична... Это кольнуло его, конечно, но он нашел для себя какое-то оправдывающее ее объяснение, постарался.

Квартирный обмен у них получился на удивление быстро. Им даже удалось съехаться в четырехкомнатную квартиру. (Пусть и в панельном доме, Лёве все равно.) Зала стандартная, метров семнадцать, но квадратная и потому кажется больше, чем есть, и очень уютная. Из нее две двери в маленькие комнаты. И одна крохотная, семиметровая изолированная, это для тёти Клавы. Лёве, что всю предыдущую жизнь жил с родителями в двухкомнатной хрущевке, все это казалось невысказанной роскошью. Квартира не в центре, конечно, но и не слишком далеко, в приятном спальном районе. Леночка с мамой прожили на пролетарской окраине среди алкашей и гопников. Лёва думал, что они будут счастливы, но они были только лишь *несколько* рады. Тётя Клава сразу же сказала: «Будем делать ремонт». Зачем? Квартира в хорошем состоянии, можно только испортить. Ему не до ремонтов сейчас, у него уже два гуманитарных класса, а вместе с диссертацией он теперь пишет цикл эссе, чувствует, еще немного – и у его разрозненных текстов появится некий сюжетный стержень. «А сколько ты на семью заработаешь своей писаниной?» – спросила тётя Клава.

Насчет ремонта Лёву просто не поняли. Будто он спросил: а зачем заводить ребенка? И начался ремонт.

Ремонт, насколько понял Лёва, был для них вещью совершенно метафизической и не нуждался в обоснованиях. Даже сакраментальное «чтобы было как у людей» звучало всего лишь как достаточно плоская рационализация.

На новоселье пригласили брата тёти Клавы Колю. Точнее, «новоселье» было устроено специально для него. Дядя Коля был автослесарем и всегда смотрел на свою сестру свысока. Он богаче, он благополучен. К тому же были и старые обиды на тётю Клаву, он недоволен, как их отец поделил между ними наследство. В деревне их участки через забор, но он не помогал сестре. А в тех случаях, когда не помочь все же было нельзя, делал это настолько высокомерно... И «новоселье» было неким триумфом тёти Клавы, ибо эта квартира рангом выше того, что было у брата Коли. Ее реванш по итогам прожитой в соперничестве с братом жизни.

Дядя Коля и его жена Шура квартиру оценили, приняли свое «поражение» сдержанно, с достоинством. (Тётя Клава усмехнулась про себя над этой их сдержанностью.) Шура принялась восхищаться Лёвой, мол, какой молодец, захотел съехаться, вложил свою жилплощадь, без его квартиры в центре вообще ничего бы не получилось. То есть тёте Клаве дают понять: они знают, что это не совсем ее квартира, это, прежде всего, квартира детей. А комната – правильно, что она выбрала себе самую маленькую. Правильно-правильно, чтобы деток не стеснять, чтоб не мешать им жить. Мы же деткам не очень-то и нужны, а тут как раз, между кладовкой и туалетом. Теперь уже тёте Клаве пришлось демонстрировать непроницаемость и сдержанное достоинство.

За столом Дядя Коля говорил о деньгах. И не потому даже, что денег у него больше, чем у Лёвы с тетей Клавой. Просто он не мог говорить ни о чем другом.

Только гости ушли, Леночка принялась изображать их в лицах. У нее хорошо получалось, Лёва умилялся. Высказалась насчет эволюции взглядов дяди Коли на «соотношение морали и денежных знаков». Так их Наташка получилась красавицей, во всяком случае, по меркам того пролетарского района, в котором они живут. Год назад приезжает жених, двадцать пять лет, на белом мерседесе. Дядя Коля с тетей Шурой в ужасе: «Ой! Он, наверное, рекетир. Подальше

от него». А в этом году другой жених, и машина черная, «бумер». Бритый затылок, кожаная куртка, ну и еще ряд аксессуаров, демонстрирующих принадлежность к субкультуре. Дядя Коля с тетей Шурой бодро: «Есть у человека деньги, и слава богу. А откуда – не наше дело». А сын у них, Саша, хороший, даже странно для такой семьи. У него свое дело, и они с Оксанкой после рождения дочки от родителей съехали, снимают квартиру, наверное, скоро купят свою, если только дядя Коля не врет, насколько у Саши хорошо идут дела. Затем Леночка начала о том, что вот Шура так хвалила Лёву, так ему улыбалась, а маме нашей говорила, проникновенно, участливо так: «Вы там поосторожнее с евреями. Как бы не обманули. Это такая нация, точно придумают, как надуть, и глазом не моргнешь». Леночка мило передразнивала «природный антисемитизм тети Шуры».

Когда Лёва первый раз отвозил тётю Клаву в деревню на своей машине, теща гордо смотрела по сторонам: видят ли соседи – она на машине.

Как это началось? Лёва не сразу заметил. Но чувство голода после завтрака стало возникать все раньше и раньше. Вот он уже и до школы своей не успел доехать, а уже есть хочется. Удивленный он спрашивает тётю Клаву, та как раз подает ему утреннюю его тарелку манной каши. Леночкина мама покраснела, чувствовалось, что она и обиделась и засмушалась. Извини, говорит, Левочка, не рассчитала. После чего калорийность завтрака повысилась. Но уже через пару недель все повторилось – Лёве становилось голодно где-то уже через час после еды. Леночка сказала, что это нормально, у нее тоже самое. Просто надо немного подождать – и чувство сытости появится. Кстати, это очень полезно для здоровья. Тем более, что он ведет свои уроки так вдохновенно, что вряд ли вспомнит о легком голоде. Он же Учитель, он же Ученый, и высшее наслаждение для него – откровение творческого духа... Лёва умилился, обнял ее. Но проблема так и осталась. Вскоре состоялось *объяснение*. Тётя Клава призналась – да! она разбавляет кашу, чтобы уменьшить расход манки, овсянки. Посмотрев на лицо Лёвы, перешла в атаку: «Потому, что мы бедные! Потому, что денег нет! Потому, что Леночке шуба нужна!»

«То есть это эксперимент такой, над человеком? – Лёва надеется свести все к шутке. – Ищем эмпирическим путем порог чувства голода в повседневной ситуации? Только боюсь, Клавдия Степановна, что вы его уже нашли. Но если цель – адаптация организма к отсутствию пищи, тогда, конечно, надо продолжать». Но к шутке свести не получилось, никто не умилился, звонкого Леночкиного смеха с полагающимися здесь поцелуями и объятиями не последовало. Леночка смотрела на непроницаемое лицо своей матери и переводила, озвучивала это ее молчание – возмущение, крик, злые слезы.

Той еды, что с огорода, им было для него не жалко – если не заплачено деньгами, ешь, сколько хочешь. Лёва честно пытался, но от всех этих огурцов-помидоров заработал такой гастрит! А колит... он и представить не мог, что бывает такой беспощадный и долгий колит. А им, опять-таки, было жалко денег на лекарства. «Эта стратегия ложная, – Лёва все еще пытается быть невозмутимым и ироничным, – сэкономленное на моей еде тратится на фармакологию, коэффициент один к двум как минимум, естественно, в пользу фармакологии». В ответ пунцовое от гнева лицо Леночки, злые слова и слезы.

Они знали – каждый съеденный Лёвой кусок мяса (а ему нужно мясо) это *не купленная* блузка или же кофточка, это отложенная еще на какое-то время шуба. «А Леночке надо! У них в библиотеке все в шубах! Потому что мужья обеспечивают. На двух-трех работах вкалывают, но обеспечивают». «А шуба, Клавдия Степановна, она из кого делается?» Из мутона, отвечают Лёве. «Вот именно, – радуется Лёва, – Из мутона, а не из него, Лёвы. Так что дайте поесть».

Тёте Клаве была непонятна и смешна специфика Лёвиного пищеварения. «В русском желудке и долото сгнет», – пожимала плечами она. Лёва даже и не обижался, видел, для нее смешно и нелепо все, что ей непонятно. «Что ж за желудок у тебя такой, что не может никак без мяса? А если он завтра вдруг без черной икорки не сможет, а?» – Леночка чрезвычайно ценила свой сарказм. Лева не очень здесь понимал ее: она со слезами на глазах слушает Моцарта, могла заплакать

на улице над бездомным котенком, а тут... Любое его недомогание ее раздражало. Болезнь Лёвы (а он был болезненный) понималась как способ уклониться от работы по саду. Здесь какой-то инстинкт. Они с мамой как те птицы в стае, что начинают клевать заболевшую птицу, чтобы не ослабляла стаю. Но Леночка же так хотела этого брака! И мама ее хотела, в церковь ходила, молиться пресвятой Богородице, они с Леночкой улыбнулись, конечно, но были тронуты. «Ну, если сама Богородица на вашей стороне, я сдаюсь», – говорил Лёва, и Леночка была счастлива. Они с матерью лстили ему, теперь Лева понимает. Лстили густо и чуть было не развратили его своей лестью. А теперь упрекают за то, что он ничего не может «своими руками». Вызов сантехника – это в зачет того куска мяса, который он наказал купить – сие не гипербола, реальность, которую ему хотели навязать.

«Ты, Леночка, давай-ка пока без детей. Мало ли что», – решила тётя Клава.

Стоило ему купить книгу, и все становились несчастными. Леночка считала, что ему незачем уже читать, и так умный. (Кстати, продолжала хватать перед подругами его остроумием и умом.) Предлагала драматичный, можно сказать, экзистенциальный выбор: книга или мясо. Мама Леночки видела дело так: выбор между книгой и едой решается в пользу шубы.

Лёва, в общем-то, не поддавался, покупал себе лекарства, заставлял их брать ему все то же мясо (будь оно неладно), книги, если нельзя было найти в библиотеке, несмотря на их вопли, покупал. (Тут все же имело значение, что его зарплата учителя была больше Леночкиного заработка библиотекаря.) Леночка боролась с ним теперь уже не только ради денег – из принципа. Тётя Клава на все это смотрела скорбно, но на лице ее было написано: «Муж лучше, нежели отсутствие мужа». Лёва не очень понимал их отношения матери-дочери. У них, казалось, были какие-то старые обиды друг на друга (сколько бы Леночка ни говорила о том, как она неизъяснимо нежно любит мать, это так, дабы лишний раз показать свою «повышенную одухотворенность»), они явно устали друг от друга, но против него, Лёвы, выступали настолько сплоченным фронтом. Несмотря на все свое университетское образование, которым Леночка так кичилась перед матерью, ценностная основа у них была общая. Леночка эти ценности защищала от Лёвы даже с большим остервенением, чем тётя Клава. Когда он сказал ей об этом, она страшно на него кричала.

Лева допустил одну ошибку. Он пытался объясниться с ними, он пытался *им объяснить*. Объяснить тёте Клаве, у которой не хватало денег на нормальное питание для заболевшей рахитом дочки, потому что заработанные тяжелейшим, беспросветным трудом деньги шли на покупку каких-то ковриков, тряпок?! Объяснить женщине, которая, как бы ни измывался над нею и ни унижал ее муж, выстроила уклад своей семейной жизни так, как нужно ей?! Лёва пытался их убедить, и за это они стали его презирать.

Поначалу Лёве было даже интересно. Интересна сама «ситуация», и он сам интересен себе «в ситуации». Как ему было стыдно потом за этот свой «интерес»! Не хватило зрелости, мужества, ума понять сразу: жизнь бездарна и он бездарен, а сок, свет, воздух уходят. А он, если словами любимого его Достоевского, вроде как «полюбил страдание», «стал интересен себе в страдании». Хорохорился, даже пытался глумиться над Леночкой с тетей Клавой. Только такое отвращение к себе самому от того, что уж очень бездарно и мизерно-мелко это его «страдание». Как нелеп и беспомощен он в этих своих потугах глумиться над Тётей Клавой с дочерью. И чувство, что еще немного, и он станет этому всему под стать, сравняется масштабом, вырастет так, что не оторвать. Этот мерзкий, отвратный вкус проживаемой жизни, выпотрошенной души. Чувство такое, что он уже скукоживается, старится.

Соскочить с себя всю эту слизь. Бежать? Пусть непонятно куда, лишь бы только бежать.

Леночка почувствовала и принялась говорить о том, что, если он вдруг (чисто теоретически!) ее бросит, она покончит с собой. Была убедительна и красноречива. Верил ли он ей? Почти что верил. Потому, что глупый. Потому, что ему выгодно было верить – он боялся развода, всех этих воплей и слез, и квартиру теперь непонятно как делить. Сил и нервов не хватит. Физиологии его не хватит на все это. А отец говорил, что уходить надо не просто так, а к кому-то. Мама же

предлагала дать Леночке шанс. Пусть Лёва попытается ее воспитать хотя бы за год. А если уж не получится, тогда действительно будем думать о разводе. То есть родители не хотели, чтобы он возвращался к ним. Ну, да, они уже старенькие и хотят, наконец, пожить для себя. Он их понимает. К тому ж у них свои болячки, им надо заниматься болячками.

Итак, поверив, что Леночка может покончить с собой, он отложил пугавший его развод на условиях собственного великодушия и морального превосходства над Леночкой, продолжив смаковать жалость к себе самому, вот так вот, до сблева. А Леночка и тётя Клава уже совсем перестали стесняться.

Он понимал, что между ними происходит недоразумение. Очень серьезное, глубокое, конечно, но всего лишь недоразумение. Так, когда Леночка заходится от гнева, кричит, оскорбляет, он считает, что рушится с грохотом его семейная жизнь, а для Леночки это способ такой общения по ходу этой самой жизни. Бывало, прооравшись, брызнув гневными слезами, плюнув в него такими словами как «сволочь», «мразь», сядет в кресло с томиком Ахматовой. Через час встает с вдохновенным лицом: «Казалось бы, все уже наизусть знаешь, а прочла, и музыка чудных строк звучит в каждой клеточке моего тела, и я знаю теперь, как мне жить! И я счастлива, полна жизнью, живу в дивном мире высоких чувств...»

У Лёвы закрывают его гуманитарные классы. Одно руководящее мурло в департаменте образования провозгласило: «Время экспериментов закончилось», и руководство школы, что так радовалось Лёвиным новациям, потому как надеялось получить статус гимназии, стало Лёву выдавливать – унижительно, мерзко и муторно, как умеют это делать в школе. Леночка с мамой быстро исчерпали меру своего сочувствия; жаль, конечно, но что сделаешь, а жизнь продолжается, своих забот полно. Впрочем, Лёва здесь и не удивился. Только родители прониклись этой его неудачей. Да! о родителях: Леночка с тётей Клавой его родители не доверяли. Любой их совет, любое их мнение воспринимали как вмешательство, уступишь им – на шею сядут. «Как смеет твоя мать мне указывать!» – негодовала Леночка. В отношениях с самими родителями приличия они соблюдали. Но родители как-то поняли, почувствовали и устарились. Не говорили теперь им ничего. Тут Лёва даже сочувствовал тёте Клаве, в ее жизни было так мало добра, и еще меньше она его видела от родни. Он и папе с мамой своим объяснял, просил проявить терпение. А тётя Клава считала, что у его родителей кое-какие денежки есть, но они не хотят помогать молодым. Да, она помнит, машина, квартира Лёвиного дедушки, помнит-помнит (это она отвечает Лёве). Но ведь это когда было?! А сейчас (для нее существует только «сейчас») чего не помочь, ежели их сыночек школу свою теряет. Конечно, она понимала, знала, что Борис Львович и Дора Марковна пенсионеры – она всю жизнь проработала участковым терапевтом, он инженер. Но где-то глубоко, в подкорке сидело: у *них* не может не быть денег. Леночка с ней была не согласна, насмехалась над матерью, но разве ее переубедишь.

Лёва становился занудным и склочным. Приставал к ним, придирался, цеплялся. Требовал с них. Только требовал что? Получалось, требовал понимания, счастья. Вымогал, выключивал счастье.

У Лёвы наметились отношения с одной учительницей в их школе. Эффектная, доброжелательная, разведенная. Он чувствовал, еще немного – и он ею увлечется. Но что в ней? Узость, тщеславие учительницы, полный набор предрассудков этой среды. К тому же еще и не было ничего, а у него уже беспокойна совесть. Сама же учительница, как только поняла, что Лёва попал в немилость у школьного руководства, потеряла к нему всякий эротический интерес.

Лёва не всегда оставался с ними на выходные в деревне. Отвезет Леночку с матерью и возвращается в город. Он так поставил себя, что участвует далеко не во всех их сельхозработах. Они смирились. Эти два, точнее, полтора дня были его временем. У него появлялось личное пространство, он мог молчать. А как ему работалось тогда! Диссертация уже почти готова. Лёва как соискатель нашел себе хорошего научного руководителя, то есть тот по равнодушию своему и веселому цинизму ничуть не ограничивал его академическую свободу. А половину своих эссе он переписал. Там все же была идейная заданность, теперь для него это ясно. Эта его свобода от собственных,

так тяжело ему давшихся открытий и мыслей... Жаль только, что все это есть отдушина от Леночки с тётей Клавой, унизительно как-то.

А еще, пока их нет, он ходил в супермаркет и брал себе что-нибудь вкусненькое. Однажды купил любимый свой торт «ежик», съел его за два дня, не торопясь, в удовольствие. Вернулась Леночка и сразу же стала проверять мусорное ведро. Когда обнаружила коробку из-под «ежика» (она лежала где-то уже ближе ко дну ведра), подняла такой скандал, будто у мужа не картонку от торта нашла, а презерватив, не на жену израсходованный.

Она во всем себя ограничивает, экономит, а он!

Секс сглаживал у них острые углы только лишь в самом начале. Нет, кое-что из ее обаяния еще действует на него временами, но он уже знает, главное, стержневое в Леночке не обаяние, не трогательная ее дурашливость, не проказливость и даже не сентиментальность, не «повышенная одухотворенность», а эти ее пунцовые от гнева щеки, ее жидкая злоба... Он легко мог представить ее в старости. И самое печальное, что для этого не требовалось особого воображения – в старости она будет такой же.

Однажды ему приснилось, что он трахает старуху. Сон был из тех, который смотришь и не знаешь, что это сон. Уверен, что правда. Трахает ее с отращиванием, грубо... и все эти подробности старческой анатомии. Потом поворачивает ее к себе, а это Леночка. Леночка в старости.

Лёва переспал с женщиной. Чего добивался? Утешения. С утешением не получилось. И еще, он не сразу понял, ему хотелось быть виноватым перед Леночкой. Чувство вины поможет примириться хоть как-то с тем, что собой представляет Леночка, с тем, что есть вся эта его семейная жизнь?! Но они уже дожили до такой отчужденности, что угрызений совести из-за измены у него не возникло. Вообще никаких.

Дора Марковна время от времени пыталась влиять на Леночку. Ненавязчиво, как ей казалось (!), исподволь. Бывает, пригласит сына с Леночкой «на чаепитие» и, когда к слову придется (а к слову придется обязательно!), начнет ей читать Мандельштама. Наизусть, с комсомольским задором (она всех поэтов читает с комсомольским задором): «В прекрасной бедности, в роскошной нищете...» Леночка сидит, сдерживается. Особенно ее бесит «Покуда с нищенкой-подругой я наслаждаюсь величием равнин, и мглой, и голодом, и вьюгой...» По возвращении домой, конечно же, выскажет Лёве все.

Лёва начал «бомбить» на отцовской машине. Решил попробовать, и вроде пошло. Если закроют его гуманитарные классы (а их уже скоро закроют!), может, уж лучше так, нежели идти в массовую школу, где главное уметь держать дисциплину и подлизываться к начальству. Может, лучше до защиты кандидатской зарабатывать так, чем заниматься таким вот бессмысленным и унизительным учительским трудом?

Тётя Клава довольна. Конечно, он мог бы зарабатывать втрое больше, если б не торчал в своей библиотеке, а то только по ночам калымит. Ну, да ничего, бог даст – втянется. Почувствует копеечку и втянется. Копеечка, она такая, за собой поведет.

И в то же время тетя Клава понимает, что взялся зятек не за свое дело. Ничего, как-нибудь. Главное, чтобы к вокзалу не подъезжал, там шоферюги побьют.

Вскоре купили Леночке шубу. Тётя Клава провозглашает новую цель – ковер на пол, в залу. Чтобы пушистый такой и во всю комнату. В ответ на Лёвино недоумение: «Пока человек живой, всегда что-то надо». Эту мысль она часто повторяла Лёве, то тяжеловесно и назидательно, то с юморком. После ковра запланирован новый диван.

Лёва теперь добился того, что ему покупают творог и мясо без скандала. Он теперь зарабатывает. Правда, тётя Клава норовит взять на рынке кусок подешевле и чтобы побольше костей, а разницу в цене между таким и хорошим мясом откладывает на благо семьи. Лёвке вникать некогда, он то калымит, то отсыпается, то пишет. То, что он пишет диссертацию, она, между прочим,

ценила. Как же, будет не пыльная работа в институте, уважение вроде бы тоже будет. Но эта его книга... Леночка сказала, он пишет для себя и только. А тётя Клава и сама догадалась, денег за книгу не будет. Чего тратить время на пустое?

«В борьбе обрел я мясо свое», – острит Лёва. Он теперь еще больше стал острить. Пытается доказать себе, что есть ироническая дистанция, что он *над ситуацией*. Только какое там! Ему не удастся обмануть себя. Столько открыл мелкого, склизкого в себе за такую недолгую семейную жизнь.

Тётя Клава видит, что Лёвка стал наглее, чувствует себя почти что хозяином. Пускай. Главное, что начал жить *по ее*. В переводе это значит: принял ее уклад, их с Леночкой цели и смыслы. Своим не стал, но *уклад* принял. Значит, все ж таки будет ее доченьке счастье. А чего еще ей, Клаве, надо? Пусть Леночка будет счастлива. А она тихо так, скромненько доживет в своей комнатке. Детям все делает, подает, накрывает, дом и сад на себе везет. Пусть Колька, брат, насмежается сколько ему влезет. Говорит про нее «служанка, домработница». Пускай. Все правильно. Все хорошо. Чего еще надо? Вот и становится все *по ее*. Значит, все сбудется. Уже сбылось.

Лёва калымил всю ночь. Решил поехать отсыпаться к ним в деревню. После гари, копоты города захотелось воздуха. Отоспится на воздухе. В городе лето душное, жаркое, а там... Отоспится, потом пойдет гулять, бродить по окрестностям. Там холмы, виды, насколько хватает глаз, а в долинах ручьи и прозрачные рощицы. Но поспать ему не дали. Им вчера привезли машину кирпича для новой печки, кирпич надо укладывать. Леночка, как у них всегда бывает, прочла на непроницаемом лице мамы «указание» и пошла будить Лёву. С шутками, дурачась, растолкала его, чтобы шел работать, помогал. Скандала не произошло только потому, что приехал дядя Савва, старший брат тётки Клавы. Он старше и ее, и дяди Коли. Лёва любил дядю Савву. Тот был добрый, тихий старичок. (Ну как старичок – чуть-чуть за шестьдесят. Но для деревни это возраст.) Живет дядя Савва в пяти километрах отсюда, когда нужна его помощь, тетя Клава едет за ним на автобусе, тот приезжает и все делает. Если есть возможность, то и сыновей своих берет с собой. Но чаще, конечно, работает один. Вроде тицедушный такой, а не знает усталости. Потом ему надо сесть, выпить стаканчик и поговорить. Говорит он о своем житейском, повседневном, и в каждом слове, в жесте, в улыбке явственны добродушие, доброта... и даже не его только, дяди Саввы, доброта, а доброта вообще... может, даже чистота доброты. Лёве он напоминал Платона Каратаева (раз уж нельзя никак без подобных ассоциаций). О жене своей, Тане, он говорил с легкой иронией, пожимая плечами, дескать, что ж сделаешь, даже будто сочувствовал ей. Но все знали, что его Татьяна свирепствует. К примеру, не так давно высыпала ему на постель полмешка картошки. Тётя Клава в резких выражениях осуждала «воблу-Таньку». Дядя Савва примиряюще улыбался, дескать, ладно, чего уж, что с нее взять, он привык.

Месяцем ранее тётя Клава нанимала Марусю, крышу над банькой надо было починить. С Марусей двое рабочих, она у них бригадир. Крепкая, бойкая баба, с быстрым умом – пока ее рабочие только соображают, как бы тут лучше сделать, она уже точно знает «как». Тетя Клава рассказала Лёве, что Маруся когда-то была невестой дяди Саввы, но он так и не решился на ней жениться, потому, что она вдова. За столом, когда тётя Клава угощала Марусю после работы, та посмеялась над давнишним грешком дяди Саввы перед ней: «Не женился, потому, что ему девочку хотелось. Вот и получил девочку! Он уж и забыл, как выглядит, – она назвала словом ту деталь женской анатомии, внешний вид которой уже забыл дядя Савва, – а я мужику своему завсегда дам, и стакан налью, ради бога! и сама с ним выпью».

Проголосовали трое. Двое сели назад, третий на переднее сиденье. Когда приехали, расплачивался один из тех, кто был сзади, деньги сунул как-то неловко, Лёве пришлось повернуться к нему вполоборота, чтобы принять купюры. Тот, кто сидел рядом, ударил два раза Лёву в живот. Лёва успел понять, что это нож.

Ему повезло, появился милицейский «газик», и они не успели ни добить его, ни угнать машину. Убежали дворами.

Лёвы пробиты желудок и поджелудочная. В больнице Леночка рыдала над ним, тётя Клава тоже плакала. Леночка причитала, что любила бы его даже, если б он остался без рук, без ног. Еще больше любила бы! Леночка поочередно с мамой носила в больницу супчик, когда врачи разрешили ему суп. И с родителями Лёвы они теперь вроде бы сблизились. Лёва не обольщался под впечатлением минуты, но был тронут. Конечно, тронут. И появилась надежда, что у них с Леночкой начнется некий новый отсчет. В конце концов, ей и тётке Клаве тоже было нелегко с ним, он много попортил им крови.

Как только оказался дома, отношение к нему изменилось. Ну, да, он теперь перестал быть «добытчиком». Теперь будет только учительская зарплата. Страх за него у них уже прошел. Леночка от роли любящей жены взяла, кажется, все, что могла дать роль. Пусть она даже была в этой роли искренна. Но это именно роль. Физически зависеть от Леночки с тётей Клавой (некоторое время после больницы он зависел от них физически) оказалось довольно-таки унижительно. Они не боролись с ним, ничего ему не доказывали, сочувствовали, может даже, в той мере, что им отпущена, любили. Просто у них так само собой получалось – презрение к неполноценному, ставшему обузой члену стаи, исполнение тягостного долга, с упреками, жалобами на судьбу, раздражаясь. Только у Леночки упреки чередовались с выпренными словесами. Словесами она камуфлировала тот простой и незамысловатый факт, что ей в заботах о Лёве не хватает терпения. Тетя Клава призывала ее терпеть.

Лёва сказал тётке Клаве, что вот ее мечта и сбылась, ему предстоит целый год питаться одним лишь жидким овсяным супом.

Лёва в деревне, «на восстановлении», был в день, когда объявили: Ельцин победил Зюганова. Дядя Савва как раз работал у них. Дядя Коля с тётей Шурой были на своем участке, подошли к забору «обменяться мнениями». Дядя Коля всегда насмехался над Ельциным, к тому же не мог простить ему потерю державного величия, но проголосовал за него. Он впервые в жизни работает на себя, а не на государство, у его Сашки торговая точка на рынке, и дела идут в гору. Тетя Шура начинает с пафосом о том, какая у Сашки на рынке справедливая, честная «крыша», платишь, и никто тебя не тронет. Дяде Коле по итогам выборов приятно, что он оказался в большинстве, с большинством. Дяде Савве не нравилась новая жизнь. И Ельцин ему не нравится. Раньше все было вроде как правильно, а теперь... председатель в прошлом году пустил под нож колхозное стадо и купил себе машину. Как ее? «Тойоту». Нет, не нравится ему эта новая жизнь, ни (матерное слово) не нравится. Но проголосовал он за Ельцина. Потому что председатель приказал. Дядя Савва работает сторожем сельхозтехники, зарплату ему давно уж не платят, но председатель разрешает ему сливать с этой самой техники бензин и солярку (воровать то есть). Дядя Савва продает это топливо, на жизнь худо-бедно хватает. Председатель скажет, дядя Савва идет на уборку свеклы. Опять же, не за деньги, а за право сливать солярку с тракторов. Как тут не послушаться, когда он велел голосовать. Тётя Клава высказалась в том духе, что пожили при коммунистах, и хватит. А господа всегда будут. Господам завсегда хорошо, жизнь устроена так.

Лёва гуляет по лугу, что начинается сразу за их участком. Ночь. Все давно уже спят. Этот гулстый хор цикад и звезды. Звезды, звезды. Как бессильна была бы сейчас любая метафора. Жизнь, бытие, реальность – надо только им не мешать, не заслонять бездарными своими пустяками.

Лёва уже чувствует себя совсем здоровым. У него прошла предзащита. Его эссе сложились в книгу, ему, кажется, удалось. Удалось то, чего он от себя и не ожидал. Скоро начнет рассылать рукопись по издательствам. Просто надо кое-что подправить в эссе о Булгакове и сократить, все-таки будет еще сократить главу о Толстом.

Решил подработать. Немного, конечно. Он теперь подает объявления в «Из рук в руки» и ждет звонка от клиентов, зарабатывает меньше, но так получается безопасно. Да и ездит он теперь недалеко, по нагорной части города и только. (От родителей скрыл. Зачем их волновать?) Он определился – он уходит. Сейчас заработает сколько-то, оставит им деньги, и все. Как смешны и нелепы все тогдашние его страхи. И боязнь развода тоже нелепа, смешна. Он свободен. Это его предвкушение обновленной собственной крови. Лимфы и крови.

Позвонили, попросили отвести за город. Лева хотел отказать, но вдруг решил. Почему бы и нет, в самом деле?

Он везет семью на дачу; муж, жена, совсем молодые, и двое детей. Так и хотелось спросить их о любви и смысле, или же ляпнуть какую-нибудь глупость о человеческом нашем предназначении, или просто не взять с них денег.

Он возвращался по грунтовой дороге (так быстрее, срезает угол), этот его «жест» – оставить Леночке с матерью деньги и уйти, был излишен и жалок, он понял сейчас. Все равно предстоит размен квартиры и прочее... Ладно, все ерунда – впереди жизнь, доподлинная, настоящая, с красками, плотью, запахами. Впереди реальность – надо просто постараться быть с нею вровень.

Боль. Неужели? Там, внутри, открылось?! Его растрясло на сельской дороге. Не может быть! А до города далеко.

Леночка и тетя Клава рыдали, как и положено. Люди не осудят. И поминки прошли достойно. Жалко Лёвку, конечно, думает тетя Клава. Ой, как жалко! Квартира остается за ними, по всем законам так. Его родители не имеют прав никаких тут. (Уточнить, конечно, у юриста надо бы.) А вот насчет машины она не знает. Машина вообще-то принадлежит Борису Львовичу. Сейчас ему не до чего, но потом успокоится и потребует вернуть машину. Если б у Леночки с Левочкой был ребенок, тогда б он машину точно им оставил. А может, и так оставит? Как-нибудь разжалобим. Костюм Лёвочкин, в котором он ходил на предзащиту, она продаст. Костюм хороший, его возьмут по нормальной цене. Надо только его из шкафа убрать в кладовку. Борис Львович и Дора Маркова придут, чтоб взять что-нибудь из вещей на память о сыночке. И ведь не откажешь. Откроют шкаф, а там костюмчик, его и возьмут. А ежели он будет тихонько себе лежать в кладовочке, они о нем и не вспомнят. Жалко-то Лёвку как! Такой был мальчик! А с Леночкой что? Как-нибудь. Как-нибудь. Главное, что она с квартирой. Да и девушка без ребенка, по нынешним временам уже достоинство...

Наталья КЛЮЧАРЕВА

Людно внутри
Шумно внутри
Дымно внутри.
Один зудит: умри – умри – умри
Негромко, но назойливо,
Как комар,
Другой орёт:
Полундра! Позор! Пожар!
Третий стоит в углу
Лицом к стене,
Он молчит
И от этого страшно вдвойне.
Есть и четвертый, и пятый,
И двадцать восьмой – как трамвай.
Кто-то шепчет: пожалуйста, не умирай.
Кто-то плачет: не любит,
А другой: не люблю,
Тот скандалит: дай море моему кораблю.
«Дай» – это у них у всех любимое слово.
Дай волю
Дай долю
Дай голос
Дай быстро
Дай снова.
– Ногу перекидываешь и летишь.
– Уже ничего не будет.
– Всё впереди.
– Хочу в Париж.
Галдят, горланят, гадости говорят,
Устраивают порою
крошечный ад.

Наталья Ключарева родилась в 1981 году в Перми. Закончила филологический факультет Ярославского педагогического университета, работала журналистом, редактором, переводчиком, издавала ярославский литературный альманах «Игра в классиков». Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь». Сборники стихов: «Белые пионеры» (2006 год, издательство «АРГО-риск») и «Дыши, дыши» (2018 год, издательство «СТИХИ»). Тексты переведены на 12 языков. Финалист премии «Дебют» (2002 год, номинация «Поэзия», 2014 год, номинация «Малая проза»), лауреат премии имени Юрия Казакова за 2007 год. В «Волге» публиковались стихи (2010, № 7– 8).

Даже тот, который в углу,
Что-то царапает на стене.
Думаешь, это пророчество,
А приглядишься –
Простое ругательство –
И от этого страшно вдвойне.

Часто кто-то спрашивает: «Ну, где ты?»
А я путешествую вокруг твоего света,
В темноте обшариваю
твои полушария.
Перебираю как струны на укулеле
Твои меридианы и параллели.

Заныриваю в твои потайные гроты
Ищите меня с собаками – не найдете,
Вынюхивайте сквозь тучи гончими псами,
Меня в этом мире нет, убедитесь сами.

И в том, впрочем, тоже нет, и в другом, и в третьем...
Просто я путешествую вокруг твоего света,
В темноте обвожу по контуру твой полюс.
И пока в мире есть твой свет, я не успокоюсь.

Куколка

смешав надежду, пыль и пыл,
и прочий сор земной,
ты быстро куколку слепил,
с повинной головой.

печать печали опустил
на чистый лист лица,
вздыхнул, вдохнул и отпустил
побегать – до конца.

о, боже, что ты натворил, –
вопило всё вокруг,
когда ты молча уходил,
счищая глину с рук.

а куколка, разинув рот,
как рыба без воды,
глядела на небесный свод,
смывающий следы.

Девочка на качелях

Просыпаюсь. Чёрт, опять до утра.
А внутри, как Мора, сидит дыра.
«Офигела? – ору. – Даже дворник спит!»
А она лишь пялится и молчит.

Я встаю, ложусь и опять встаю.
Мать рычит с дивана про «мать твою»
и про то, что я «потеряла стыд»,
А она лишь пялится и молчит...

...не пойму, куда все бегут с утра?
Что такое «в школу»? Зачем «пора»?
Я сажусь на качели, врубаю звук.
Полетели! – и нет ничего вокруг.

Выше, выше! Взлететь бы до самых крыш...
Ну чего ты пялишься и молчишь?
Ну чего ты хочешь? Сожрать? Сожри!
Один чёрт уже ни черта внутри,

Ни живого, ни мёртвого, ни шиша.
Только ты сидишь, где была душа.
Мать твою, совсем потеряла стыд?..
А она лишь пялится и молчит.

РАССКАЗЫ

Крокодил

Мельников уже забыл, как же он ответил директору – «кракодил» или «крокадил». Все-таки – «крокадил». «Кракодил» – это уже что-то совершенно несусветное. Директор вдруг спросил, как правильно пишется слово «крокодил»? Мельников, бывший филологом по первому образованию, вдруг странным образом на ровном месте оторопел. Но, зная, что директору-самодуру следует отвечать незамедлительно, ляпнул сходу, с респектабельной уверенностью: «Крокадил». Директор переспросил (он что-то с ухмылкой набирал в планшете, видимо, очередной твит). Мельников безапелляционно повторил по слогам: «Кро-ка-дил». Сидевшая рядом пиарщица Лиза удивленно и почему-то с испугом подняла глаза на Мельникова. Она не закашлялась, не поправила коллегу, промолчала и вновь потупила глаза. Даже когда директор, не отрываясь от планшета, вдруг произнес: «А Гугл сообщает, что крокодил», Лиза все равно не хохотнула, не улыбнулась – ни саркастично, ни снисходительно. «Да-да, конечно, – сконфузился Мельников. – В этот раз Гугл прав». Поговорили пару минут по делу, и директор закрыл совещание. Мельников осторожно поглядывал на директора, озираясь на Лизу. Лицо пиарщицы было по-прежнему доброжелательным и непроницаемым. Мельникову показалось, что никто не придавал значения тому, как глупо он опростоволосился. Директор иногда великодушничал, прощал позорные промахи подчиненных, любил, когда те давали маху. Пиарщица и сама, бывало, попадала с директором впросак. Хотя мельниковский «крокадил» выглядел уже настоящим анекдотом, странным и действительно смешным. Или, наоборот, совсем не смешным. Как бы там ни было, Мельников был благодарен Лизе прежде всего за ее испуг от «крокадила», – испуг невольный, но долгий, тревожный, словно сочувственный.

Зачем директору священный трепет от сотрудников? – недоумевал Мельников. – Неужели когда человеку неловко, тебе может быть хорошо? Судачили, что у директора – комплексы, что он из грязи вылез в князи, что сами мы его и избаловали. Что он не наигрался в школе, не наштутился, не намучил кошек. Что в итоге он получит отпор. Но это будет в итоге. Моральные ценности, о которых любил разглагольствовать директор, по всей видимости, не были для него пустым звуком, но, казалось, всякий раз нуждались в той или иной интерпретации.

Да Бог с ним, с директором! – думал Мельников. – Ты-то что так себя ведешь, ты-то что трусишь? Чего теряешь самообладание, чего садишься в калошу? Сажают, дескать. Нет, сам садишься. Как будто ты с ним заодно, как будто ты ему подыгрываешь. Как будто, подыгрывая, полагаешь, что обыгрываешь. Побеждаешь поражением. Не будь ты и левой щекой, будь лишь правой. И никакого отпора! Не потому, что директор его ждет как продолжения игры, а ты опять обмису-

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипиретская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Новая юность» и др. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. Живет в Санкт-Петербурге.

лишь со своим отпором. А директор на это будет громко ржать баритоном. Ведь ни тебе, ни ему уже не нужна игра. Не такого он ждет отпора. Не от мягкого человека, а как в детстве – от шпаны. Сейчас ты будешь твердить, что надо смотреть на небо, на деревья, на детей. Забыть, улыбнуться, посмеяться. А как же иначе? А никак...

Мельникову было весело: он никогда не думал, что именно крокодил сыграет с ним злую шутку. Да не сам крокодил, а слово. Да ладно бы аллигатор – это слово потруднее будет. Так нет же, проще пареной репы – крокодил. А ведь крокодилы у нас не водятся, только в литературе иногда, у Достоевского да Чуковского. Похоже, крокодил всегда лежит на дне озера, колодца, души. Главное – не представлять директора крокодилом. Хотя так и просится. Да и похож он на крокодила – со шербатыми щеками, в туфлях из крокодиловой кожи. Еще и поэтому ни в коем разе не воображать директора крокодилом. Кем угодно, но только не крокодилом. Агнцем тоже смешно представлять. Не станет он никогда агнцем, к сожалению. Не к лицу ему быть жертвой. Поневоле – не к лицу. А добровольно, случается, – очень даже облагораживает.

Мельников о конфузе не сказал ни жене, ни дочери. Лег спать с хохотком. Пришла мысль: надо бы объясниться с директором. Как чеховскому чиновнику – с генералом: мол, не нарочно чихнул на вашу досточтимую лысину, черт, мол, попутал с этим «крокадилом». Вся наша литература – самооговоры. Отмахнись, забудь, подумай о свободе, воле. И глядь, как раз умрешь.

Внук обнимает

Дмитрий Иванович стал тосковать по объятиям внука Архипа. Эти детские радушные ручки, полагал Дмитрий Иванович, последнее время придавали ему не только душевную, но и телесную устойчивость. Он шутил с дочкой Леной и зятем Сергеем, что ребенок у них растет целителем. Архип репликам взрослых внимал избирательно. Что-то его в особенности удивляло, и он с радостным недоумением восклицал: «Целителем?» «Да, Архипушка, ты настоящий психотерапевт», – говорил дед. Он ждал, что Архип обратит внимание на сложное слово «психотерапевт» и постарается его выговорить, осилить, но внук словно машинально вопрошал: «Настоящий?» «Да, маленький, – настоящий». – «Настоящий-пренастоящий?» – «Да, ты настоящий-пренастоящий». «Погляди, Лена, – увлекался дед, – он уже знает, что он психотерапевт. И поэтому его интересует лишь то, насколько он настоящий психотерапевт».

Дочка улыбалась по-матерински нежно, снисходительно и Архипу, и отцу, и старому, и малому. Зять Сергей думал, как стремительно, буквально на глазах тестя превращается в сентиментального пожилого мужчину. Не потому, что внуки старят, а потому, что утешают. Сергей видел, как неоправданно часто от растерянности стали намокать глаза у тестя. Сергей думал, что для таких людей, как его тесть, всякое их личное долгое несчастье куда менее обременительно их нечаянных удач. Сергей осознавал, что сейчас он, молодой мужчина-отец, понимает ход жизни куда точнее, нежели его тесть. Дмитрий Иванович смирился с тем, что штурвал корабля словно сам по себе очутился в других руках – его зятя и дочери, их поколения. Его теперь не столько увлекал современный человек, сколько вообще человек (а значит – именно маленький человек). И ему наконец стало нравится, что этого маленького человека, внука, называли старинным, но уже не архаичным, новомодным именем. Зятя Сергея не удивляло, что Дмитрий Иванович стал нуждаться в объятиях внука. Но для Сергея и для Лены было загадкой, как их шестилетний Архип почувствовал, что деду теперь действительно необходимы его детские обнимашки. Деду, у которого освободились руки.

Однажды внук первым обнял присевшего к нему для прощания деда за голову. А затем при следующих встречах и расставаниях стал прижимать к себе и за плечи. Дмитрий Иванович всякий раз любовался этим решительным порывом ребенка, которому будто еще не хватало ручек, чтобы крепко заключить родную душу в объятия, сцепить пальцы на дедушкиной спине.

Период, когда Архип обнимал деда непроизвольно, нечаянно, может быть, даже инстинктивно, закончился. Это начало беспокоить Дмитрия Ивановича. Переступая через порог дочкиного дома, Дмитрий Иванович теперь торопился первым делом поклониться к Архипу и произнести: «Давай обнимемся, Архип! Как ты хорошо обнимаешься – крепко, сердечно!» Архип тесно прижимался к дедушке и успевал спрашивать: «Крепко?» – «Да, очень крепко». – «Очень-очень?» – «Да, маленький, очень-очень». Дмитрий Иванович удивлялся выбору слов малышом для повторного проговаривания. «Почему не *сердечно*, почему *крепко* выбрал Архип?» – задумывался дед.

Дмитрий Иванович не решался поинтересоваться у дочери, обнимает ли так же Архип другого своего дедушку и двух бабушек. Дочка лишь уточнила, что так обниматься Архип научился на детской площадке – от своих друзей и подружек. «Так они радуются новой встрече – копируя мам и пап, и все-таки как-то по-своему, с какой-то трогательной, мешкотной секретностью», – уточняла Лена. Дмитрию Ивановичу казалось (в пользу этого свидетельствовал и по-особому мягкий взгляд зятя), что других взрослых Архип объятиями не баловал. Архип уже знал, что есть бабушка с дедушкой от папы и есть бабушка и дедушка от мамы. Причем от папы бабушка с дедушкой навещают его совместно, парой, а от мамы – всегда порознь: отдельно приезжает бабушка Таня, сам по себе – дедушка Дима.

Бывало, когда дед подолгу всматривался в Архипа (пока тот ловко оперировал детальками Лего), внук поворачивал голову к деду и тоже неотрывно глядел на него – с ласковым одобрением. Проницательная дочка поясняла: «Когда я за ним наблюдаю, он обязательно спросит, чего это я на него смотрю. А с тобой молчит». «Он деликатный мальчик», – смущался не внук, а дед. Дмитрию Ивановичу нравилась ранняя мудрость молчаливого зятя, который исключал любую ревность по отношению к родственникам, как к своим, так и жены.

Дмитрий Иванович подозревал, что внуку наскучило церемониально обниматься с дедом, быть может, впервые, по-детски напоказ ребенку становилось психологически неловко. Вдруг у малыша возникало желание покапризничать – из-за того, что этих объятий от него ждут не только дедушка, но и папа с мамой. Неловко могло быть особенно перед папой. Когда пили чай с пирожками, Архип ни с того ни с сего заявил, что хочет спать. Мама сказала: «Да, Архипчик, ты, наверное, утомился сегодня, иди в свою комнату». Архип поежился, потер глазки кулачками, пару раз зевнул, притих на несколько минут и обронил: «Нет, я хочу быть здесь, с вами». Дмитрию Ивановичу мнилось, что мальчик хотел произнести не «с вами», а «с дедушкой».

«Эти минуты, когда Архипушка молчал, он думал. Он решал, уйти ли к себе в комнату, чтобы не прощаться со мной по заведенному порядку, или не уходить. Внук сделал выбор – остаться, – размышлял Дмитрий Иванович. – Однако важно, чтобы внук не тяготился мной». «Мы с тобой, Архипушка, сегодня не будем обниматься. Мы с тобой сегодня по-другому попрощаемся – пожмем друг другу руки по-мужски», – неожиданно предложил Дмитрий Иванович. «Руки? – переспросил внук. – Не хочу руки. Хочу тебя обнимать, дедушка». – «Спасибо тебе, маленький».

Дмитрий Иванович догадывался, что Архип его жалеет из-за бабушки Тани, из-за того, что они с бабушкой приходят к нему по отдельности. «А бабушку Таню, – сообщила дочка Лена, – он целует в обе щеки». Архип был увлечен сборкой Лего. Только папиным пальцем он позволял помогать ему скреплять элемент с элементом. Папа Сережа делал это незаметно для сына, но всегда верно – модель приобретала проектные очертания и вскоре оказывалась завершенной, целой.

«Все равно когда-нибудь это случится – Архип не обнимет меня. Я не знаю, – думал Дмитрий Иванович, – что тогда будет со мной. И что будет с дочерью, зятем? Что, наконец, будет с Архипом?»

Дмитрий Иванович не раз замечал, как на него смотрел совершенно взрослым взглядом какой-нибудь сущий младенец. Смотрел пытливо, сочувственно, даже сурово. По законам природы не мог так смотреть, но смотрел именно так – со знанием дела и будто провидчески. Слава Богу, всё становится на свои места в этом мире – дитя заплачет, заревет. И тогда уже опять не ему тебя будет нестерпимо жалко, а тебе – его, кроху.

Фотографии

Клубкову казалось, что коллеги по кафедре сегодня знают то, что ему не известно. Видимо, как новичку в коллективе. Новичку со стажем, вечному новичку. Наконец, сидевшая рядом с ним, как всегда, трогательно затаенная, пожилая доцентша Артюхова произнесла себе под нос: «У Натальи Павловны умер сын от онкологии. Единственный ребенок». «Господи, а сколько ему было?» – спросил потрясенный Клубков. «Тридцать пять. Головной мозг. Два года по больницам. Спортсменом был, гандболистом. Мячом в голову попадали».

Завкафедрой, догадавшись, о чем подчиненные так сокрушенно обмениваются репликами, продолжила говорить по повестке дня флегматично, но торопливо. Она не понимала, почему все педагоги еще накануне были проинформированы о горе Натальи Павловны, а Клубков опять остался в неведении. Она думала, что виноват в этом совсем не Клубков, не его капризная отрешенность, а старожилы кафедры, привыкшие к герметичности своего устоявшегося мира.

«А я-то недоумеваю, почему Наталья Павловна отсутствует», – шептал Клубков. «Да», – привычно вздохнула Артюхова. «Я видел ее в начале недели – спокойной, ироничной. Устало ироничной. Она даже цветы не взяла домой, что ей студенты преподнесли». – «Да, собиралась съездить к внуку. Он в Испании живет с матерью и отчимом». – «Вот как!» – неслышно, но эмоциональноотреагировал Клубков. Завкафедрой вновь перевела на него взгляд – досадливый, но невзыскательный. Вдруг она сказала, словно поверх темы дискуссии, что ход жизни важнее наших перипетий и планов, поэтому будущие проекты обсудим позднее, после отпуска, осенью.

Дома Клубков зашел в ВКонтакте на страничку Натальи Павловны. Обратил внимание, что онлайн она была три дня назад. В «друзьях» Натальи Павловны Клубков отыскал ее сына – Алексея. Тот посещал свой аккаунт тоже три дня назад – с мобильного устройства. Либо кто-то вместо него. Клубков обнаружил и бывшую жену Алексея – Лену. У нее была новая, испанская фамилия. И, кажется, прежняя, неизменная улыбка. ВКонтакте был скуп на информацию о муже Натальи Павловны, отце Алексея. Клубков догадался, что на одной из фотографий Алексей был запечатлен именно с отцом. Трудно было усомниться в кровном родстве двух одинаково рослых, одинаково плечистых мужчин (молодого и старого), с одним и тем же, снисходительным спокойствием на пропорциональных лицах. У обоих прямые мальчишеские волосы разделялись похожим пробором. Все говорило о том, что Наталья Павловна с мужем находилась в разводе, но из собственной жизни его не вычеркивала. Самая поздняя фотография в материнском альбоме была двухгодичной давности. Да и Лена не часто обновляла свои счастливые снимки. В отличие от Алексея, ее испанский муж был ниже ее ростом, черняв, плотен. Застенчив – от любви друзей, родни и жены. В ВКонтакте фотографии внука Натальи Павловны отсылали лишь к его младенческой поре. Хотя ему, судя по всему, уже стукнуло десять. У внука были большие бабушкины глаза. Раз а три Наталья Павловна подписывала фотографии с голеньким крепышкой: «Будем заниматься спортом». Под одной из фотографий стояла подпись – «Любимая невестка». На фотографии улыбающее Ленино лицо находилось рядом с молочной головкой ее удивленного мальчика в огромной папиной ладони. Больше фотографий с внуком у Натальи Павловны не было. Были лишь его детские рисунки – с ломкими кораблями на гладком море.

Клубков вглядывался в фотографии Лены. Он хотел этим длительным любованием избавиться от ощущения, что Лена предала Алексея. Клубков намеревался отмахнуться от предубеждений мужской солидарности. Не должно быть никакой солидарности, – твердил он себе, – ни мужской, ни женской. Нет, пусть женская останется, но мужчин их гендерная солидарность не красит. Мужчина, в отличие от женщины, должен оставаться один на один со своей отринутостью. Клубков вспомнил толстовскую «Крейцерову сонату». «Как нехорошо сводить все к “Крейцеровой сонате”, будь она неладна! Как она любит высказывать, как черт из табакерки! Как нехорошо раздражение от подозрений в измене! Но как нестерпимо фальшиво самообладание при открывшейся измене!»

Лена, думал Клубков, была из тех жизнерадостных красавиц, мимо которых трудно пройти без волнения. У нее были высокие скулы и высокая грудь, высокая шея и, вероятно, низкий, грудной голос. У нее был, безусловно, заливистый, плачущий смех – пьяной от счастья женщины. Клубков думал, что Лена не умела сомневаться в собственном счастье сызмальства. Казалось, не было ничего, что могло бы ей помешать быть без устали счастливой. Счастливой по-женски. Словно она была призвана наслаждаться счастьем вне зависимости от конкретного мужчины. И если уходил один, ей важно было оставаться счастливой с другим. Клубков хотел отрешиться от этих мыслей, потому что их язык напоминал толстовский – неудержимо нравственный, разоблачительный, психологический. Клубков стал смотреть фотографии своей бывшей жены. Она никогда не смеялась так свободно и счастливо, как жена Алексея. Жена Клубкова улыбалась тихо. Можно было бы сказать – с укоризной, если бы ее глаза не были столь насмешливыми. Да, губы – с досадой, а взгляд – веселый. Лена, полагал Клубков, уходила сразу, а его жена – долго. Он радовался, что его мать не застала их развода, что она не разочаровалась ни в нем, ни в своей любимой невестке. Клубков порой допускал неслучившееся фантастическое продолжение событий: была бы жива мать, быть может, ничто не угрожало бы их браку, были бы они при ней другими, куда более семейными, чем в итоге стали. Между тем союз Лены с Алексеем его мать, Наталья Павловна, при любом раскладе спасти бы не смогла. Алексей хоть как-то был похож на него, но Лена разительно отличалась от его жены. Клубков знал, Алексей был лучше него. Но даже от лучшего мужчины Лена ушла. Клубков задавался вопросом: когда она его разлюбила? И зачем? Ну не потому же, чтобы предпочесть русскому мужчине испанца? К черту эту «Крейцерову сонату»! Нет, я понимаю, почему меня разлюбила моя жена. Но я хочу понять, почему его разлюбила Лена. Не из-за болезни же? Это болезнь у него – из-за расставания с любимой. Тогда из-за чего? Зачем? Хочется несуразно воскликнуть: «С какой целью?» Чего-то здесь нет, на этих фотографиях. Что-то осталось на других снимках, которые здесь отсутствуют. Что-то вообще – вне фотографий.

Клубкову казалось, что Лена и Наталья Павловна были близки друг другу своими женскими натурами – припрятанным от чужих глаз темпераментом, воззрениями на мужской пол, порывистыми линиями судьбы. Наталья Павловна, быть может, с первого взгляда на невестку сообразила, что та рано или поздно бросит его сына. Наталья Павловна простила Ленино предательство еще до того, как оно произошло. Наталья Павловна знала, что невестка будет мучиться смертью Алексея втайне от всех. Втайне от собственного сына. Она будет продолжать общаться с Натальей Павловной, порой говорить с ней о Леше с мужественностью поневоле разлюбившей женщины. Она будет знать, что Наталья Павловна ни в чем ее не винит. Будет знать, что винит ее не бывшая свекровь, а сын – за своего отца. Пока он маленький, он будет винить ее своим детским недоумением, словно первым ропотом на мир. Когда же станет взрослым, зрелым, а она старой, он будет винить ее сыновним покровительственным сочувствием. Но даже такого сочувствия ей будет хватать.

Клубков рассматривал фотографии Алексея и понимал: сильных мужчин если что и ломает, то только предательство. Но особое предательство – машинальное, безотчетное, беззлое.

Клубкову казалось, что Алексей всегда был степенным. Некоторые мужчины такими рождаются. В юности они бывают насмешливо основательными, в старости – осанисто недоверчивыми. Такие вприпрыжку не передвигаются, даже когда играют в гандбол. Неизвестно, что их делает степенными прежде всего – ответственность за женщину, отцовство или их некий проклятый крест. Такой степенный человек вдруг может спросить романтично: «А что такое красота?» Не – как сложить печку или перекинуть мост через реку, а – что такое красота?

Вот я не степенный, думал Клубков, я суетливый. Меня ничто по-настоящему не берет, мне словно все нипочем. И не надо мне превращаться в степенного. Я и угасать буду лихорадочно, с натужными анекдотами.

Наташа ДЕНИСОВА

всегда отступала мгла

это твои ангелы провожали меня тогда до метро,
это они смотрели за мной, чтоб себя берегла.
и от взмахов их белым вышитого крыла
всегда отступала мгла.

это ты за мной по пятам входил
в каждый дом и в любой придел.
прорастали цветы из панельных льдин,
август звёздами сливовыми пел.

это ты глядел на меня тайком
каждый раз, когда видел терпко шумящий лес,
каждый раз, когда складывал в сердце своём
слова о том, что бог вокруг, здесь.

силки

как собака бежит, высунув язык от жажды,
как принцесса ветров летит с крыши мира – шуршат одежды,
как по ягодам терна ступает в летней ночи лиса,
как затем прорастет через тело ее винограда лоза –

сильно, медленно, невыразимо легко...
так звучит нежность твоей руки.

я никогда не ждала тебя,
но люди как звери – любят свои силки.

если погаснут на свете все языки,
и мы останемся, словно тысячи лет назад,
безголосыми у тёмной пучины моря –
я и тогда почувствую, как ты на меня смотришь,
жужжащей звёздной пылью прикасаешься
к воздуху, что был мной.

Наташа Денисова родилась 19 апреля 1989 года в с. Чернобаевка Херсонской области. Окончила факультет журналистики КубГУ, автор четырех книг стихотворений. Финалистка фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» (2016), лонг-листер литературной премии «Лицей», победительница всероссийского конкурса действенной журналистики «Включите свет» (2017).

притворяться

свет в тебе говорит — иди!
мир вокруг говорит:
— стой! я стар, я видел,
как орды шли по твоему пути,
и никто из них не дошел.

я видел, как стенка разин песни свои запевал,
как море поля мертвого его принимало,
как матери рыдали у пахнущих черным цветом шпал,
как для войны этого было мало.

таких как ты, несломленных и живых,
о, сколько их ко мне приходило!
и каждый чем-то отличался от всех остальных —
другое сердце, другое тело.

но знаю я, это ты, мой предвечный бог,
стучишь, стучишь в мои космические глазницы.
ты создал меня сложным, как безъязыкий крик,
для того, чтобы в каждом из них повториться.

для того, чтобы приходить сюда вновь и вновь
робким мальчиком, белой птицей,
для того, чтобы превращать все вокруг в любовь.

для этого и дальше я готов притворяться.

тихая рыжая кошка

пока я ждала тебя в алой сентябрьской темноте,
мимо меня прошёл человек в зимней шапке,
хотя только осень.

другой человек ехал на машине
и сбил тихую рыжую кошку —
так бывает на свете каждую ночь.

люди плавали в море рыбами безъязыкими,
блестящими, как гирлянды,
затем вышли на берег,
отрастили для прикосновений к песку и скалам
неуклюжие полуплавники,
привыкли к цветам, к деревьям,
смотрели так друг на друга.

заговорили потом,
приникли один к одному,

и стали такими, какими мы видели их
в телесериалах,
в журналах глянцевого и в рекламе зубной пасты.

они создали себе блестящие машины, блестящие,
как та самая чешуя, что они оставили в море,
огромные машины, похожие на панцири черепахи,
и теперь осенними вечерами, зимними вечерами,
весенними вечерами, летними вечерами
они все время сбивают тихую рыжую кошку,
которая ничего не изобретала,
а просто гуляла по этому миру,
отдельному от машин и асфальта,
бетонных замков, стеклянных окон,
которая шла по своим кошачьим инстинктам туда,
где тепло и мягко,
и которая затем корчилась на дороге в агонии,
как будто бы движение – это крик,
как будто она никуда никогда не ходила,
а только всегда кричала,
и пока я бежала к кошке –
смерть бежала быстрее и прикоснулась к ней первой,
как другой человек,
который пришёл затем с целлофановым пакетом,
похожим на блестящую чешую,
которую мы оставили в море.

он забрал тихую рыжую кошку туда,
куда люди уносят все, что уничтожают,

пока я ждала тебя.

дайте нам нашего короля

дайте нам, дайте нашего короля,
мы поцелуем его хрустальные стопы.
из наших красных ракет выросли высокие тополя,
и двери в лимб то и дело хлопают.

на наших северных, наших южных
огромных улицах спят снега.
отцы не оставили нам оружия –
они сказали просто не лгать.

и так мы жили, как невиновные
в чечне и в смерти большой страны,
а вечерами слушали у изголовья
слова из чужих молитв.

и все настойчивей, все тревожней
были нездешние голоса.
а потом мы увидели, что король наш
молился сам.

законы робототехники

«примет ли меня отец?»,
– сквозь сон говорил сын.
«примет ли меня отец
оплётанным и босым?
гнущимся, как и все,
под тяжестью микросхем,
примет ли меня отец
никем?

я не добыл руды
человеческих алых душ.
если сейчас уйду –
простишь ли меня? простишь?

я не узнал закат –
смотрел на него,
как на гаснущее табло.
я приведением бродил мимо цветов эстакад,
и чувствовал, как сердце внутри жгло.

несовершенно так
тело, дарованное тобой
лучше мне больше рук,
лучше другой крой.

но отними вон то,
что не могу назвать.
словно бы звезды мне вшили
около рта,
чтобы все время тебя окликать».

золотое солнце

тихие слуги режима
по вечерам дрожим мы.

там, где в детском сне
над крышами мы летели,
сейчас мария продаёт своё тело

за крупицу любви, но нет ее.
коридорами, кабинетами

мы прильнули к рукам ее,
мы прильнули к глазам ее,
мы терзаем ее до зари.

и найдём мы ее по запаху,
что всегда источает свет.

а марию зовут елабугой,
а марию зовут торжком,
и идёт она босиком
с тех пор, как мы сняли с нее черевички.
нам тошно, нам душно,
святая мария знает все наши нычки,
и травами прорастает,
куда бы мы ни сбежали.

мы жили бы, жили,
но только так души жалят,
как будто мы созданы для чего-то большего.

как будто мы стали камнями спящими
и золотое солнце наше не настоящее.

свияжск

наши дома построены в стране, которой не существует.
мы сотканы из ее воды, из ее земли.
и мотыльками падают в окна пули,
мы так сроднились с ними, мы в них вросли.

и самых хрупких оставил кто-то
в святой грязи в этих городах,
чтоб танцевали по околоткам
в резиновых сапогах,

чтоб пели, пели навзрыд, протяжно,
и корчились от теплоты и боли звенящих тел,
чтобы со станции «свияжск» каждый
на небо улетел.

радиосигнал

ливни лили в платья лилий,
превращались в деревья львов хребты.
однажды из всех земных и небесных линий
появляешься ты.

распахивали окна свои старушки,
век длился как вечер, как белый шум.
у ребёнка в утробе матери формировались уши.
однажды я имя твоё произношу.

есть человек, который думает, будто все мы
уже встречались так много раз.
и здесь, под солнцем из полиэтилена,
когда материя взорвалась,

и там, в неведомых перекрёстках,
звучащей пылью,
загнанным зверем и тем, кто его догнал.
маленьким принцем и его розой
цветущей сквозь радиосигнал.

тебя не существует

когда я до конца истаю,
стану алыми, пахнущими землей цветами,
голосом своим в телефонной трубке,
ангелом промзон, танцующим в нижней юбке –
боже мой, да кем бы я там ни стала –
все живое во мне залатают лязгающими фанерными листами,
как на станции «заречной» плитами, похожими на течение,
спрячут от тебя мое трепетное молчание.

но ты слушай его как молитву самую искреннюю.
я всю жизнь ступала по земле, словно сейчас кто выстрелит,
я готова, как и ты, была умереть за любовь святую.
помни это, когда я говорю о том,
что тебя не существует.

март и мы

едет скорая. раны всковырнем,
весенние раны наши.
их оставила ты любовью своей, наташа,
беспощадной, звериной, тонкой,
оголтелой любовью своей,
похожую на глаза ребёнка,
забытого в супермаркете.

и остались здесь только март и мы
под моргающим фонарем.
мы любимы и мы никогда не умрем,
мы любимы и мы никогда не умрем.

дикие ягоды

мое поколение тех, кто говорит –
это маленькие дети, набравшие в рот йод
девяностых годов двадцатого века,
это те, кого отучали плакать
в драках за гаражами,
те, кого одни били, а другие держали.

любующиеся бельём, развешанным тётей жанной,
белым бельём матери, которая уезжает,
трепетные птицы, которых не спас иисус.

из всех кинофильмов гнусавым голосом
богини твердили «вернись, вернись»,
и оставляли в пространстве текстов,
сотканых наизусть.

мое поколение тех, кто говорит –
это пьяные мальчики, танцующие под бит,
святые мальчики, которые никогда не врут –
«живи не по лжи, брат».

а это значит да будет свет.
а это значит мы скажем все.

вот эти реченьки разнесут,
из наших тонких блузок вытащат,
словно солнца
мое и твоё алюминиевое сердце,
похожее на ложечки из столовой.

когда мы любили – вы не были к нам готовы,
когда мы любили – вы не были к нам готовы.

и мы никогда не кричали «авве»
тому человеку, что вами правит.

мое поколение – поколение равных.

мы так прекрасны в телах рваных,
глядим на вас из своих стихов.
мы сохранили в себе тех, кто всегда был прав.

пускай же ныне дела ваши дёргают за рукав,
как дети, требующие внимания.

мы вас не раним, мы вас не раним.
но это текст, из которого не вернуться.
и на фарфоровых хрупких блюдах
мы принесли дикие ягоды революций.

седьмая печать

*моя родина — моя любовь, и в каждом окне
солдаты трущоб улыбаются мне*
дмитрий кузнецов

это мы, прочитавшие инструкции
о безопасности в полёте,

насмотревшиеся взглядом кротким
на свою страну.
мы не ели хлеб чужой –
молчали, сглатывали слюну,
в нас течёт ее молоко, ее вода.

и когда вы коршунами впивались
в тело ее городов
– мы видели.

балерины танцевали на бесконечном видео,
августовские звёзды летели на тротуары.

это неправда, что смелый первым всегда ударит,
смелость в том, чтобы знать правду и не молчать.

ландышевый бог заводских окраин
срывает седьмую печать,
а за нею вы – трусливые и одинокие.
вы закроете нам рты –
мы станем ветром под вашими окнами,

потому, что наша любовь сильнее.
и затем ещё, что камни всех площадей
помнят жар от босых ступней
наших прадедов.

нарисованный мелом полковник

широка страна моя чужая,
аккуратно здесь флаги сложили.
собирают свои пожитки
вороньи ангелы по углам.

на бетонном стоит балконе
нарисованный мелом полковник.
он не помнит уже, не помнит,
для кого он надел погоны,
для кого засыпал в зимнем поле,
и меж ребер его полых
для чего прорастала она.

а как только в ладоши хлопнут –
превратится он в теплый хлопок,
хрупкий хлопок скатерти тонкой,
из которой пошили нас.

сберегли мы эти молитвы
в подворотнях и в клетках тел,

прорастает из ткани рытвин
тоненький чистотел.

и с небес – не угомонится –
сыплет-сыплет январский шум.
это минин плывет в столицу
с распятием на весу.

это он светлоликим зверем
вгрызается в мерзлую твердь,
потому, что никто не верит,
здесь больше никто не верит,
что человек есть смерть.

забыл нас снова

куда от тебя пойду я, в какие дали?
что в мире есть такого,
что я в тебе не видала?
солдаты страны моей выстроились рядами:
вот сталинки, хрущевки, и на свидание
панельные дома бежали к ним,
так бежали к ним.

привычно берут, как каски, железный нимб
братья мои фарфоровые.
живые такие, всегда делившие поровну
хлеб своей радости, хлеб своего горя.

и где бы я ни была – они хотят от меня веры
в то что над всем на свете пылает север,
в то, что однажды мы победим сумрак,
в доспехи превратив крупяные сумки.

ирга цветет, поет в предвечерней сутолоке.
а мы живем всё, такие хрупкие,
вблизи заводов и комбинатов,
как будто кто-то забыл нас летом
две тысячи первого, две тысячи второго.
забыл нас снова.

Дмитрий ЗАРУБИН

МАСТЕР КЛЮЧЕЙ И ПРЕКРАСНАЯ КРАНОВЩИЦА

Рассказ

I.

Если идти пешком, то детский парк не был виден.

Ни с регулярных пешеходных дорожек, проложенных туземными властями, ни с самодельных, там, где удобнее и короче, поближе к автомобильным трассам и торговым точкам. Тем более оставался он скрытым от взора целеустремленных водителей и озабоченных пассажиров, поскольку скорость стирала детали и особенности пересекаемой местности.

Парк застенчиво жался за новеньким, сияющим огромными стеклянными витринами торгово-развлекательным центром, каменной волной перекрывшим горизонт и отчасти светило. Отблескивающие солнцем и разноцветной рекламой пространные, затемненные специальной пленкой плоскости отпугивали взгляды прохожих, сужали глаза и укорачивали мысли.

Так было днем, даже в субботу и воскресенье.

А ночью этот кусок земли, густо засаженный лиственными деревьями и лохматыми кустарниками, обнесенный железной оградой с высокими и острыми пиками, исчезал совсем, поскольку ничто оригинально-указательное не обозначало его присутствие в теле города. И торгово-развлекательные работники, взобравшиеся на крышу ТРЦ покурить, выпить пивка и поселиться в социальных сетях, оглянувшись за сияющие вывески, видели лишь пропадающее в перспективе темно-серое пространство, из которого торчали отдельные древесные стволы, голые и лохматые кроны и проглядывали части неведомых механизмов, чье предназначение не могло так просто и сразу быть понятным.

Парк, или сквер, как на столичный манер называли его некоторые культурные молодые мамочки, открывался внезапно лишь посвященному, знающему от родителей (а те знали от своих), что именно здесь безопасный и уютный уголок для тихого и приятного времяпрепровождения с детьми. Сюда ни приезжали, ни приходили посторонние. В эту сторону можно было проникнуть только гуляя, праздно шатаясь, не ограничивая себя ни временем, ни насущными делами. И лучше всего в сопровождении ребенка, пусть даже и казалось, что старшие главнее.

Лет сорок, а может и поболее, назад вместо торгового центра чернел и курился по утрам и вечерам глубокий овраг, дно которого с незапамятных времен мало-помалу застилали слои человеческого мусора, постепенно поднявшиеся до полного заполнения почвенной емкости. Рядышком синело васильками бело-желтое пшеничное поле, приткнувшееся к небольшой роще.

Быстро строившиеся многоэтажные жилые дома задавили пшеницу и дикие цветы, а перелесок на коммунистических субботниках обрезали и проредили, набросали плитку вместо тротуаров и приладили тут и сям устройства для общественного развлечения. Поначалу сквер

Дмитрий Зарубин родился в 1962 году в селе Питерка Саратовской обл., окончил Воронежский университет. Впервые выступил как прозаик в № 5-6 «Волги» за 1998 год («Деревенская любовь»). Публиковался в журналах «Новая Юность», «Сибирские огни». Автор книг «Оле-оле-оле...», «Партизаны Оскольского края. Архивы ФСБ свидетельствуют...», «Лицом к лицу», «Июль 1942. Старый Оскол». Работает в городской газете. Живёт в г. Старый Оскол Белгородской области.

«Комсомольский» – такое имя краснело стальными покрашенными буквами у входа – считался заманчивой площадкой для проведения правильного досуга, тем более что рядом встали пивные и мороженные павильончики. Но с развитием товарно-денежных отношений и расширением города его престиж резко упал, а пиво и шашлыки переселились в другие авторитетные точки спроса и дохода.

Парк же по-домашнему съезжился, прикрылся серыми ободранными стенами пяти- и девятиэтажек, огородился решетчатым занавесом, скинул с помощью безработных алкоголиков в металлолом метровые проржавевшие буквы, уже ничего не обозначающие, и затаился в памяти бывших молодых мам и пап, передававших знание о нем следующему поколению изустно.

С течением лет и зим в его пределы постепенно свозили малые архитектурные формы, выходявшие из моды: проволочных жирафов, железобетонных облезлых медведей, стоящих на задних лапах, крокодилов с ошершившейся пастью, двуногих зебр и безрогих оленей, чудовищных кроликов и распластавшихся собак, из туловищ которых торчали занозистые широкие доски для качания. Еще имелись разных размеров машинки, на чьих каменных сиденьях простуживалась не одна маленькая попа, наклоненные банки и пустые бочки, радостные гномы-калеки и приземистые карапузы, упустившие навсегда воздушные шарик.

Каждый день над сквером звучала музыка восьмидесятых всякий раз нового века, и уставшие от жизни служительницы продавали голубенькие и розовые билетки на механические аттракционы, отделенные от растительности и праздной публики бетонированной площадкой и балюстрадой. Но основной наплыв посетителей, конечно, был в выходные и особенно в солнечные дни, позволявшие опытным мороженщицам и продавщицам мелких и забавных игрушек находить сюда дорогу со своими расписными тележками интуитивно, повинувшись верхнему чутью и следуя за волнами нижней чакры. Добравшиеся оставались довольными выручкой и приподнятым настроением, охватывающим каждого индивидуума женского пола при виде значительного количества детей.

2.

Мастерская по ремонту ключей расположилась на первом этаже ТРЦ, в череде таких же небольших павильончиков с предложениями разнообразных мелких услуг и товаров. Единственно отличие – она была крайней, на этом при вселении категорически настоял Роман, вследствие чего одна из стен получилась стеклянной и вид из нее открывался на металлические полукруглые ворота, неизменно полукруглые, ведущие в детский парк. А еще всегда проглядывал краешек неба, летом – заходящее солнце, зимой – бледная луна, осенью и весной дождь, оставляющий долгие подтеки и многозначительный муар на пыльной поверхности.

Напротив мастерской на втором этаже серебряным по черному сияла вывеска Angel glamur, окруженная пластиковыми обложками журнала Vogue за разные века, годы и месяцы. И всплески рук, хаотичное мелькание ног – все остальное было скрыто за витриной – воспринимались как последние движения перед метаморфозой в нечто восхитительное, хотя только завершающая мысль давала надежду на счастье. Ежедневно возобновляемый процесс трансформаций в «Блестящем ангеле» утомлял ужасно, и Роман старался не смотреть в ту сторону, хотя было и нескончаемо трудно, особенно когда маялся в отсутствии заказов. Он утешал себя мыслью, что рай – все-таки временное место пребывания, и вышедшие из-за серебра и очарования, может быть, достигнут правильного понимания и встанут на благородный путь... «Чего? – думал ремесленник. – Ведущего куда?»

Однажды в Angel glamur поступался мужчина, державший за руку высокую девушку, одетую в синий линейный джинсовый комбинезон, узкими штанинами заправленный в высокие желтые кроссовки с незавязанными длинными шнурками. Им не отворили, последовал лишь плавный взмах ладони, как узкого крыла, указывающий в противоположном направлении. Они неуверенно потоптались, девушка, чье лицо скрывалось за распущенной рыжей челкой, пару раз возмущенно дернула за широкий поручень, но дверь не открылась. Парочка ушла, оживленно жести-

кулируя, а Романа отвлек верный клиент, попросивший в который раз сделать запасной ключ для «мерседеса».

Мастер отвернулся к стеллажам, на которых висели автомобильные заготовки – плоские, белые, без вкуса и запаха, с черными одинаковыми пластмассовыми кольцами. Они покачивались под напряжением принудительно циркулирующего воздуха, издавая едва слышный только профессиональному слуху мелкий переплеск.

Только ради нарушения повседневной скуки он спросил, обращаясь к матовому защитному стеклу, прикрывающему резец станка:

– Николай Петрович, я вам уже который по счету ключ делаю?

В помутневшем плексигласе отразилась массивная фигура в черном, с широким офицерским ремнем, придерживающим готовые скатиться на пол широченные штанины.

– Эхе-ге, – невразумительно протрубили сзади, – служба у меня такая, и опасная и трудная, поэтому тороплюсь, теряю, а работать надо, и вот – прихожу.

Бульканье и фанфары продолжились, наконец трансформировавшись во встречный вопрос:

– А чё ты беспокоишься, тебе ж лишняя копейка, типа.

Роман усмехнулся, продолжая крутить маховичок, зажимая узкую беленькую рыбку в тиски. Начальник охраны ТРЦ не заплатил ни за один ключ, сделанный ему мастером, каждый раз приговаривая при получении готового изделия: «Ты мне должен доплачивать, что я к тебе прихожу! Я ж у тебя почти бутербродом служу». И пояснял на всякий случай: «Типа, бесплатная реклама. Делаешь для меня – делаешь для страны, безопасность абы к кому не пойдет. Не – только к проверенному кадру люди потянутся, к антиобщественному элементу ни-ни».

Бородка плескалась в зажимах, как маленький серебряный малек, умный немецкий механизм прорезал нужные плоскости и выемки, пахло маслом и костром.

– Николай Петрович, – Роман решил получить с паршивой овцы хоть шерсти клок, – а разрешите мне ночью поработать.

Соврал, чуть поморщившись от неумения:

– Заказов много, я тут посижу, разгребусь.

– Ге-хе-хм, – проскрежетало за спиной, – не положено. В уставе нет такого, чтоб посторонние ночью в ТРЦ засиживались.

– Так какой я сторонний, – обиженно передернул плечами мастер, которому очень давно хотелось пройти по пустынному торгово-развлекательному центру в темноте, – вы же мне доверие оказываете.

– Какое? – недоуменно поинтересовался начальник охраны.

– Как? – в свою очередь удивился Роман, останавливая станок.

Он вытащил готовый ключ из тисков, посмотрел сквозь бородку на лампочку – свет причудливо преломился, как в прорезях замковых стен, сильно дунул, улыбнулся, увидев, как заплясали в искусственном свете алюминиевые пылинки.

Обернулся и сказал:

– Я же вам ключи от личной машины делаю, гарантирую вам отчетливость дорожного движения, сохраняю для Родины и семьи.

– Эхе-хм, гру, – проскрипело в начальственном животе, прикрытом специфической черной одеждой, расплзающейся от выпуклости организма. Все остальное не просматривалось в узкое окошко мастерской.

– С другой стороны, конечно, – раздумчиво пробормотал вслух мужчина, – можно попробовать, но на каких-либо взаимовыгодных условиях.

– Да куда уж рентабельнее, – улыбнулся мастер и поторопился прибавить: – Хотите, я заодно поохраю, патрулем пройдуся. Все равно ж никто не полезет, пока знают, что вы тут начальником безопасности.

– Форму оденешь? – неуверенно уточнил неизбежный клиент.

– Да без проблем, – легко согласился Роман, предвкушая занимательное приключение.

– Ну, давай, подходи в каптерку, – вдруг радостно предложил Николай Петрович, – забирай обмундирование, фонарик и дубинку. Сегодняшняя ночь твоя.

– А что это вы так, – смутился мастер, не ожидавший, что квест начнется уже сегодня, – как-то... Начальник охраны не дал ему договорить.

– Понимаешь, – проникновенно пробурчал он, пошевелившись и булькнув животом, – у нас сегодня корпоратив, день рождения службы, а кто-то на посту будет – несправедливо. А так – мы тебя через договор подрядим на сутки.

– Только это, – не преминул уточнить, – без оплаты, не думай, бабок у нас лишних нет. Бутылку могли бы привезти, но ты ж не употребляешь.

– Да, – согласился Роман, – то есть нет, не пью. Я и бесплатно подежурю, так сказать, приятное с полезным.

– Ты только не засиживайся со своими ключами, – построжал административный голос, – а не менее одного прохода в час, иначе непорядок отметится в камерах.

– Как прикажете, товарищ енерал, – ехидно отпартовал мастер, – что воля, что неволя...

– Ты не шути, у нас строго, – отвечивал начальник, протянул в окошко руку, – ну, давай ключики, и за мной, в каптерку на инструктаж и получение обмундирования, шагом арш!

3.

Получив необходимый охранный инвентарь, Роман решил перед заступлением в караул съездить проведать мать, поскольку не появлялся у нее давненько, и надо убедиться, что относительно все в порядке. Тем более, что сегодняшний день был свободным от посещения ее социальным работником.

Как всегда, перед походом к родственникам мелкие неприятности проявились немедленно. На выходе из ТРЦ его ударила по голени сумкой с какой-то железкой торопящаяся девочка с большими белыми бантами. Наверное, банка кошачьих консервов, поморщившись, подумал мастер, едва сдержавшись, чтобы немедленно не погладить ушибленное место.

Заходя в маршрутку, наступил на ступеньке на жвачку, которая с каждым шагом слипалась в плотный комок на плоской подошве ботинок, отчетливо чувствовавшийся стопой и вызывавший неумное раздражение.

Автобус остановил на полпути гибэдэдэшник, потребовавший у водителя все имеющиеся документы, и после недолгого взглядывания в них приказал пассажирам освободить салон. До следующей остановки пришлось идти пешком, стараясь отчистить резинку с подошвы об асфальт, а потом долго ждать маршрутку с правильным номером.

Перед подъездом девятиэтажки стояла машина, водитель которой упорно гонял на холостых двигатель, добывая из выхлопной трубы клубы сизого и вонючего дыма, поднимающегося занавесом над распаханной железной дверью.

Скривившись от подавленного желания сказать нецензурную дерзость, Роман зашел в ободранный коридор, поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру. Конечно, мать не подошла, и только полоса неурядиц сбила с толку мастера, и так знавшего, что она и не собиралась открывать, поскольку уже давно перестала реагировать на подобные мелочи.

Он отомкнул дверь личным ключом, сделанным своими руками, зашел в темную прихожую и разулся. В большой гостиной играла искусственная музыка и доносились потусторонние голоса. Заглянув, Роман убедился, что мать на боевом посту – у цветного телевизора, на старом диване, обложенная разноцветными древними подушками, жива и почти здорова. Если, конечно, не считать амнезию и полное отсутствие интереса к реальности.

Роман прошел и встал перед экраном, приветственно помахал ладонью. Она слабо улыбнулась и тоже поразмахивала руками, показывая, чтобы он отошел и не мешал смотреть. Вздохнув и отступив, мастер огляделся. Было убрано, пол чистый.

Мужчина пошел дальше, открывая двери и заглядывая в комнаты, проверяя действие оплачиваемой благотворительности. Санузел поблескивал скромной опрятностью и отсутствием непри-

ятных запахов. Кухня радовала отсутствием огня в конфорках газовой плиты и не повернутыми на «открыто» вентилями. На столе стояли сок, вода, в холодильнике слегка прокисшее молоко и подгнившие бананы, магазинные готовые блинчики с мясом.

В холодной уютной спальне инородным предметом торчала священная, как когда-то ее называла мать, пузатая тумбочка, украшенная по бокам фигурными наличниками, в которой лежали: отцовский, без отдельных листов коран; материнский, прожженный посередине устав коммунистической партии советского союза; дедушкин, пахнущий плесенью китель (на латунных пуговицах с перекрещенным молотком и разводным французским ключом); закапанная воском бабушкина библия. Между листами всей мистической экзотики и под железнодорожной формой прятались мутные фотокопии его детского увлечения из любимой «Кэмп – традиции воинских искусств». Приезжая изредка в гости, Роман обязательно заворачивал сюда, чтобы проверить, на месте ли тумба и не изменилось ли что-нибудь с течением времени в ее содержимом.

Все оставалось неизменным, хотя годы куда-то шли и мать дряхла. Сначала она, догадавшись, зачем он заходит туда, сердилась на сына, а затем запечатывала и причину его приездов, и основание заглядывания Романа в спальню. Следом пропала и общая картина: к чему вообще старая мебель была установлена в укромном углу квартиры, укрыта пожелтевшими от длительного неиспользования вафельными полотенцами с вышитыми маками, и что за вещи лежат и пылятся в ней. Она даже забыла следствие первоначального действия – чувств, которые возникли после обустройства в неизвестно каком веке этого непонятного промежутка в спальне. Порой, поскольку спала тоже перед телевизором, заходила, забывшись, самостоятельно в спальню, с удивлением смотрела по сторонам, немедленно разворачивалась восвояси и не хотела помнить, что имелось в том направлении.

За таким поведением Роман подозревал большой смысл – мы абсолютно не контролируем даже свою жизнь. Не научились еще, оставаясь рабами ощущений и порывов, сохраняя единственный шанс обрести согласие с пространством в том, чтобы следовать порядку, материализованному в словах и предметах.

Поэтому, когда ему позвонил незнакомый мужчина и сказал, что сделанный им ключ не подходит к замку, Роман обрадовался поводу немедленно уйти из квартиры и предложил выехать к заказчику и на месте определиться, в чем проблема.

– Я в Янгоне, – немного помолчав, заметил незнакомец.

Мастер улыбнулся в пустоту:

– Я всегда выезжаю к клиенту, если возникают какие-то трудности с моими ключами.

– Это далеко.

– Ничего. Я в детстве прочитал книгу о восточных воинских искусствах и очень давно хочу побывать в буддистском монастыре, а Мьянма ведь одна из стран, где распространен буддизм?

– Да. Но вы уверены, что поступаете правильно? Может быть, я привезу замок в мастерскую, как только объявлюсь в государстве регистрации?

– Нет-нет, я обязательно приеду к вам. Тем более, что появился повод.

– Но я не смогу оплатить вам проезд, – голос незнакомца напрягся, – только за работу.

– Что вы? – заторопился Роман. – Ведь уже заплачено, когда я делал этот ключ. Он не подошел к замку – значит, виноват я. И потом, как вы полагаете, почему, интересно, почти все люди уверены, что все решают их деньги?

– Не знаю, – нерешительно ответил незнакомец, – никогда не задумывался над этим.

И поспешил пояснить:

– Ключ вы сработали по образцу, который вам принес студент геологоразведочного техникума. Из Лаоса, помните?

Мастер утомленно скривился, он устал от пребывания в квартире матери, его раздражала обстановка и сама женщина, которую он обидчиво взаимно не узнавал, совершенно не похожая на красивое создание из его детства.

– Это такой бронзовый, – задумчиво проговорил он, – массивный, похожий на кочергу с тремя выступами на загнутом конце, как у большой и широкой вилки.

– Да, да, – обрадовались на другом конце света, – все зубцы змеистые, чтобы трудно было подделывать.

– А вы не еврей? – неожиданно спросил Роман. – Потому что противоестественно как-то, русские в Мьянме. Мама всегда твердила, что все беды от евреев.

В трубке закашлялись.

– Ну, – неуверенно начал собеседник, – по паспорту я гражданин России. Говорю по-русски, но не уточнял у родителей, кто я по национальности. А почему вдруг такой вопрос?

– Да неожиданно все это, – смутился Роман, – звонок из страны, в которую я давно хочу поехать. Может статься, вы еще будете утверждать, что буддистский монах?

– Вы меня беспокоите, – голос незнакомца начал стекленеть, – что не так с вами? Я, вероятно, ошибся, позвонив. Но вы сами дали парню номер телефона и сказали, чтобы он обращался, если ключ не подойдет к замку, поскольку вы впервые делаете такой необычный, к тому же без заводской заготовки, а самостоятельно.

– А откуда вы знаете этого лаосца? – внезапно вспомнил мастер. – Вы тоже из нашего города?

– Он настоятель нашего монастыря, – тон смягчился и потеплел, – и да – я монах.

Роман замолчал, потрясенный превратностями мироздания.

– А вы кто по национальности? – неожиданно спросил собеседник.

– Мама русская, а отец башкир, – механически правдиво ответил мастер.

В трубке засопели, а потом монах оскорбительно хмыкнул и радостно протянул:

– Нууу, вооот...

Мастер ключей явную насмешку стерпел: как никак, надо быть вежливым с клиентом, если хочешь получить хорошие деньги за интересную работу.

Они договорились, что заказчик встретит Романа в аэропорту Янгона, и мужчина с удовольствием распрощался с матерью, встав перед экраном и помахав ладонью. Получив в ответ размахивание руками, будто бы подбитый голубь пытался скрыться бегством от кошки, он заторопился в мастерскую, к компьютеру, чтобы забронировать билеты, подать в посольство запрос на визу и подготовить походный чемоданчик с инструментами.

4.

Роман вышел из автобуса за остановку перед торгово-развлекательным центром. Ему хотелось прогуляться перед долгой ночью в помещении, когда нельзя спать и только шаги раздвигают глубокую тишину в огромных полутемных лоснящихся коридорах, а в ослепших витринах разноцветные манекены будут настойчиво заглядывать в глаза.

Накрапывал дождик – скорее летний, чем осенний, перед выходными на улицах исчезли прохожие, а на дороге автомобили, скрывшиеся где-то за городом. Он посмотрел вверх, капли видимо стекали с неба и напоминали снежинки, каждую можно было поймать на ладонь и успеть рассмотреть и отразиться в округлостях, пока вода не расплывалась по маслянистой и неровной коже.

На торце облезлой многоэтажки, на самой верхотуре, в панели девятого этажа виднелась дверь. Аккуратный прямоугольник без ручки, создававший впечатление, что кто-то освободился, закрыл за собой и на радостях сломал запорную конструкцию, чтобы больше никто никогда не смог выбраться или вернуться.

Мастер остановился, отчетливо ощущая, что внешний мир, несомненно, наличествует, несмотря на забавные истории, придуманные живущими в нем. И он, как один из зрителей, тоже имеет большой шанс создать захватывающую быль об исчезнувшем крылатом чувачке, но скучно, и не хочется множить сущности.

Роман дошел до небольшого пригорка, с которого открывался прекрасный вид на торгово-развлекательный центр, построенный в виде опадающей волны, высотой в четыре этажа на греб-

не, с лифтом в середине, соединяющий функции товарной лавки, кабака и общежития. На заднем дворе находилась смотровая башня, сооруженная так, чтобы машины, подъезжавшие непрерывно к раскрытым разгрузочным проемам, и рабочие, сновавшие между потоками грузов, всегда находились под наблюдением ее мощных видеокамер и звукозаписывающих устройств. И даже сейчас, и здесь, снаружи, мастер ощущал себя маленькой шестеренкой, помогающей функционировать этому сложному механизму удовлетворения разнообразных нужд и вожделений.

Из-за утекших облаков показался круглый рыхлый спутник, болезненно застывший в зените. В огромном здании потухли огни, только на фасаде продолжала бесноваться светодиодная реклама, зазывая потусторонних неспящих покупателей.

Зайдя в ТРЦ, он сразу направился в комнату охраны. Переоделся, попробовал несколько приемов с резиновым «аргументом» и стальными «нежностями», показанных тут же более опытными товарищами. Прослушал краткий инструктаж: не пить, не курить, не приставать к манекенам и не спать на лестнице эскалатора – и проводил предвещающую долгую пьянку гурьбу вновь обретенных сослуживцев до заднего неприметного выхода.

Один из них, выглядевший старым вообще для всякой работы, перешагивая порог, запнулся и оборотился.

– Ты не пугайся, – пожимая плечами и шмыгая волосатыми ноздрями, пробурчал он, – если вдруг что или кого непонятного увидишь. Это все по плану.

Удивленный мастер придержал дверь, формулируя правильный вопрос, но охранник уже отвернулся и ушел в подсвеченную смотровой башней дворовую темноту.

5.

Прохождение маршрута он начал с первого этажа, с главного входа, точнехонько встав на желтый прямоугольник с надписью «Начало обхода», аккуратно под первой камерой ночного видеонаблюдения. Так ему посоветовали. Посмотрел на часы, зафиксировав для предполагаемого протокола осмотра места происшествия время, и шагнул в застывшее, умолкнувшее и оттого ставшее грубо незнакомым пространство.

Ему по пути встретились...

Освещенные витрины магазинчиков белья и одежды, из которых выглядывали:

белый голый унисекс-манекен с одной поднятой рукой как будто бы для хлопка («Каков звук у хлопка одной ладонью?» – подумал Роман);

желтые манекены подростков по пояс, остальная часть туловища отсутствовала («Если у меня есть тело, значит, мне его дали», – улыбнулся сторож на одну ночь);

черные фигуры, одетые только в вязаные шапочки и шарфы с белыми оленями (Мастеру хотелось потыкать в них пальцем, чтобы ощутить подлинную реальность своего существования);

одноногая пластмассовая женщина, держащая в красных руках пару розовых лабутенов («Любопытная загадка», – покачал головой мастер, достал из кармана смартфон и сфотографировал на память и для дальнейших размышлений);

мужчина в ковбойских сапогах, джинсах и с ровненькой заводской огромной дырой в животе («Он сказал или да, или нет, явно что-то определенное, поэтому с ним и поступили таким образом», – решил Роман).

Искусственный фонтан в резиновом малиновом бассейне, с бортов которого пискали струйками пахнущей хлоркой воды морские коньки и кокетливые русалки.

Магазин часов, обнесенный стеклянными перегородками, обнажавшими прозрачные стеллажи с пропорционально-симметрично разложенными кругляшками фиксаторов человеческого времени, обрамленными металлическими, пластмассовыми ободками, сквозь которые проступали струпы.

Он прижал лицо к ледяному бесцветному веществу, увеличившему мощной лупой внутренности пространства. От вспучившегося в мозгу тоненького визга у Романа заложило уши, но мастер завороченно вглядывался внутрь. Тонкие, толстые, флюоресцирующие, капельками и фигурками

принцесс и солдатиков стрелки вращались. В разные стороны. Одни назад, другие вперед, некоторые в унисон – словно взмахивая руками, многие – попеременно, отдельные экземпляры демонстрировали разноряд: минутные двигались влево, секундные вправо.

Мужчина увидел собственное изображение в громадных напольных курантах: голова с волосами, стоящими дыбом от безымянного ужаса, лицо с полуоткрытым ртом и синими губами проявлялись и пропадали отдельными частями в циферблате, подвергаясь ударам массивных плоскостей, а туловище в серой униформе отсеченно-прерывисто обнаруживалось в качающемся в ритме рок-эн-ролла внушительном маятнике. Отражался там и еще кто-то, в сверкающем длинном платье, с короной, быстро удаляющийся в середину заостренного диска.

В общем-то, мастер не верил происходящему, поэтому постарался успокоиться, сделав несколько упражнений из полузабытых дыхательных практик кунг-фу, и заставил-таки себя отлипнуть от запотевшего и ставшего туманным прошлого-настоящего-будущего-вечности, наверное. И, резко повернувшись, разочарованный, не оглядываясь, удалился.

Далее случились потемневшие-бронзовые бородатые пираты посередине кофейни, провонявшие жареными зёрнами из Латинской Америки и местными кисломолочными продуктами. Сморщенные зонтики и перевернутые стулья на влажных столиках.

Православные иконы в серебряных и золотых окладах, бордовые бархатные подушечки с многочисленными разноразмерными крестиками из драгоценных металлов, выглядывавшие из-под табличек «Оборудовано сигнализацией ФГУП «Охрана»».

Пряничные коричневые и белосахарные человечки и овечки, с шоколадными выпуклыми глазами и мармеладными пуговицами на животах и спинах, радостно ждущие заклинания посередине скучно-оживленных коридоров.

Серые, синие, белые футболки с разноцветными надписями: «Ну?», «Доколе!», «Потому что вот!», «Откель?» «666», «999», «69», «777», «13», «96», «А...», «Ф?», «О!», «Упс».

Туалет, закрытый на уборку. Туалет, функционирующий с 10.00 до 20.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Туалет, действующий только до полного окончания движения лифта. Служебный туалет с черно-оранжевой угрожающей надписью крупными заглавными буквами «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА!».

На четвертом этаже, в аппендиксе перед эвакуационным выходом на крышу, в диодный круг его боевого фонарика попала скрюченная женская фигура у стены, с волосами, пышно разбросанными по плечам, лицом уткнувшаяся в колени. Роман замер, не дыша, и даже успел вспотеть под мышками, прежде чем...

– Расслабься, – глухо прозвучало снизу, – я не привидение.

Мастер шумно выдохнул и надрывно закашлялся от попадания слюны не в то горло.

– Постучать? – спросили от пола.

– Спасибо, нет, – вежливо, как привык отвечать клиентам, сказал мужчина.

– Выключи, пожалуйста, свет, – попросила женщина.

– Не положено по инструкции.

– А, ты новичок, – догадалась собеседница.

– Только на ночь.

– А потом?

– Снова стану мастером.

– А я крановщица, – женщина подняла голову и посмотрела на Романа.

Охранник узнал высокую девушку, которую пытались протащить в бутик Angel glamur. Она по-прежнему была одета в синий линейный джинсовый комбинезон, узкими штанинами заправленный в высокие желтые кроссовки с незавязанными длинными шнурками. Только вместо рыжих сияли белесо-фиолетовые пряди.

– Вы почему-то прекрасны, – инстинктивно вырвалось у него.

– Спасибо, – легко сказала сидящая, – ночью все хороши.

– Вы и днем прекрасны, – восхищенно пролепетал мужчина, – я вас видел – знаю, что утверждаю!

– А здесь раньше стоял автомат для бесплатной раздачи презервативов, – сменила тему девушка. – Мы, когда с мужем только встречались, частенько сюда заскакивали.

– И как он сейчас поживает? – огорчился Роман.

– Он умер, – прошептала сидящая, и две слезинки выкатились из левого глаза, потянув за собой траурный шлейф к крупному пористому носу.

– Я вам сочувствую, – поспешил мастер, – извините за глупые вопросы.

– Да ничего, – женщина, порывшись в нагрудном кармане комбинезона достала смятую бумажную салфетку и бурно сморкнулась в нее, пробубнив: – я уже привыкла.

– А что вы делаете тут?

– Страдаю, – резко и быстро ответила крановщица.

Роман замолчал, пытаясь определиться с отношением к происходящему... чтобы что?

– Я передумала, – сказала девушка.

Встала, отряхнула джинсы, взяла мастера за руку:

– Пойдем.

– Куда?

Мужчина не сопротивлялся, в конце концов его же пытались предупредить, поэтому надо расслабиться и получать удовольствие, которому, как и революции, никогда не будет ни начала ни конца.

Они молча спустились на первый этаж, к застывшему эскалатору. Ладонь мужчины, которую девушка не отпускала, была мокрой и неприятной на ощупь, поэтому Роман с удовлетворением почувствовал отсутствие ее руки и холодный воздух, эффективно осушавший освободившуюся от посторонних организмов кожу.

Крановщица подошла к прямоугольной стойке с афишкой «Миллиард желаний за миллиард рублей. Джек-пот ждет вас!»

– Я давно хотела купить билет, – она зашла за стойку и подняла вверх указательный палец, – и кому-нибудь продать. Интересно, как ложатся фишки.

– У вас были дети? – поколебавшись, все-таки поинтересовался охранник.

– Да, дочь. Ее забрал мой отец, – девушка вскинула обе руки с победными латинскими викториями.

– Почему?

– Утверждает, что я сумасшедшая, – она грозно потрясла кулаком перед лицом мужчины. – И он не шутит, а искренне считает, что внучка не должна умирать, пока жив дед.

– А где же мы возьмем лотерейки? – удивился мастер. – Наверняка же продавцы их забирают с собой.

– Не-а, – счастливо улыбаясь, крановщица полезла под прилавок, – я тут три ночи назад обнаружила, что распространительница удачи забыла про завалившуюся между стенками пачку. И мы их сейчас, опля...

Она, взмахнув фиолетовыми кудрями, выпрямилась, радостно размахивая слегка запыленной бумажной упаковкой.

– Ну, вот, – девушка надорвала этикетку и игриво проворковала, – давай денежку и забирай, милоч, билетик!

– А зачем деньги, – попробовал сопротивляться Роман, – если они уже наши?

– Ну, нет, – сморщила крупный носик крановщица, – ничего не получится, если играть не по правилам. Купишь столько, сколько захочешь, как и я, а остаток и деньги положим на видное место. Мы же не воры какие-нибудь.

Мастер купил один лотерейный билет. Девушка посмотрела на мужчину сердито, надув губы, хотела что-то сказать, сдержалась, промолчала. И тоже купила одну лотерейку. Посмотрела, перевернув бумажку.

– Завтра объявят результаты.

Роман все-таки докачал ситуацию до логического завершения и спросил:

– А как погиб твой муж?

Крановщица заснула лотерейный билет в задний накладной карман комбинезона.

– В ДТП. Инспектор посочувствовал потом, что если бы он пристегнулся ремнем безопасности, то остался жив и даже не попал бы в больницу.

Она засмеялась:

– Ну что, пошли гулять, – и, не обращая внимания на охранника, вприпрыжку почти побежала по коридору в сторону огромного продуктового магазина.

Мастер воровато оглянулся. Положил свой билет обратно в пачку, сунул ее под прилавок, забрал деньги и заторопился следом.

6.

Следующий день был воскресным.

Роман сдал обмундирование, снаряжение. Отчитался начальнику охраны, что дежурство прошло без происшествий. Николай Петрович скептически выслушал доклад, побряхтел, посопел, почесал за ухом, поковырялся в носу, внимательно разглядывая вынутое, пошлепал себе лысину этими же пальцами, но, раздумчиво заметив вслух, что мастер в случае чего все равно никуда не денется, отпустил его с глаз долой, как говорится, с Б-гом.

На вопрос старого охранника, не встречался ли ему ночью кто-либо, Роман отмахнулся и поторопился на волю.

У специального заднего неприметного выхода, которым он решил воспользоваться, чтобы перед самым собой подчеркнуть значимость и реальность так долго ожидаемого и вот состоявшегося ночного дежурства, его ждала крановщица.

– А ты как тут? – удивился мужчина.

– Я же постоянный посетитель, – засмеялась девушка, – ты разве забыл?

– Ну, – пожал плечами мастер, – ночью все кошки серые.

– С глаз долой, – рассердилась крановщица, – из сердца вон? Может, у меня на тебя планы?

– Какие? – искренне, душевно, тепло и неподдельно удивился Роман. – Какие у вас могут быть планы, если вы вдова.

– Пойдем, погуляем, – она взяла его за ладонь.

Он подумал, что сейчас снова вспотеет, но, на удивление, этого не случилось – рука осталась сухой. Возможно, причиной данному обстоятельству было солнце, появившееся из-за края горизонта и создавшее впечатление повысившейся атмосферной температуры, в свою очередь быстро согревшей людские организмы.

– Куда идем? – удовлетворенно поинтересовался мужчина.

– Туда, – женщина махнула в сторону детского парка.

И они двинулись, причем крановщица пыталась быть моложе, как то: прыгала на вообразяемых классиках, заставляя мастера конвульсивно дергаться вслед за собственной дланью, не отпускаяемой рыже-фиолетовой девицей даже в момент невесомости; пробовала свистеть соловьем, распушивая с мусорных баков авторитетных ворон; начинала декламировать и тут же забывала какие-то сентиментальные стишки, почему-то оканчивавшиеся нецензурными словами и сомнительными выражениями; поминутно кокетливо оглядывалась на Романа, спотыкаясь каждый раз на ровной поверхности.

Романтическое путешествие пары завершилось неразделенным удивлением мастера, надеявшегося на обратное, но внезапно осознавшего, что сквер открыт и все необходимое задействовано, несмотря на ранний час. Более того, количество детей и родителей оставляло впечатление, что они и ночевали среди этого железобетонно-деревянного зоопарка, соорудив шалаши и землянки, окопавшись в песочке и готовые принять любой жребий. И пережив, вероятно все-таки с потерями, очередную ночь, они вернулись на родные, затопленные зеленым мхом, бывшие вымостки,

памятные падениями и последующими соплями подрастающего поколения, чтобы вновь купить кислое мороженое и сладкую, но запятнанную мошками вату, в тысячный раз отказаться из-за дуроговизны от наиболее страшного и соблазнительного аттракциона.

– Где-то тут бродят и мои, – сказала крановщица.

– Кто? – испугался мастер.

– Воспоминания, – засмеялась женщина.

Они вошли в железную кованую узорчатую калитку, пересекли границы видимого и невидимого мира.

– А может, – пожалла крановщица плечами, – и дед с дочкой где-то тут гуляют. Он как-то недавно грозился сводить ее сюда, чтобы приобщить к социуму, показать соблазны и отказать в капризах.

Роман остановился – внимательно огляделся, прислушиваясь при этом к внутренним ощущениям, стараясь проникнуть в потаенное движение восприятия. Дернулся от укуса и инстинктивно ударил себя по щеке. Посмотрел на результат и огорчился, обнаружив на пальцах кровь и остатки последнего предзимнего комара.

– Ты чего? – удивилась девушка.

– Хочу туда, – мастер показал пальцем с малюсеньким бурым пятнышком крови насекомого на большой металлический диск с укрепленными под ним многочисленными двойными сиденьями, прикрытыми разноцветными облезлыми зонтиками. Под ними сидели дети и взрослые, судорожно цеплявшиеся за алюминиевые ограждения от вываливания, от страха молчаливые и сосредоточенные на смысле подвешенного в воздухе существования.

Диск раскручивался и поднимался вверх однорычажным складным механизмом, с натугой и воем двигателей, разгибавшимся на высоту девятиэтажного дома. Беседки мчались не только по кругу и вверх, но еще и раскачивались горизонтально земляной плоскости наподобие пьяных британских матросов, возвращавшихся в XIX веке из какого-нибудь индийского кабака на судно.

– Нет, – жестко и грубо сказала, как отрезала, крановщица, – туда не пойдем.

– Почему? – растерялся мастер ключей от такой резкой смены настроения.

– Как профессионал по высотным агрегатам, – подбоченилась девушка, – я тебе ответственно заявляю, что это – опасно для здоровья. А как местный житель знаю, что конструкции как минимум лет 50 и она со дня на день грохнется.

– А куда же смотрят мамыши? – пожал плечами мужчина. – Они же не только сами, но и детей туда тащат.

– Судьбу испытывают, – сухо сказала женщина. – Бытие оскорбляют.

Роман замер, покачиваясь на носочках ботинок, чувствуя не отскрёбаную жвачку.

– А ты мной помыкаешь? – со злостью спросил он окружающее пространство. – Сюда пойдем, туда нельзя. То-се, пятое-десятое.

Он вдруг устал, ему захотелось пива, а потом спать часов двенадцать беспробудно, проснуться с тяжелой головой и осознанием честно выполненного долга.

Мастер ключей затворил глаза, медленно обернулся, осторожно водя руками, нащупал железное ограждение, неспешно добрался, перебирая завитушки к пустоте, знаменующей выход, – перетек пределы, вздохнул и раскрыл очи. Не оглядываясь, побрел к ближайшей остановке городского пассажирского транспорта.

Крановщица забыла о нем сразу, как только он отвернулся. Она сердито и напористо вглядывалась в колесо, бликовавшее стальными острыми гранями над золотисто-желтыми-коричнево-красными куполами деревьев, готовое осыпаться парашютиками рукотворного одуванчика. Подтянула помочи комбинезона и решительно двинулась к кассе.

7.

Прибыв в собственную квартиру, Роман расхотел спать, пить пиво и заслуженно отдыхать. Он взял ноутбук и заказал через сайт билет на вечерний поезд в Москву. И далее – на самолет до

Янгона, решив, что визу будет собственноручно проталкивать в посольстве, типа, так получится быстрее, тем более, можно предъявить в качестве доказательства подлинности намерений пролетный документ.

В сборах часы пролетели быстро, он успел только сходить в душ, поесть и вызвал такси до железнодорожного вокзала.

Вышел к подъезду. На лавочке курил седой старик в джинсовой куртке, кожаных с заклепками штанах, в шикарной широкополой ковбойской шляпе. Рядом сидел бело-мохнатый бородастый колли, придерживаемый, вероятно, на всякий случай поводком, пристегнутым к бисерному ошейнику.

Мастер пожелал доброго дня, ковбой ответно дотронулся до серого края стетсона.

Подъехала «лада», световой короб с шашечками и надписью taxi приветливо мигал на крыше автомобиля. Роман хлопотливо погрузился в пыльный красно-коричневый салон, хлопнул дверью и, полуобернувшись, принялся нашаривать железный ключ ремня безопасности.

– Да вы не суетитесь, – оборотился молодой водитель с короткой остроконечной эспаньолкой и голубыми, почти прозрачными глазами. – Довежу мягко, без происшествий, туда – куда надо, опыт большой.

Легковушка скоро двинулась, мастер не пристегнулся и испытывал от этого некоторое смущение. В открытом бардачке напротив пассажира лежали черные венчики с блеклой вязью церковнославянских букв. Таксист перехватил взгляд пассажира, мягко улыбнулся, пояснил:

– Работаю водителем ритуальной машины, а на такси только калымю.

Он достал из наружного верхнего кармана куртки визитку, сунул в ладонь Романа и сказал:

– Нужно будет – звони.

Доехали они и правда – без происшествий, хотя мастеру казалось, что водитель пьян и чересчур резко обгоняет другие машины, круто входит в повороты и внезапно тормозит в неподходящих местах.

У вокзала Роман с облегчением вышел и расплатился, причем пришлось искать металлические десятки для ровного, без сдачи, счета.

Поезд уже стоял у платформы. Мужчина погрузился в вагон, нашел свое место, разделся, достал обязательные цветастые старые домашние тапочки – переобулся. Из рюкзака вынул ноут, надел наушники и ушел в интернет.

Через некоторое время состав дернулся и движение началось.

Мастер ключей щелкнул на сайт региональных новостей. Довольная, что ее демонстрируют друзьям и знакомым, молодая журналистка напористо рассказывала о сотруднике главного управления МЧС России, работавшем на месте происшествия в детском парке. На втором плане шла картинка разрушенной металлической ограды, поперек которой, в копьевидных зубьях, застрял огромный, толстый и блестящий стальной диск со сломанными беседками.

Мужественный боец, доблестно ликвидировав чрезвычайную ситуацию, отошел на боковую аллею отдохнуть и там, в опавших листьях, увидел свернутую бумажку. Поднял – оказалось, что это лотерейный билет с сегодняшней датой розыгрыша. Уже дома, в кругу семьи, он доверил супруге проверить указанные на нем номера. И да! Счастливый случай – на билет выпал выигрыш в три миллиона рублей! Везучий эмчэсовец сообщил средствам массовой информации, что потратит деньги на покупку новой квартиры для себя и многочисленных и любимых домочадцев.

Роман поморщился и переключился на википедию и далее в астрал, из которого узнал, что если в нашей стране повзрослевшие юноши отправляются в армию, то в Мьянме – в монахи. Там принято, чтобы каждый мужчина по достижении совершеннолетия побывал в этой роли. Причем срок службы Будде обычно длится недолго: от двух часов до недели.

У желающих принять постриг есть возрастной ценз: монахом можно стать только с 18 лет. До этого стремящийся «вращать колесо учения», именно так называется монашество, может быть лишь послушником.

Мастер улыбнулся – ему уже давно минуло за восемнадцать.

Тариэл ЦХВАРАДЗЕ

Пространство тонет в сигаретном дыме,
под потолком пульсирует мигрень,
здесь женщина в одном и том же гриме
неделю ищет собственную тень.
Мелькают кадры фильма на экране,
mundштук приклеен накрепко к руке,
она читала много о нирване,
но находила счастье в коньяке.

Расскажи-ка беседка бульварная,
с лёгкой грустью в прокуренном голосе,
про свой город, где улица главная –
переулочек лишь в мегаполисе.
Где вдыхают приезжие лапочки,
сладко-приторный запах магнолии,
мама с папой тогда им до лампочки,
институт и работа тем более.
И про то, как причалив на лодочках
закрепив канаты швартовые,
отправлялись известной походочкой
к пивзаводу ребята портовые.
Разливное, ставридка копчёная –
за копейки, считай что бесplatная,
а в кармане колода краплёная
и мелодия в парке эстрадная.
Нашей памяти юность бедовая,
будоражит беседку бульварную
и ту первую куртку джинсовую
вспоминает, как вещь антикварную.

Тариэл Цхварадзе родился в 1957 году в Грузии, город Ткварчели, в настоящее время проживает в Батуми. Окончил художественное училище им. Мосе Тоидзе в Тбилиси. Автор пяти книг стихотворений. Публиковался в литературных альманахах «На холмах Грузии», «Эмигрантская лира», «Иркутское время», журналах «Интерпоэзия», «Байкал». Лауреат и участник международных поэтических фестивалей, лауреат литературной премии им. Давида Гугумишвили. В «Волге» публиковались стихи (2016, № 1-2).

Достанет вечная жара, улыбка сфинкса, дым кальяна,
и Моисеева гора, и ржавая вода из крана,
и приторный на вкус кишмиш, и зов к намазу муэдзина,
и недокуранный гашиш, и зазывала магазина.
И так захочется назад, скорее в горную прохладу,
где есть и дождь и снегопад, где каждый рад тебе, как брату.
Продав квартиру с барахлом, с забитым долларами кейсом,
я улечу туда, где дом, без багажа ближайшим рейсом.
И встретит родина не та, не та, что виделась ночами.
И отрезвляющая пустота, и пожимание плечами.
Мол, что поделаешь, браток, что есть, то есть – живи как знаешь.
Народ здесь тронулся чуток, за год и ты таким же станешь.
И стал. Из дома ни ногой. Сижу, курю, стучу по клавишам...
и слышу, рядом за стеной, сосед читает «Отче, Аве!».

Всё радует меня в подлунном мире,
и водки вкус, и без неё тоска,
и то, что дважды два всегда – четыре,
и родинка любимой у виска.
Я персонаж по городу известный,
меня на понт так просто не возьмёшь
и даже Лёва – «положенец» местный,
ко мне бывает по субботам вхож.
Везёт по жизни – хоть возьми да тресни
из зависти ко мне, но только, друг –
не приведи Господь на «Красной Пресне»
в пресс-хате оказаться как-то вдруг.
На фоне том трагедии Шекспира
покажутся смешными, и тогда,
поверь бродяге, недостатки мира
забудешь без особого труда.
Ну, как-то так... Попытка между делом
колоду карт раскинуть по мастям.
Так на доске писать нас учат мелом,
а может, ну его, учителей к чертям?

Гулял сквозняк, скрипели в петлях двери,
март доедал последний талый снег.
Два персонажа уличных мистерий,
устраивались в арке на ночлег.
Один дрожал и задыхался в кашле,
второй укутывал больного в плед.

Протянут ночь, а что там будет дальше,
даст Бог, подскажет завтрашний рассвет.
Дунай под утро дрогнет рябью нервно,
отель разбудит колокольный звон,
спущусь к бомжам, оставить десять евро –
должно хватить на хлеб и самогон.
А сам пойду на будапештский рынок,
попробовать гусиный фуа-гра,
с айфона скину в ленту фотоснимок,
где на тарелке чёрная икра.
Запив свой завтрак белым из Токая,
на полчаса уйду в небытие,
и буду, время в дрёме коротая,
цинично думать – «Каждому своё».

Перестану писать про политику,
про бомжей и распущенность баб,
и в угоду иркутскому критику,
покажусь не использовать ямб.
Пьяным утром над строчкой хирея,
с горьким кофе и без сигарет,
попытаюсь размером хорей
передать иркутянам привет.
Не учился я в литинституте,
не уверен, что это хорей,
но кричу на двадцатой минуте
португальцу: «Рональдо, забей!»
И положит впритирку со штангой
мяч послушный, как будто рукой...
Дым костра под бурятское танго,
закружит над кристальной водой.
Ближе к ночи над лысою сопкой,
зарыдает сычом саксофон,
и с последней пронзительной ноткой
потревоженный вздрогнет Ольхон.
В небе чистом над морем Байкальским
тихо, тихо плывёт самолёт,
а у лётчицы влажные глазки,
она видит цветы и поёт.
Голос рвёт перепонки и крышу,
долгий день на секунды, дробя.
В перезвоне бутылок расслышу:
«Она любит тебя, она любит тебя, она любит тебя...»

Сергей БОРОВИКОВ

ЗАПЯТАЯ-4

(В русском жанре-64)

”

Чуть ли не наизусть помнил бунинский «Речной трактир», и вдруг вот где – «Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал...» – остановился.

Как понимать: задержал бутылку на столе?

Только так, что официант на распоряжение гостя «Иван Степаныч, шустовского...» приносит бутылку и, налив по рюмке, собирается её унести. Сейчас-то официант спросит: сколько? и столько принесёт. А ещё Бунин не стал тратить слова на объяснение того, что герои будут и дальше пить, сообщив это словами «задержал бутылку на столе».

Сейчас в продаже появился коньяк «шустовский», которого я, к огорчению своему, недавно отведал, глупо прельстившись названием. То есть я, разумеется, понимал, что современный производитель просто нагло использовал старинную марку, и всё же, чем взять стоявший рядом не раз проверенный «Кизляр», купил этот. К тому же был без очков и крохотные буквы на этикетке не разобрал и лишь дома из интернета узнал, что отравы, какую отведал, произведена в Мытищах каким-то невнятным заводиком.

”

Скептический и желчный Иван Алексеевич Бунин, столько жуткого сообщивший нам про русского человека, верил тем не менее в его деловитость и работоспособность.

Сие пришло мне на ум над страницами рассказа «Соотечественник» 1916 года.

«Этот брянский мужик мальчишкой был привезен Москву из деревни, состоял на побегушках при купеческом амбаре на Ильинке... <...> Представьте же, как странно видеть этого мужика в тропиках, под экватором! Он сидит в своей конторе, в старинном доме голландской постройки. <...> – с виду он не то швед, не то англичанин.

Он уже успел удивить гостя своей самоуверенностью, решительным и скептическим умом, деловитостью, огромным житейским опытом и несметными знакомствами с людьми самых разнообразных классов и положений.

Странно, неожиданно проявляются таланты на Руси, и чудеса делают они при счастливых жребиях! <...> Все остальное было делом его личной живости и талантливости.

Кончил он тем, что ввязался в большое чайное дело, устроив себе еще, кроме того, две службы, и вот уже шестой год пребывает здесь, в тропиках, облеченный немалыми полномочиями... Редкий европеец поставил бы так легко крест на своей изумительной по удаче судьбе, да даже просто на своей специальности, взявшей столько лет труда!»

...

Когда-то давно на бунинский юмор обратил моё внимание Илюша Петрусенко. Он сослался на рассказ «Благосклонное участие» (1929) про то, как «бывшую артистку императорских театров», которая «очень немолода, широкоскула, жилиста» приглашают выступить на благотворительном вечере.

«Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, – “в убежище направил нас господь”, – и с особенным блеском “Я б тебя поцеловала...” Критикан-старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой весьма недвусмысленно: покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй...»

И мы наперебой принялись вспоминать и другие тексты, как например написанные один за другим (26 и 27 января 1913 года на Капри) «Будни» и «Личарда».

А вот известный буниновед Олег Михайлов, прочитав много позже в моей статье слова о бунинском юморе, писал мне: «по-прежнему стою на том, что у Бунина (в отличие, скажем, от А.Толстого) юмора не было, а был желчный сарказм. Недобрый он был человек, а таковые к юмору не склонны. Ведь если у Бунина есть юмор, то вообще нет писателей без юмора (Сартаков не в счёт)».

Может быть, дело просто в терминах: я-то полагаю, что сарказма без юмора нет. И недоброго желчного юмора у Ивана Алексеевича хоть отбавляй.

...

«...кто это распорядился печатать Белого как участника и товарища? Было решено только не избегать Белого, если он даст что-нибудь удобочитаемое, а если пришлёт на зверином языке, то отказаться». (Н. Телешов И. Бунину 21 июня 1907 г.)

...

То и дело в фильмах и сериалах из старой жизни мелькают неграмотные надписи якобы по старой орфографии. Это в ряду оснащения действия как бы историческим реалиями, когда вытащив на экран две-три «эмки» и надев подстриженному по последней моде чекисту 30-х, которые стали теперь ежедневно являться на экране ТВ, петлицы со звездочками, авторы полагают, что соблюли историческую реальность, заставляя, к примеру, книжные шкафы подписными собраниями сочинений 60-х годов.

Один лишь пример – повтор на ТВ экранизации попытки Василия Аксёнова (по-моему, неудачной) написать как бы традиционную эпопею – «Московская сага» с первоклассными в главных ролях актёрами. Во многих кадрах появляется вывеска с написанным через ять слово «бельевой», тогда как оно писалось через Е.

Конечно, совсем не обязательно знать правила русской орфографии до 1918 года, но раз уж взялся по ней писать (имею в виду художника «Саги»), изволь ей следовать. Тем более, раз большая вывеска является во время действия фильма и в глубоко советские времена, надпись явно должна демонстрировать нелучшее отношение старого профессора-хирурга (исп. Юрий Соломин) к большевикам.

На моё наблюдение в FB отозвались Евг. Попов и Алексей Слаповский.

Евг. Попов: *Свидетельствую: он смотрел фильм только после его выхода на телеэкран. И был от него, мягко говоря, не в восторге. Мы с ним смотрели одну из серий в гостинице в Ярославле, и он все время бормотал: «Интересно, что еще будет дальше?»*

Я: *А почему он не смотрел до выхода?*

Попов: *Нас с тобой не спросил! Он в тот момент только-только приехал из Франции. Говорю же, что к фильму был холоден. Присутствовал лишь при самом начале, на банкете в честь запуска фильма.*

Я: *И от гонорара за фильм отказался?*

Попов: *Спроси его сам, когда мы все увидимся. Я не его казначей.*

А. Слаповский: *Да авторов к съемкам сейчас не подпускают. И показывают только готовый продукт.*

Я: *Простите, но я не думаю, что это может быть на 100%, тем более если автор именит и будет настаивать.*

Слаповский: *Да мало кто настаивает. Что, конечно, плохо.*

...

Предварили по ТВ фильм о Майе Плисецкой словами: «великая российская балерина».

– Почему не великая русская?

– Ты что, глупый?

Итак, Плисецкая великая, но не русская, стало быть, пишем великая российская, а вот Анна Павлова – великая русская, и Галина Уланова великая русская. Владимир Васильев – великий русский, а Асаф Месерер, понятное дело, не русский, а российский, не говоря уж о Рудольфе Нуриеве или Марисе Лиене – славно получается, балет у нас уже не русский, а российский. Только вот и с Павловой неувязка, отец у ней был караим...

Пойдем по художникам: Илья Репин и Василий Суриков – великие русские живописцы, а Архип Куинджи и Иван Айвазовский получается российские, Александр Опекушин и Сергей Конаев – великие русские скульпторы, а Марк Антокольский и Степан Эрьза, натурально, только российские.

Для писателей же нетитульного происхождения в «патриотической» прессе давно изобрели определение – русскоязычные, тьфу!

Долгие годы было определение «советский», которое хочешь не хочешь, но объединяло носителей его по общему признаку, а сейчас запутались между русским и российским. Плохо, что второе подменило первое, которое обозначает принадлежность к нации, а не национальности. Ведь не чурается даже и государственный язык этого слова: в ходу выражения «национальные интересы» и т.п.

...

Я не раз писал о шестидесятниках с точки зрения младшего их современника, бывает, и ровесника, ведь мой сверстник Евг. Попов называет себя шестидесятником.

Да, их надо определять не по возрасту, а по той, иногда декларируемой, иногда подспудной, приверженности к маловозможной у других слоев Советской России противоречивой смеси воззрений. Они ненавидели Сталина и любили советскую власть, ценили высоты классики и жадно хватались за любой литературный фокус, присягали верности товариществу и легко уводили у друзей жён и мужей, с готовностью обличали любой беспорядок, но добросовестно исполнять службу не слишком хотели и т.д.

Как-то я урезонился в этих размышлениях: откуда, спросил я себя, у тебя уверенность, что ты знаешь это, условно говоря, сообщество?

И правда, откуда?

Сложилось так, что с детства я много времени проводил не с ровесниками, а с приятелями старшего брата, на 10–15 лет старше, и воспринимал их сверстниками, и был как младший к ним особо внимателен и пристрастен. А в будущем, опять-таки само собой получилось, что на равных

общался, служил и дружил с людьми много старше. Это относится и к периоду моего начального становления как литератора, когда я очутился если и не в рядах, то во всяком случае в близком соседстве с «русской партией», деятели которой по преимуществу были поколения шестидесятников.

Как-то диалектически продолжилось, что с возрастом я комфортно себя чувствовал себя с приятелями моих сыновей, и подобно тому, как сам был на ты со старшими, так теперь и с младшими.

””

Проезжая недавно в Саратове по улице Мичурина, (а есть ли хоть один город в бывшем СССР без его имени?), а бывшей Малой Сергиевской, я нечаянно взглянул на старинное трехэтажное здание, где в перестройку поместили модное тогда кадетское училище, и вспомнил, как в 50-е, когда я был школьником, там была школа № 4, которой нас пугали.

Поясню. Я учился в школе №3, первый год как не женской. Было после войны две элитные школы (это потом уж возникли английская и пр.): 19-я мужская и 3-я женская. Находились неподалеку друг от друга. Самый центр, вот потому и лучшие? как бы не так! Меж ними и даже на одной улице с 19-й, была и школа 4-я – оплот второгодничества и хулиганства.

Да, в этом районе располагались дома, в которых жила тогдашняя элита. Скажем, со мной в классе учились дочери заместителей начальников КГБ и МВД, сыновья заместителей предгорисполкома и директора торговой базы облисполкома, нескольких профессоров. В 4-й же школе, как помню по общениям, были отпрыски чуть ли не люмпенов.

Объяснить это могу только тем, что в годы всеобщего советского равенства уже при отборе документов была классовая селекция. А чем же ещё?

Подтверждает это и то, что чувство элитарности в нас поддерживали, в том числе постоянной угрозой перевести в 4-ю. Так учителя и особенно завуч и говорили: «Достукаешься – переведем в четвёртую!»

””

Стало трудно дышать на свете.
Как бы вовсе нам не пропасть.
Ополчились Арбата дети
На тебя, Советская власть!

Чтоб страна в состоянье скотское,
Впала, злобою залита,
Ждут теперь воскрешенья Троцкого
Больше, чем самого Христа.

Я этим стишком Ивана Савельева из журнала «Молодая гвардия» заинтересовался, хотя в нем вроде все сразу ясно, лишь странно, что троцкисты, по мнению поэта, подлинные христиане, коли веруют во Второе пришествие. Но интересно понять, отчего так крепко внедрилось в литературно-политический обиход и стало олицетворением врага название книги Анатолия Рыбакова?

Дети Арбата это Окуджава, Рыбаков, их родители и их герои. Но ведь то дела давно минувших дней. Давно нет на свете родителей ненавистных писателей, нет и их самих. Да и тех, кто начинал их ненавидеть, тоже уже нет. А ненависть к самому определению как эстафету восприняли те, кто старого, трамвайного Арбата и в глаза не видел.

”””

В конце 80-х «Волга» наряду с другими «толстяками» набирала тираж, достигнув смешной сейчас цифры 80 тысяч. Успех проявлялся и в том, что с редакцией хотели общаться читатели, и однажды нас пригласили даже в Ленинскую библиотеку.

Я подобрал группу в лице себя и главного нашего креативщика Володи Потапова, поскольку командировку и давали на двоих, а в авторах не ограничивали. Следуя нашему стремлению как можно шире предоставлять страницы самым разным писателям (где еще могли соседствовать Саша Соколов и Владимир Бушин?), на встречу пришли Евгений Попов, Олег Михайлов, Евгений Рейн, Рой Медведев, Геннадий Айги, кажется, ещё Николай Климонтович и бывший в то время в столице Борис Екимов.

Никто не ссорился, лишь Михайлов, увидев Рейна, негромко мне проворчал: «И этот здесь...»

Но встреча могла не задаться из-за накладки организаторов, забывших повесить о ней объявление. Когда это обнаружилось, библиотечные женщины принялись заполошно бегать по читальным залам, приглашая к общению с редакцией провинциального издания. И люди пришли! Собралось за короткое время человек полтора. Такое было время, год 88-й или 89-й.

Мы невольно вернули их накладку хозяевам тем, что поспешили в ЦДЛ, где Попов заказал стол в ЦДЛ и в продолжение встречи торопил меня к нему. Меж тем они, как я краем глаза, когда искал Роя Медведева, заметил, уже накрыли чайный стол с пирожными. Почему я искал Медведева? Он, едва показавшись, куда-то исчез. А был Рой Александрович в те голы очень популярен. Увидев его, встречные толкали друг друга локтем. Я нашел его в каком-то подсобном помещении, лежащим разутым на диванчике.

На встрече удивлял и неподдельный интерес случайно собранных людей, и число их вопросов.

В ресторане посидели по-доброму, перебрал только Айги, стихами которого мне на удивление бурно, ещё в библиотеке, восхищался Михайлов, но помощь отверг и, пошатываясь, направился к Садовой.

2019

НЕВИДИМЫЙ ЗИНЗИВЕР

Дедушка Герасим Сергеевич

Храм литературы где-нибудь в пыльном и неухоженном райцентре. Не в виде библиотеки, а в виде храма. Приход маленький, почти нищий. Едва хватает на отопление и на масло для лампад перед книгами и портретами. Чаще всего приходят школьники перед сочинениями и экзаменами по литературе. На паперти местный поэт – полусумасшедший неопрятный старик с потрепанными книжками своих стихов, которые он норовит всучить каждому, проходящему мимо. Все его знают и потому уворачиваются. Незнакомого человека он еще может обмануть. Подойдет и скажет:

- Подайте на хлеб бедному поэту в честь праздника.
- Да какой же сегодня праздник? – спросит незнакомый человек.
- Сегодня, – ответит старик, – сто семьдесят два года три месяца и пять дней с того дня, как

Николай Васильевич закончил писать шестую главу «Мертвых душ».

И тотчас же начнет читать нараспев: «Зелеными облаками и неправильными трепетливыми куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины...» Незнакомый человек даст ему по глупости десятку или две – так старик потом и не откажется, достанет свои книжки и станет предлагать их даром, будет совать их ему в карманы и читать свои стихи, от которых уши вянут.

Настоятельница храма – сухая, любящая заламывать руки дама очень средних лет в очках с большими диоптриями. Пальцы у нее унизаны серебряными кольцами, и на груди висит ладанка с портретом Льва Толстого. В свое время она окончила Литературный институт и даже собиралась принять постриг в Пушкинском доме, чтобы на всю жизнь отдалась комментариям к «Слову о полку Игореве», но не сложилось – кому-то из знакомых она сдуру призналась, что любит стихи то ли Асадова, то ли Евтушенко, то ли того и другого вместе. И пошло и поехало... Короче говоря, рада была уехать в этот медвежий угол настоятельницей. Служб в храме немного, прихожане на храм жертвуют неохотно, а все норовят принести вместо денег старые, ненужные им книги и портреты писателей, вырезанные из журнала «Огонек». Школьники из мелочи, которую им дают родители, купят свечку-другую или листок с молитвой пушкинских старцев. Какой от этого доход... У одной из парных кружек, тех самых, из которых пьют с горя, облупилась почти вся эмаль на портрете Арины Родионовны, а на замену денег нет и неизвестно когда будут. Потому и ходит настоятельница по домам служить требы – то пригласят её почитать помирающей старухе рассказ «О любви» или стихи «В шумном платье муаровом...», то заговорить на отличную оценку сочинение двоечника, написанное его мамашей, то изгонять бесов из одержимого Достоевским, а то читать всю ночь спящей женщине на сносях стихи Пушкина и Лермонтова, чтобы ребенок

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы. Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

родился... Однажды, воспользовавшись тем, что она плохо видит, а в сумерках и вовсе слепая, положили перед ней собаку, завернутую в одеяло. Та лежала, лежала, да как гавкнет в тот самый момент, когда «и пусть она вас больше не тревожит...». Насилу ее потом отпоили калгановой настойкой. Не собаку, конечно, а настоящую.

В самом храме пусто, пыльно и сладко пахнет старыми книгами. Только в тургеневском приделе девочка лет десяти вымалывает у портрета Ивана Сергеевича щенка или котенка, прижимая к груди тонкое и ветхое, еще советское издание «Муму». Девочка молится горячо, голос ее дрожит, она путает слова и называет писателя милым дедушкой Герасимом Сергеевичем, а щенка Каштанкой. Наконец она заканчивает молиться, привстает на цыпочки, прикладывается к руке Тургенева на портрете и уходит. То место, на котором она стояла, заволакивается сонной тишиной, а Пушкин на иконе тропининского письма начинает зевать и барабанить пальцами по столу.

А если бы Горький не вернулся? Кого тогда назначили бы вместо него главным пролетарским писателем? Кто тогда организовал бы и возглавил писательский съезд? Маяковский к тому времени застрелился. Да и какой из поэтов организатор. Все равно что Пастернаку велеть организовать съезд. Такого нагородил бы... Он даже самых обычных строевых команд не знал. Фадеев с Фединым... еще нет. Серафимович уже был стар, хотя и не суперстар ни разу. Шолохов? Этот все пропил бы. Бабель не подошел бы – еврей. И вообще не подошел бы. Слишком талантлив и слишком себе на уме. Толстой всем хорош, но классово чужд. А уж он все исполнил бы в лучшем виде. И список составил бы из пяти гениальных писателей и сорока пяти талантливых. И за то, чтобы попасть в этот список или хотя бы в дополнения к этому списку, писатели Толстому... Нет, тут нужен писатель из народа, с прошлыми литературными заслугами, которому этих заслуг мало, а новые литературные заслуги уже... А Максимыч остался бы на Капри вместе со своей Лисой Патрикеевной Будберг. Выращивал бы цветную капусту. Лечился бы кьянти. Может, ему и Нобелевская премия обломилась бы вместо Бунина или вместо Шолохова. Интересно, что сказал бы по этому поводу Набоков... Дотянул бы бывший пролетарский писатель до антибиотиков. Мы бы его пьесы в самиздате читали. Диссидентская молодежь сделала бы «Песню о булевестнике» своим гимном. Барды положили бы ее на музыку, и мы пели бы «Песню» на кухнях, между винегретом и жареной уткой, а на словах «Пусть сильнее грянет буря!» соседи сверху стучали бы нам по батарее. Ну, а Товстоногову за постановку «Мещан» вместо Государственной премии вкатили бы строгача по партийной линии. Припомнили бы постановку «Варваров» («вы, товарищ Товстоногов, тогда не просто оступились – вы пошли по кривой дорожке, и я, как секретарь партийной организации нашего театра, носящего славное имя Сергея Мироновича Кирова¹, не имею права молчать...») и по совокупности, путем поглощения более строгим менее строгим... Отменили бы очередные гастроли БДТ в Польшу или даже в Японию. Пришлось бы срочно ставить «Сталеваров» или «Любовь Яровую», чтобы как-то замолить грех. Лебедев наверняка впал бы в депрессию. Актеры очень тонкие и чувствительные натуры – для них впасть в депрессию – все равно что обычному человеку чаю пойти выпить или повеситься.

А если бы была у нас по-настоящему культурная страна, то все писатели ценились бы так же, как футболисты или хоккеисты. Сидишь ты себе в какой-нибудь Тамбовской губернии в каком-нибудь Моршанске или Мичуринске и пишешь за районный писательский клуб «Лорх» или «Синеглазка». Пишешь, пишешь... и вдруг раз! Тебя перекупает Костромская или даже Московская область. Глянул ты секретарю их областного писательского клуба на чемпионате России

¹ Не Горького же. Имени Горького он был только два года – с тридцать второго до тридцать четвертого года. В тридцать четвертом его переименовали. Лавренев, хотя виду и не подал, но обиделся страшно. Он-то надеялся...

по писательскому троеборью. Сулят тебе трехразовое или питание, рюмку водки перед каждым обедом, бутылку по выходным и каждый год путевку в областной дом творчества. Правда, без семьи, но ты с удовольствием потерпишь. И вот ты уже пишешь за областной клуб, едешь на ежеквартальные сборы в специальный подмосковный санаторий, занимаешься, не щадя сил, с подающей надежды писательской молодежью, ставишь ей руку, трогаешь за коленку, закручиваешь сюжеты и распрямляешь криво написанные предложения. Конечно, могут быть накладки. Был ты почвенником, патриотом до мозга костей, а приобрели тебя, к примеру, либералы. Вот и пиши теперь... Вот и выкручивайся. Зачеркивай везде в тексте православные крестики и рисуй масонские треугольники с глазами, не говоря о шестиконечных звездах. Можно, конечно, поменять гражданство и писать за какую-нибудь литературно не очень развитую, но богатую страну или бедную, но очень гордую, которой надо непременно быть в чем-нибудь первой. Хотя бы в литературе. Впрочем, для этого и гражданство менять не надо. Эх, мечты, мечты... Отчего вы такие глупые...

Ночью не спалось. Лежал и придумывал вицмундиры для писателей, редакторов и литературных критиков. Представлялись мне гусиные перья в писательских петлицах – у писателей районного масштаба из белой некрашеной пластмассы, у областного – анодированные под серебро, а у признанных классиков и лауреатов всероссийского масштаба настоящие золотые на малиновом бархате. На рукаве нашивки за романы, повести или за вышедшие книги. Если ты поэт и написал гениальное стихотворение, то вот тебе крошечный красный значок в виде разорванной аорты – похожий на капелку крови на булавке, которую выдают донорам. Три таких значка и ты уже как георгиевский кавалер среди поэтов. Три таких значка – и тебя уже ненавидят все поэты. Впрочем, никто тебе и не даст трех значков. И одного не дадут. Это надо, чтобы вся комиссия по присвоению этих значков, включая представителей минкульта, минобраз и комитета Госдумы по гениальным стихотворениям... Да они между собой... и тебе тоже достанется так, что мало не покажется. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Вернемся к вицмундиру. К нему нужна фуражка, а на фуражке должна быть кокарда с выпуклой штампованной шинелью, из которой мы все вышли. У издателей вместо перьев в петлицах ножницы и бархат не малиновый, а зеленый. И у каждого вышит на погонах логотип журнала, в котором они служат. У редакторов толстых литературных журналов должен быть какой-то значок или вышитый вензель, означающий, что они... вроде лейб-гвардии. Их за эти вензеля редакторы всех остальных, обычных журналов, будут недолюбливать. И это мягко говоря. У критиков... про вицмундир критиков я почти ничего не успел придумать потому, что заснул. Помню только, что бархат у них на петлицах черный, на бархате скрещенные злые языки и пистолеты, а к седлам приторочены метлы и собачьи головы писателей.

Сейчас-то любители бумажных книг хорохорятся, рассказывают про удивительный, ни с чем не сравнимый запах старых книг, про тисненные золотом кожаные переплеты и все такое. Вот уже скоро станут делать тисненные золотом кожаные переплеты для планшетов и букридеров. И пахнуть они будут в точности как старые книги – смесью бензойного альдегида, ванилина, этилбензолана, толуола и этилбензола. Химики уже все выяснили и всем рассказали. Будут электронные книги с запахом старых книг, а для тех, кому нравится запах новых – будут с запахом клея, типографской краски и еще чего-нибудь по желанию заказчика. Например, духов, свежеевловленной корюшки или односолодового виски. А еще и и звуки... Читаешь ты про Гримпенскую трясику – и у тебя в наушниках тихий, леденящий душу вой. Убийство в Восточном экспрессе будет сопровождать стук колес. Прогулку Анны Сергеевны и Гурова по набережной Ялты – залихватский лай шпица. Или взять стихи. И море Черное витийствуя шумит... По старинке-то надо раковину к уху прикладывать, а тут тебе и шум волн, и свист ветра, и скрип гнувшейся мачты, и даже крики чаек. Или в том месте,

где у Толстого «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». за экраном вспыхнет свет и все погаснет секунд на пять или десять. Пошлость, конечно, несусветная, но чувствительным дамам и девицам будет нравиться, и они даже незаметно поднесут носовой платок к уголку глаза, если им случится читать в метро. Любовные и эротические романы... придется слушать в наушниках. Расцветет новое искусство иллюстрирования. Конечно, будут и те, кто из принципа будет читать только бумажные книги. Эти будут ходить в подпольные библиотеки и там, среди таких же сектантов, как они сами... Не знаю, что мы там будем делать – может, гладить обложки, может, нюхать их, говоря, что вот этот запах настоящий, а не какая-нибудь дешевая химическая смесь, от которой за версту несет освежителем воздуха, а может, просто станем выпивать и закусывать, вспоминая... да хотя бы очередь на Дрюона, которого давали по талонам за сданную макулатуру.

Одной только фразе Шолом Алейхема «И в беде нужна удача» я бы поставил памятник, а вокруг него разбил бы парк, в парке расставил бы ларьки с мороженым, фруктовыми водами, цветами, семечками, пончиками, французскими духами в розлив и блестящими воздушными шариками в виде сердечек на палочках, в тенистых аллеях расселил бы соловьев, в укромных местах расставил бы скамеечки и беседки, на скамеечки рассадил бы влюбленных – тех, которые уже целую неделю встречаются, еще «дальше локтя не пошли или колена», но уже жить друг без друга не могут и беспрестанно говорят друг дружке о том, как им повезло, что они встретились, что могли бы пройти мимо и не заметить, а не прошли, а могли бы и уже почти прошли, но вдруг точно молния, и это не просто везение, не просто удача, а...

Задумался о родине. Ну, хорошо, о Родине. Родился я в Киеве. Прожил там первые три месяца, и увезли меня в Серпухов к месту работы родителей. Нет, Киев мне не Родина. Даже с учетом того, что я приезжал туда на каникулы к бабушке. И Серпухов не Родина. Я там прожил до шестнадцати лет. Не скучаю я по Серпухову и не хочу туда вернуться. Того Серпухова все равно уже нет. По детству скучаю, но детство не Родина и в него не вернешься. Потом шесть лет учебы в Москве, потом четверть века в Пушкино-на-Оке, потом Сан-Диего, потом снова Москва... Спроси меня сейчас, где моя Родина... Где мне лучше всего? Если честно, то лучше всего я себя чувствую в рассказах Чехова. Мне туда хочется возвращаться. Если бы в паспорте можно было записать в графе гражданство «Рассказы Чехова» – я бы записал не колеблясь. Я не сразу в них поселился. В детстве я жил в Древнем Риме. Там была моя настоящая Родина. Ходил в серпуховскую среднюю школу, бегал во дворе с друзьями, но был в Риме вместе с братьями Гракхами, Марком Юнием Брутом, Суллой и Цезарем. Каждый день мечтал об эмиграции в Вечный город. Как только засну – так сразу на Форум – защищать братьев от сенаторов. Потом на несколько лет уехал в «Трех мушкетеров». Когда учился в Москве... нигде не жил. Скитался по разным книжкам. Лет пять прожил в толстенном американском учебнике по органической химии. Неплохо, кстати, жил. Думал, так и останусь там навсегда, но... в один прекрасный день собрался с мыслями – короткими, длинными и даже теми, которые закручены против часовой стрелки, – и ушел жить в «Мертвые души», в «Левшу» и в «Очарованного странника». Хотя уже тогда я начал понимать, что ружья мы чистили, чистим и будем чистить кирпичом, но... все равно ушел. Если бы тогда менял паспорт, то взял бы двойное

гражданство – «Левши» и... нет, тройное. Еще «Мертвых душ» и «Повестей Белкина». Ну, а в сорок пять, когда меняют в последний раз, то уж осел бы в рассказах Чехова навсегда. Есть, конечно, еще Набоков, но он не для того, чтобы поселиться в нем навечно. Он что-то вроде облаков. Вот ты живешь себе, живешь в рассказах Чехова и время от времени задираешь голову вверх, а там по небу плывут облака. Вот они и есть Набоков. Любоваться, но не жить. Впрочем, Набоков вполне уместен как штамп пограничного контроля в паспорте. Да, бывал. Неоднократно. Даже дачу там завел для летнего отдыха, но постоянно живу здесь – в рассказах Чехова. Есть еще дом в повестях Паустовского, доставшийся от родителей, но там бываю, увы, редко, наездами.

И вот еще что. Я совершенно не патриот рассказов Чехова – я их просто люблю, но не стану рвать на груди рубаху, доказывая, что жить надо только в них, а тех, кто свалил в какую-нибудь сказку братьев Гримм или роман Джерома...

Невидимый зинзивер

Хуже первого января только второе и третье, когда на дворе оттепель, когда оливы мертвы, а ты еще нет. Вот тогда хорошо одеться потеплее, взять с собой освиневшую от переедания собаку и уйти с ней в поле. Идти, с трудом вытаскивая из оттаявшей рыжей глины ноги, смотреть на серое беспросветное небо и думать какую-нибудь короткую, заплывшую копченым салом мысль. Вернуться, так и не проголодавшись, домой, пойти на кухню, положить себе на тарелку оливы из большой миски, на дне которой уже появилась крошечная лужица воды с отвратительными белыми майонезными разводами, выудить из селедки под шубой и незаметно для себя съесть случайно упавшие в нее два кружка сырокопченой колбасы, выскрести из банки засохшие остатки красной икры, намазать ее на черствый кусок хлеба, налить рюмку водки, выпить ее и понять, что жизнь ужралась.

Старый год давно кончился, а новый еще и не думал начинаться. С самого утра сумерки. В окне ничего нет, кроме серого тумана, в котором собака слоняется по двору и обнюхивает бесчисленные кротовые кучки. Сидишь в кресле у окна, рядом, на подставленном стуле, две горки – одна из уже начавших подсыхать мандариновых шкурок, а вторая из шелухи от тыквенных семечек. Сегодня кончился винегрет, но холодец... И как самому себе объяснить – зачем ты пообедал? Зачем ел первое, второе, третье, половинку четвертого и пил чай с шоколадными конфетами? Ведь ты же сыт с позавчерашнего дня. Телевизор смотреть стыдно, да и нет там ничего. Ты уже посмотрел. Сидишь и держишь в руках раскрытый том Набокова. Читать его нет ни сил ни желания. Держишь просто как оберег. Так с ним и заснешь. Перед тем как заснуть с чистой совестью, его надо хотя бы открыть, не говоря о том, чтобы прочесть несколько первых предложений. Хорошо, что нет снега и нет этих дурацких мыслей о том, что мог бы на лыжах пять километров до леса и обратно...

Не просыпаясь откроешь глаза, а на дворе солнце, мороз и намело до подоконника. Снег сверкает, часы на стене тихонько тикают, в печке гудит и потрескивает, снегирь на ветке ольхи краснеет. Лежишь, жмуришься, а снег сверкает, в печке гудит и потрескивает, часы тихонько тикают, под одеялом тепло, снег тихонько тикает, снегирь сверкает, часы гудят и потрескивают, под снегом тепло, печка краснеет, снегирь гудит, одеяло потрескивает, снегирь тихонько тикает, тикает... и вдруг как крикнет:

– Сколько можно спать! Яичница глаза проглядела – все тебя высматривает!

Снег пошел с вечера, а к утру уже валил и сегодняшний и тот, что не успел выпасть вчера. В поле никого, ветер воет, никакой лыжни нет, и приходится, с трудом переставляя лыжи, идти по целине. Собака просит тебя быть человеком и вернуться домой, над тобой три слоя серых, ватных облаков, из которых сыплется и сыплется снег, а ты упорно идешь и идешь вперед, восхищаясь внутри себя собственной стойкостью.

Время от времени в прореху между облаками выглядывает бледное, еле желтое солнце и снова скрывается. Кажется, что сейчас облака раздвинутся и покажется солнце – но не наше желтое, уютное солнце величиной с пятирублевую монетку, а солнце далекого будущего – огромное, занимающее треть неба, красное и рыхлое, покрытое коростой черных и уже никогда не исчезающих пятен – то самое, которое называется красный гигант. Из-за леса будут торчать ржавые остовы опустевших небоскребов, а на том месте, где была наша деревня, будет каменистый берег холодного моря, и по нему будут бродить уже не элои с морлоками, а огромные неуклюжие крабы. Краб Пашка Анпилов будет пьян, и у него ноги за ноги будут заплетаться, а краб Серега Газманов будет его бить клешней по панцирю за то, что Сашка совершенно случайно, без какого-либо злого умысла, оплодотворил икру Райки Газмановой. Просто он шел по берегу и разбрасывал везде свои сперматофоры, а тут подвернулась Райка, вернее, упала под ноги и...

Десятки и сотни вылупившихся недавно маленьких, размером со спичечный коробок, крабов, как две капли воды похожих на Пашку, будут ползать по восьми ногам Сереги и пронзительно пищать «Папка не надо! Не надо, папка...» Краб Райка Газманова – огромная, раза в два больше, чем крабы Сашка¹ и Серега, ленивая самка с мелкими, беслыми шевелящимися усиками над верхней губой и вылезшими далеко на лоб мутными, в багровых прожилках глазами будет безучастно сидеть на куче мерзлого песка припорошенного снегом и бесконечно жевать осклизлые водоросли, выброшенные прибоем на берег. Ветер будет отгонять от берега льдины в ту сторону, где миллиард лет назад была автобусная остановка на дороге в райцентр, багровый солнечный свет будет заливать... Оглянешься назад – туда, где должна была быть деревня, и увидишь, что в белой пелене пропала и деревня, и толстые, в младенческих перетяжках, уютные дымки из труб, и большая красно-кирпичная Ильинская церковь, а только серый силуэт покосившегося креста на колокольне плывет сам собой в заснеженном пространстве и времени...

Погладишь собаку, подвывающую от страха перед гигантскими крабами, скажешь ей «Спи-спи. Все хорошо», сам перевернешься на другой бок, подоткнешь одеяло, и станешь пробиваться сквозь метель в деревню, держа курс на уплывающий от тебя крест.

Если в начале февраля после обеда сесть у окна в кресло, зевнуть, побарабанить пальцами по его деревянной вытертой ручке, снова зевнуть и широко закрытыми глазами всмотреться в засыпанное снегом до неба поле, то можно увидеть, что тянется оно не до леса, как это было еще перед Новым годом, а до самого апреля. Ну, может, и не до апреля, но до середины марта точно.

Во второй половине зимы наступает царство настоящего. Будущего, то есть весны со всеми ее тревожностями, с первыми, еще бледными от зимнего авитаминоза, надеждами и напрасными хлопотами, нет совсем или оно съезживается до нескольких часов – до обеда, до конца книги или

¹Черт его разберет когда он Сашка, а когда Пашка. Это же краб. Сегодня он Сашка, а завтра или даже через час уже Пашка. У крабов нет раз и навсегда закрепленных имен. Слишком просто они для этого устроены.

до дна чашки с чаем. От прошлого года остаются уже и не воспоминания, а какие-то обрывки от них – и не цветные, а выцветшие, почти черно-белые, как и сны, которые можно видеть даже днем. Сидишь себе у печки, обутый в старые растоптанные валенки на босу ногу, смотришь на валяющихся между оконными рамами мух, прикидываешь, сколько из них проснется весной, думаешь прибавлять к ним себя или... разную ерунду про мгновение, которое повторимо так, что хочется не то чтобы удавиться, но хотя бы намылить – или веревку или кому-нибудь шею.

К вечеру облака становятся такого сиреневого цвета, какой бывает только у пылких фантазий, когда они от случайно открытой форточки вдруг остывают до комнатной температуры, а к ночи и вовсе подергиваются пеплом, который ворошишь, ворошишь, а под ним уже ни одного живого уголька, и потому идешь пить чай с английским кексом, кусочки которого макаешь в портвейн, а потом ни с того ни с сего наедаешься принесенной из погреба ледяной квашеной капустой с луком, клюквой и селедкой и понимаешь, что это только оттепель, а до весны еще одних метелей сто или даже двести километров, не говоря о сотнях пудов сосул, и бабочка в дровяном сарае, которая днем шевелила крыльями, делала это во сне только потому, что ей приснился чижик, а вовсе не потому, что...

Когда под самый конец зимы как повалит снег, как ударит тридцатиградусный мороз, как начнут от холода ломаться на розовые, малиновые и янтарные кусочки разной длины молодые весенние солнечные лучи, когда от звонкого теньканья синиц воздух станет еще ледянее, когда не приедет трактор расчищать дорогу, когда отключится электричество... вот тогда нужно занести в теплый дом снятый с машины аккумулятор, велеть жене налепить пельменей, открыть поднятую из погреба банку с солеными рыжиками, достать из другой банки маленький маринованный огурчик, налить в рюмку перцовки, наколоть на вилку самый большой пельмень, умакнуть его в сметану, велеть жене подцепить маринованный огурчик на другую вилку и держать, пока не будет насчет него указаний, ей же велеть наколоть на третью вилку соленый рыжик, а на четвертую подцепить кусок селедки с луком, самому поднять полную рюмку, окинуть взглядом стол, жену с вилками, приказать собаке подобрать слюни и подумать то, что обычно думают в таких случаях мужики: «Этот народ непобедим, нас голыми ~~женными~~ руками не возьмешь, нас просто так отсюда не выкуришь и не выпьешь, мы одними вилками кого хочешь...» И тут дадут электричество.

Выйдешь во двор, а тени на снегу сиреневые, мягкие и пушистые, расплавленное жидкое солнце заливает сверкающие сугробы, синички безостановочно до онемения клювов клюют каменный шпат сала, чтобы не околеть от холода, сверлящий гул самолета не продельвает в небе аккуратный тоннель, как летом, а откалывает от него огромные ярко-синие ледяные глыбы и в стылом морозном воздухе так сильно пахнет уже прошедшей, но никак не проходящей зимой, что запаха весны не чувствует даже собака, выбежавшая погулять во двор и тут же вернувшаяся в будку.

Собака спит чутко. Встанешь под утро подложить дров в остывшую печку, а она, хотя и лежит на веранде и видеть тебя не может, но постучит пару раз хвостом об пол. Мол, я сплю, но и во сне тебя люблю, не сомневайся. И снова в свой сон – ловить мышь. Она ее который год ловит. У мыши уже и дети, и внуки, и правнуки, и праправнуки, уже и сама она умерла года два назад, обжевшись в погребе квашеной капусты, а собака ее все ловит и во сне лапами сучит, догоняя. Для собаки кого-то ловить во сне – пусть мышь, пусть бабочку, – все равно что для человека летать. Ловишь – значит растешь, хотя у тебя уже и усы седые и хвост давно не пистолетом. Пока дрова разгорятся, ты, сидя на низкой скамеечке перед печкой, берешь глагол «задумался» и буквами

«у» удлиняешь его до существительного «раздумья». Получившиеся раздумья буквами «м» утяжеляешь до дум. Потом берешь одну из дум и десятком букв «м» превращаешь ее в удар колокола. Этим ударом собираешь овец и пересчитываешь их до тех пор, пока шум и гул в печной трубе не разбудит жену, которая встанет, задвинет заслонку и велит тебе идти спать в кровать.

Иссиня-черный прозрачный и ледяной мартовский вечер. В полупустой закускойной тепло и тихо. Сидишь, пьешь горячий чай из картонного стаканчика и грызешь черствый круассан, который в меню называется свежей выпечкой. За соседним столиком мужчина угощает женщину в лихо заломленном берете пельменями и водкой. В окно закускойной видно ущербную и бледную, точно желток инкубаторского яйца, городскую луну, пустой позвякивающий трамвай, едущий в депо, дорожных рабочих в оранжевых жилетах, посыпающих снегом из тележки на колесах еще дымящуюся асфальтовую заплатку на мостовой, девушку на тротуаре, прижимающую к плечу головой телефон и разговаривающую по нему двумя руками, молодого человека рядом с ней, нетерпеливо встряхивающего соломенного цвета кудрями, битком набитый автобус, стоящий в пробке на перекрестке, женщину, сидящую у окна, собственное отражение и в нем пустоту, которая каждую весну образуется внутри тебя и ждет, чтобы ее чем-то заполнили. Раньше она заполнялась быстро – женским смехом, сухим вином, пломбиром в вафельных стаканчиках и походами в кино на последний сеанс, а теперь не заполняется даже коньяком. И от пломбира ноет запломбированный зуб, и от женского смеха может разболеться голова, и в кино на последнем сеансе можно заснуть и даже испугать соседей храпом, и... пустота все равно ждет, чтобы ее заполнили. Конечно, ближе к маю она чем-нибудь заполнится – трамвайным звоном, быстрыми взглядами, углом падения которых равен углу притяжения, чириканьем воробьев, свиными сардельками, в конце концов... Женщина за соседним столиком почти не ест, а все больше чирикает и хохочет. И хохочет. Водка у них в графине уже кончилась, а пустота внутри женщины, судя по всему, еще и не начинала заканчиваться¹.

Уже и по насту можно ходить не проваливаясь, уже и полевые мыши стали видеть весенние цветные сны вместо зимних черно-белых, уже и от зимних облаков остались одни тонкие сухие оболочки, которые ветер унес к лесу и там разорвал в клочья, уже и поползли по снегу какие-то бестелесные, похожие на соринку в глазу, черные мотыльки, уже и старую иву на берегу ручья укутала еле заметная глазу зеленая дымка, уже и рассаду болгарских перцев, стоящих на подоконнике под лампой дневного света пора пикировать, уже и соседские гуси гогочут так, точно они только что прилетели из теплых стран и готовы с голодухи съесть даже соседскую собаку, уже и сам сосед вывел из сарая в первый раз после зимы свой старый, плюющийся сизым дымом, надрывно кашляющий трактор, уже и жена соседа утром жадно глядела на дорогу, по которой вихрем промчался сверкающий черным лаком огромный внедорожник... а весны как не было – так и нет.

Сосулек уже нет. Кончились сосульки. Синиц тоже нет – они все, точно по команде, собрались и улетели домой, в лес. Под их кормушкой, на зернистом прозрачном снегу все усыпано толстым

¹ Правду говоря, это была грузинская закускойная и вместо свиных сарделек там подавали хинкали и зеленый грузинский лимонад, но женщина, которую угощал мужчина, была в берете. И ела хинкали так, что у берета шевелился хвостик. И пила лимонад. И успевала при этом чирикать и хохотать. И хохотать. И это от обычного фруктового лимонада, а была бы вместо него водка... Если уж совсем начистоту, то я тоже не грыз черствый круассан. Вместо него был горячий хачапури по-мегрельски. Таким можно заполнить любую пустоту. Особенно, если прибавить к нему лобио, чанахи, кофе по-сухумски и эклер с ванильным кремом. Или два эклера. Ведь до мая еще половина марта и апрель. Кто знает, сколько они продлятся.

слоем шелухи от подсолнухов, которые они лузгали с воробьями всю зиму. Ветер сырой, и в воздухе... черт его знает, что в этом воздухе. Обычный весенний воздух, а между тем собака уже вынюхала весь, что во дворе, и теперь рвется за калитку. Кажется, забыл что-то важное сделать – то ли якорь поднять, то ли паруса... Да нет. Ничего вроде не забыл – таблетки от давления еще до завтрака принял, а остальные сейчас пойду принимать. Якорь... Где-то он валяется. Кажется, в огороде, в теплице. Пленку им прижимали к земле в позапрошлом году. Там и лежит, брошенный. Он уже и в землю почти весь врос. Его так просто не поднять – его выкапывать надо.

Сидишь на кухне, пьешь чай с котлетой, картофельным пюре и соленым огурцом, смотришь в окно на полную весеннюю луну, застрявшую в паутине еще голых веток клена, и все усиливаясь сочинишь про нее что-нибудь такое изящное, тонкое и японское, что-нибудь печальное о чувствах, которые ты давно отринул, о пожелтевшем от времени письме, еле слышно пахнущим духами «Опиум», о застывших на ледяном ветру слезах... и тут за спиной как запахнет, как зашипит на сковородке лук... и слезы как оттают, как побегут...

Вечереет. Гроза примчалась и умчалась, оборвав где-то провода между покосившимися старыми столбами. Во всей деревне пропадает электричество. Становится тихо и сильнее пахнет навозом. Овраг, по дну которого течет ручей, наполняется клубящимся молочным туманом – точно кто-то варит там кашу и она вот-вот убежит.

К соседям из города приехали гости. Через забор, представляющий собой сетку рабицу, увидя девичьим виноградом, видно, как они едят прямо у мангала шашлыки, курят и пьют вино из прозрачных пластиковых стаканов.

– Нет, и при Петре, и при Столыпине воровали, страшно воровали, но ведь были и реформы, был прогресс, а сейчас только... водку или коньяк. Сухого не пью никакого. Здоровье не позволяет. У меня даже от французского изжога, – говорит набитым ртом небольшого роста мужчина с большим животом, туго обтянутым канареечного цвета футболкой с портретом Чехова. Мужчина хочет подлить себе в стакан и оборачивается к облезлому деревянному столику, на котором стоит водка. Его футболка натягивается так, что у Чехова с носа сваливается пенсне.

По улице пастух гонит домой мокрых после дождя коров и баранов. Коровы, и особенно бараны, разбредаются. Пастух злится, щелкает кнутом и ругается с бараном, залезшим в наполненную дождевой водой канаву.

– Ты что, б..., – дебил? – спрашивает у него пастух.

– Ме-е... – отвечает баран.

Туман переполнил овраг и теперь выливается на поле. К ужину будут щучьи котлеты. Жена добавляет в них укроп. Говорит, что с укропом интереснее. Добавить к ним сто пятьдесят зубровки – они и будут интереснее. Дай ей волю – и она во все добавит укроп – даже в скандалы. При Петре со Столыпиным, конечно, тоже был укроп, но были и... Провалились они пропадом, эти реформы. В прошлом году деревенские взяли пастуха из каких-то средних азиатов. Ну, чтобы непьющий и работающий. По-русски ни слова. И матом тоже. Так скотина его не понимала совсем. Вот вам и реформы. Теперь опять свой – сутки через трое пьяный, скотина.

Снова начинается дождь. Сначала мелкий, а потом все сильнее и сильнее.

– Сережа, давай на веранду чай пить! – кричат у соседей. – Ленка торт привезла! Ореховый...

– Сейчас! – отвечает Сережа, – Только пенсне найду. Оно где-то здесь, в траве...

Если взять июльский день и аккуратно разобрать его на части, то получится стайка дроздов, гомонящая на ветках старой ирги, выкопанный и оставленный сохнуть между грядками чеснок,

собака, без спросу объевшая созревшие стручки гороха, бабочка павлиний глаз, залетевшая в форточку, красная смородина, уродившаяся на три года вперед, осоловелые от жары облака, третий день висящие над полем, самолет-кукурузник, который должен был еще позавчера прилететь на свой аэродром, но зависший над полем вместе с облаками, забытый на скамейке у пруда старый журнал, носовой платок с вышитыми на нем двумя васильками и муравей, заблудившийся в дремучих зарослях этих васильков. Если все это попытаться сложить обратно, то никакого июльского дня не получится, а получится лишь сожаление о том, что... Бог знает о чем это сожаление, но из всех сожалений на свете оно едва ли не самое сильное.

Дождь кончился и по черному небу плывут белые косматые облака. Сверчки самозабвенно поют на луну, показавшуюся из-за туч. На абажуре настольной лампы сидит и сонно моргает замшевыми крыльями павлиний глаз, залетевший в открытое окно из сада. От прошептанного про себя стихотворения Верлена на губах приятная горчинка. Если фонарь на уличном столбе, заливающий мертвенным больничным светом весь сад, разбить к чертовой матери, а музыку, которую слушает сосед, затолкать ему в уши вместе с приемником, то получатся тихие летние сумерки, лиловые от цветущей и пахнущей медом маттиолы.

Солнце, с трудом протиснувшись в щель между облаками, садится в ельник на другом берегу реки, превращая дорожку на воде из золотой в медную, из медной в оловянную, из оловянной в стальную и, наконец, в свинцовую. На разошедшихся и кривых деревянных перилах старого дебаркадера висит забытая кем-то серая бахромчатая шаль с приколотой к ней брошкой в виде огромной, величиной с детский кулак, божьей коровки. Кто-то невидимый за углом дебаркадера женским голосом спрашивает: «Сережа, когда же вы, наконец, повзрослеете?» – и, не дождавшись ответа, смеется русалочьим смехом. По холодеющему, полному зябких мурашек воздуху медленно плывет выше слов и выше первых, еле видимых звезд серебряная паутина. Бабье лето в самом разгаре красных и желтых листьев, качающихся на приливной волне от моторной лодки, давно скрывшейся за поворотом реки.

Дверь хлопнула, и ты опустел. Сидишь на кухне, барабанишь пальцами по столу, смотришь в окно на морозящий дождь, на мокрые желтые листья, и держишь за щекой чайную ложку, которой она ела клубничное варенье.

Взять шуршание опавших листьев, просеять его от лая собак, выведенных на утреннюю прогулку, гортанных слов и междометий дворника, которыми он разговаривает сам с собой и с котом, возвращающимся неизвестно откуда домой, прибавить к шуршанию опавших листьев шорох беспросветного и бесконечного дождя, из которого тщательно выбраны трамвайные звонки и гудки автомобилей, тщательно все перемешать, туго набить этой смесью подушку, упасть на нее головой и... Такие длинные, цветные и сладкие сны взрослые сами почти никогда не смотрят – отдают детям. Правда, дети сны, даже сладкие, редко досматривают до конца – или их родители разбудят, или они сами ни свет ни заря проснутся, чтобы разбудить родителей. Уже просмотренная часть сна представляет собой одну оболочку – сухую прозрачную и, если потереться о нее щекой, шелестящую. Бывает так, что недосмотренные или даже ни разу не просмотренные сны утаскивают в свои норы мыши. Их хлебом не корми – дай погрызть цветное и сладкое. Впрочем, сразу такие сны они не едят, а запасают на зиму, на новогодние праздники и подают к столу на десерт после танцев.

Поздней осенью бросить все и поехать куда-нибудь по раскисшей от дождей грунтовке, остановиться перед большой и глубокой, точно море, лужей, вылезти из машины и идти куда глаза глядят под мелким, почти невидимым в сумерках дождем, по заросшему черным высохшим репейником, поседевшим иван-чаем и торчащими в разные стороны пьяными телеграфными столбами полю, остановиться у последнего, лежащего в мокрой траве, сесть на него, достать из кармана зеленое яблоко, отряхнуть его от табачных крошек, потереть о рукав старой куртки, укусить, скривиться от кислоты, тоски, холода, сырости, серости сумерек, одиночества, сплунуть, закурить и спросить себя: «Ну, почему, почему хорошо здесь, а не где-нибудь в городе, среди ярких разноцветных огней, почему в поле, а не в теплом кафе с большой кружкой глинтвейна, почему вообще в холодной бескрайней стране, а не в маленькой солнечной у голубого и теплого моря, почему...» Откуда же я знаю почему. У врачей об этом не спросишь, а если и спросишь, то ничего они сразу не скажут – заставят сдать кучу анализов, сделать томограмму, будут прислонять к груди стетоскоп, выстукивать пальцами, а потом велят гулять перед сном, не нервничать, а самые понимающие посоветуют перед сном принимать по пятьдесят граммов коньяку.

Ветер утих. Только чуть шевелятся застрявшие в ветках молодой ольхи рыжие сосновые иголки, только десяток полупрозрачных мотыльков летает и летает внутри закатного медно-красного луча, только где-то высоко-высоко в холодном бледно-голубом мраморном небе печально и пронзительно звенит и звенит невидимый крошечный зинзивер, трепеща золотисто-зелеными крылышками, только внутри что-то хочет и никак не может горько, безутешно, по-детски запла... Нет, не заплакать. Хочет водки и пельменей. Таких маленьких, которых во рту сразу умещается штуки три или четыре. Со сметаной.

Теперь в почти неживом, но еще не мертвом лесу время последних, самых дрожащих, самых прозрачных и уже не содержащих ни капли серебра паутинок, почерневших грибов, хрупких серых коричневых скрюченных листьев, так и не сумевших оторваться и улететь, ломкой, покрытой тонкими трещинами сухих березовых и осиновых веток тишины и стылой, ноющей, бесцветной и бесчувственной пустоты, которая, стоит только зазеваться, залезает к тебе внутрь, в самую середину и потом никакими силами ее оттуда не выкурить, не выпить, не выговорить и ничем не заполнить если и не до самой весны, то уж до первого снега точно.

Осенние сумерки. Как ни оборачивайся назад, а прошедшего лета уже не разглядеть. Как ни вытягивай шею, а не то что весны – даже первого снега не высмотреть. Одна серая мышинная мгла вокруг и больше ничего. Только и видно, что старую кривую сосну у дороги, которая под ветром скрипит так тонко и так жалобно, что все внутри сжимается до размеров маленькой, вроде перчаточной, горошины. Раскусишь ее ненароком – и окажется, что она невыносимо горькая.

Первый снег... Вообще-то, все то же самое – и гипертония, и ипотека, и в понедельник рано утром на работу, и дети, которые не только не слушают советов, но уже норовят сами их дать, и сосед алкоголик, и бессонница, но поверх всего – первый снег. Ему еще месяцев пять лежать, он еще успеет почернеть и осточертеть, он завтра утром и вовсе растает, но сегодня ночью он – первый, и сосед-алкоголик, ипотека, гипертония, работа, непослушные дети и бессонница замерли под ним и боятся даже пошевелиться.

Изо всех сил стараешься заснуть, пересчитываешь чертову прорву овец, умножаешь их, де-лешь и даже берешь интеграл по замкнутому овечьему контуру, наконец засыпаешь, и сразу, еще и глаза не успели до конца закрыться, тебя выталкивают на космический мороз из шлюза орбитальной станции в одном шлеме от скафандра на голое тело. Невероятным усилием воли разле-пляешь уже успевшие намертво склеиться глаза и с облегчением видишь за окном покосившуюся баню, у которой хорошо бы заменить нижние венцы, скворечник, прибитый на длинной жерди к крыше бани, собачью будку с торчащим из нее черным носом, голый клен с висящей на второй сверху ветке луной, снег, лежащий на бане, скворечнике, будке, клене и луне, красные, голубые и зеленые искры, которыми он сверкает в медовом лимонном лунном свете, черную ледяную про-пасть неба с упавшими в нее пригоршнями звезд, а среди них маленький, еле заметно подмигива-ющий огонек орбитальной станции, из которой тебя вместе с тщательно пересчитанными овцами выгоняют на космический мороз в одном шлеме от скафандра на голое тело. Овцы им, видите ли, мешают. Блеют громко и станцию загадили. Вот и выгоняйте овец. Я-то здесь при чем?!

Откроешь глаза, а за окном то ли сегодня, то ли вчера, то ли вовсе прошлая суббота. Медлен-но кружится и падает истертая в мелкую белую пыль небо, не успевшее упасть вчера вечером и ночью. Те же синички и те же воробьи скандалят возле кормушки с семечками, и все так же на-хальные воробьи одерживают верх над пугливыми синичками. На письменном столе стоит чашка с остывшим то ли вчера, то ли на прошлой неделе чаем, рядом с чашкой лежит пустая бумажка от съеденной послезавтра конфеты, на кухне... что ни начини готовить, а все равно получается овся-ная каша. И в голове все ворочается и никак не может улечься упорная, сумбурная, неотвязная, смутная, нелепая и постоянно пульсирующая мысль неизвестно о чем, которую думаешь день и ночь, а все без толку – она только длиннее становится. Уже и голова для нее становится мала, уже она в трех или даже в пяти местах безнадежно запутывается, и на ней появляются узелки, уже и... только в поле, у застывшего под серым и ноздреватым льдом ручья, время еще течет. Там, где лед тонкий и полупрозрачный, видно, как оно течет из вчера в сегодня и дальше, в завтра. Если лед проломить, то можно зачерпнуть несколько вчерашних и сегодняшних, обжигающих горло, минут. До завтрашних дотянуться почти невозможно – их слишком быстро затягивает течением под лед.

Можно, конечно, дома не сидеть и поехать культурно проводить время в какой-нибудь ме-гамолл, есть пирожные и пить карамельное латте, но лучше остаться и смотреть в окно на то, как идет снег. Посмотришь час, посмотришь второй и даже половину третьего, а потом откроешь глаза, найдешь в сети какой-нибудь старый советский телеспектакль с давно умершими актерами и позовешь жену его смотреть. Смотреть дома спектакль – это вам не просто надеть костюм, гал-стук, запонки, подождать два часа, пока оденется жена, и потом наступать на ноги, пробираясь к своим местам в середине третьего ряда амфитеатра. К домашнему спектаклю надо готовиться за-ранее. Еще утром упросить жену напечь сладких ватрушек, чтобы в антракте выйти на кухню, без очереди напиться с ними чаю, выпить рюмку домашнего вина из черноплодной рябины, покурить в форточку, пока не прозвенел третий звонок, вернуться в зрительный зал, надеть шерстяные но-ски и прогнать кота, нагло разлегшегося на кресле в первом ряду партера. К ватрушкам и домаш-нему вину хороши советские детективы. В старых телеспектаклях никаких погонь и трюков нет, а лишь одни неспешные разговоры, окутанные клубами табачного дыма. Время от времени где-то за сценой может прогреметь выстрел, кто-то крикнет, что-то с грохотом упадет и снова разгово-ры, разговоры и разговоры... Следователь всегда честен и неподкупен. Дома у расхитителя социа-листической собственности всегда старинная мебель красного дерева, антикварные фарфоровые

статуэтки, картины по стенам, французский коньяк с лимоном и везде разбросаны пачки из-под импортных сигарет. Интеллигент всегда с небольшой бородкой, в очках, нервный, запутавшийся, оторвавшийся от трудового коллектива... Впрочем, нет, от коллектива обычно отрывались у нас слесари, токари и шоферы автобусных парков. У интеллигентов, приемщиц стеклотары, официантов, продавцов продуктовых и пролетитиуж промтоварных магазинов коллективы, конечно, были, но называть их трудовыми язык не поворачивался. Чуть не забыл – в творог для начинки ватрушек хорошо бы положить изюм и ванильный сахар. Так вот. Сосед убитого – добродушный скромный тихий бухгалтер фабрики цветных карандашей имени Сакко и Ванцетти. Ходит в полосатой шелковой пижаме и толстых очках. Вечно он или курит или сосет валидол. У него железные зубы и железное алиби. Он будет сначала свидетелем, потом подозреваемым, потом убийцей, а в самом конце окажется, что во время войны он оказался на оккупированной территории и окончил с отличием разведшколу Абвера. Там ему и вставили беспощадные к врагам рейха немецкие зубы. Найдут у убийцы в трубочке из-под валидола секретные инструкции от его новых заокеанских хозяев. И тут выяснится, что не валидол он сосал. Во втором антракте можно просто доесть остатки вчерашнего винегрета, выпить рюмку зубровки и снять шерстяные носки.

Или взять комедию из жизни провинциальной библиотечкарши, которая горит на работе, а дома живет на зарплату в девяносто рублей, воспитывает бездуховную дочь, которой только и подавай новые наряды. Или производственную драму о том, как молодому изобретателю не дают дорогу старые бюрократы и председатель профкома. Добро бы еще актеры играли плохо и не было бы никакого чувства неловкости за их идиотские и насквозь фальшивые советские слова вроде «Комсомольцы на своем собрании приняли решение считать стройку ударной!» или «Мы здесь, в тайге, не ради зарплаты строим целлюлозно-бумажный комбинат! Нельзя все мерить на рубль! Мы хотим, чтобы наши потомки в своем светлом коммунистическом будущем на белой бумаге...». Так нет же! Они играют слишком хорошо, и ты начинаешь...

Зимний день короток. Утром за чаем с оладьями и земляничным вареньем засмотришься в окно на то, как синички скандалят с воробьями, нахально влезшими в кормушку с семечками и... оглянуться не успеешь, как на дворе уже начинает темнеть, в хрустальном малиновом сиреновом небе нарисуеться бледная полупрозрачная луна, а на тонких ветвях березы, на голых кустах шиповника, на черных былинках пижмы и репейников повиснут крошечные сверкающие скрипичные ключики, которые, стоит только ветру подуть, начинают чуть слышно позвякивать и... ни стопки оладий, ни варенья, ни даже двух сарделек с зеленым горошком и квашеной капустой, а их, если честно, и к столу-то не подавали.

Темно-оранжевое солнце, облепленное обломками сухих веточек, чешуйками сосновой коры, мягкими зелеными иголками и комьями липкого снега, садится в овраг. Белоснежная бархатная тишина становится немного розовой, немного малиновой, немного алой и такой полной, что заползает всюду – даже в карманы тулупа. В такой тишине только стихи и сочинять, думаешь ты и тут же начинаешь изобретать легкие, невесомые рифмы к морозу, к солнцу, к чудесному дню, к сосновым иголкам, к алмазной пыли, висящей в воздухе, к лыжной прогулке, к цепочкам заячьих и мышиных следо...

На самом деле думаешь ты о том, что все люди как люди – полюбуются закатным солнцем, подумают про себя мороз и солнце день чудесный, или ель сквозь иней зеленеет, или даже маленькой елочке холодно зимой, сфотографируют умильную белочку или дятла и скорей поедут домой к теплым печкам и ноутбукам, чтобы пить горячий чай, редактировать в фотопше фотографии белочек и дятлов и хвастаться ими в социальных сетях, а ты как последний... будешь стоять посреди этой невозможной красоты и отгонять от головы мороз и солнце день чудесный, ель, которая зеленеет сквозь иней, белые звездочки в буране, сны, переполненные чем-то замужним

как вязким вареньем, чертову маленькую елочку, которой холодно зимой и мучительно придумать что-то, что отличалось хотя бы количеством белых звездочек в буране или сортом варенья ...

Или насочиняешь целый ворох самых разноцветных рифм, потом вычеркнешь из их списка, невесть как затесавшиеся туда два три бутерброда с копченой грудинкой и сливочным хреном, рюмку водки, селедочную икру, тарелку горячих щей из квашеной капусты, запеченную баранью ногу... посмотришь на то, что осталось, плюнешь проглотишь слюну, повернешь лыжи и поедешь домой так быстро, что обгонишь тех, кто едет редактировать в фоташопе фотографии белочек и дятлов.

Уезжаешь на край вселенной, а потом еще идешь на лыжах иходишь в лес, а лес входит в тебя. Птицы молчат. Никто не кричит истошно: «Аня, ты где?! Смотри какой дятел!» Не слышно фур и легковых машин, день и ночь шуршащих шипованными шинами по проходящему неподалеку шоссе. Не стреляют охотники. Не слышно ничего, кроме шороха падающего с ветвей снега. И шороха тоже не слышно. Только внутренним ухом можно услышать, как где-то на противоположном от тебя краю вселенной, чуть ли не на Марсе подывает ветру собака, как ветер поднимает в бледно-розовый углекислый воздух тучи истертого в пыль за сотни миллионов лет красного песка, как уперевшись в стенку кратера сломанным крылом солнечной батареи стоит и тихо жужжит сервомоторами марсоход, как конвульсивно дергается и не может провернуться его заднее левое колесо, как расплзается под ним по ржавой земле темное пятно от протекающего антифриза, как невообразимо далеко от него, в Пасадене, нажимает и нажимает в панике на все клавиши и щелкает всеми тумблерами оператор марсохода, не желая понимать, что его команды идут уже к мертвому...

Когда едешь зимним вечером в скором поезде по искрящимся под луной бескрайним снежным полям из Москвы или Костромы в Пермь или в Казань, не говоря о Томске или Красноярске, когда за окном проплывает в необъяснимой тоске замеченная снегом платформа под названием «Зеленый дол», или «Озерки», или просто «Семьсот пятый километр», а на ней подслеповатый фонарь, а в круге неверного, жидкого света под ним краснолицые мужики с рыбацкими ящиками, раздувшиеся от китайских пуховиков бабы, дети, закутанные до состояния колобков, свернувшийся калачиком на скамейке худой облезлый медведь с порванным ухом, прижимающий к себе поломанную балалайку, расчищающая фанерной лопатой снег старуха в оранжевой куртке и огромных валенках, когда в купе тепло, когда чайная ложечка тихонько позвякивает в стакане, когда в стакане коньяка куда больше, чем чая, когда убаюкивающе стучат колеса¹, то только об одном и мечтаешь – лишь бы поезд не останавливался до самого Рима или хотя бы до Вены.

¹ Нет, не так они стучат, как раньше, стучали. Оказывается, стыков на нынешних рельсах куда меньше, чем полвека назад, во времена моего детства. И бетонные шпалы, в отличие от деревянных, не пахнут креозотом. И титан, в котором кипятят воду для чая, не пахнет дымом и дальними странами, а в детстве, между прочим, дальними странами пахло даже от велосипеда или от болгарских марок. И нет маленьких картонных билетов с микроскопическими дырочками, и двух кусочков сахара-рафинада в бумажной обертке, на которой был нарисован поезд, летящий через поле с колосющейся пшеницей тоже нет*. Теперь сахар-песок набивают в бумажные трубочки безо всяких картинок. И никакой интернет в вагоне, и подвешенный к потолку купе телевизор, безостановочно показывающий комедии, и даже наклейка на зеркале двери купе «место для селфи» всего этого не заменят. Вот и выходит, что раньше не только вода была мокрее и трава зеленее, так еще и вагонные колеса стучали куда чаще.

* Картонные билеты и обертки от сахара я собирал и хранил в квадратной жестяной коробке из-под мятного зубного порошка «Жемчуг». Коробок и порошка тоже нет. Не говоря о детстве.

Зима пахнет выпавшим ночью снегом и печным дымом, сухим морозным шампанским воздухом, от которого щиплет в носу, разогретым березовым дегтем для смоления лыж, тестом для рулета с яблочным повидлом, но не с маком – и все потому, что яблочное повидло нужно куда-то девать, а то оно уже почти захватило погреб и вот-вот выберется в дом, сладковатой книжной пылью альманаха «Искатель» сорокалетней давности с космической ракетой на обложке и рассказами Гарднера или Хайнлайна о далеких планетах и о молодых бесстрашных звездолетчиках, которыми мы тогда были, высохшими мандариновыми шкурками, забытыми в кармане мехового жилета, лыжной мазью и просмоленными лыжами, на которые нужно встать и с удовольствием, с наслаждением даже, пробежать километров десять или хотя бы пять по сверкающему снежному полю, но... лень, ломкими заледеневшими простынями, наволочками и пододеяльниками в цветочек, когда они начинают оттаивать дома в тепле и пахнуть этими цветами, мокрыми валенками и рукавицами, сушащими... тьфу, сушащими... Нет, щами из квашеной капусты, горчицей, густо намазанной на ломтик ломоть соленого сала с чесноком, которое пахнет само по себе и которое лежит на горбушке бородинского хлеба, которая тоже умеет пахнуть и... нет, рюмкой водки зима не пахнет потому, что пахла ей вчера, а сегодня надо садиться за руль и ехать в город, чтобы завтра утром еще затемно втиснуться в переполненный вагон метро и к девяти быть на работе.

Небо ярко-синее, ветки яблони черные, с ярко-рыжими, бледно-желтыми и серо-зелеными пятнами лишайников, синички такие лимонно-желтые, что во рту появляется кислинка, если долго на них смотреть. Хочется взять акварельные краски и все это нарисовать легкими, как цветочное дыхание, мазками, а в углу картины пририсовать что-то такое... сиреневое с васильковым отливом или цвета глициний с арбузом или просто голубое и бархатное, но в крошечных и мохнатых серебристых мурашках – одним словом такое мечтательное, такое тонко щекочущее или свербящее... или свербительное... такое настроение, какое бывает в середине марта, когда охота к перемене мест бывает сильнее, чем неизвестно что, чем все что угодно, когда хочется уехать, улететь и уплыть за тридевять земель в дальние страны, чтобы там лежать на берегу моря и обгорать под тропическим солнцем, или, вцепившись обеими руками в хлипкую скамеечку, сидеть на идущем по душным, влажным джунглям слоне и бояться упасть, или, скрипя песком на зубах, укачиваться до тошноты на старом, протертом до дыр туристами, верблюде, или, обливаясь потом, таскать целый день в рюкзаке неподъемного и неизвестно зачем купленного каменного скарабея или Анубиса и мечтать о весенней прохладе и о той приятной кислинке, которую начинаешь чувствовать во рту, если долго смотреть на лимонно-желтых синичек.

...И вдруг оказывается, что можно просто стоять у окна с чашкой остывшего чая в руках и не отрываясь смотреть и полчаса и час на то, как два снегиря скачут по веткам рябины, как клюют глазуруванные льдом сморщенные красно-черные ягоды, как осыпается рыхлый снег с веток, и начинаешь про себя, про снегирей и рябину понимать такое, чего раньше... ну, не то чтобы совсем понимать, а начинать понимать или даже не понимать, а только догадываться, что пришла пора, когда вид двух скачущих по веткам рябины снегирей куда интереснее, чем многое из того, на что ты смотрел не отрываясь раньше, что только теперь... Короче говоря, начинаешь про себя, про снегирей и рябину внутри себя думать умное... Кончаются эти мысли тем, что раньше и снегиря были краснее и скакали быстрее лошадей, и ягоды рябины раза в три крупнее и в пять раз слаще, и снег осыпался так, что мог засыпать совсем, а теперь только по... подумаешь, подумаешь... допьешь остывший чай и пойдешь растапливать печку.

Ручка с открытым пером

Внутри своего письменного стола я залезаю редко. Он у меня, конечно, есть, и на нем стоит монитор от компьютера, лежат клавиатура и мышь на коврике. Я сижу за компьютером, вожу мышью по коврику и... все. Больше от моего письменного стола ничего мне не нужно. Время от времени я что-то в нем ищу и, не найдя нужного, выбрасываю старые счета, инструкции от давно отслуживших свое и выброшенных бытовых приборов вроде телевизора «Рекорд», лазерные диски, на которых можно было записать целых шестьсот мегабайт и даже переписать заново, расчески (его я пользовался в последний раз лет двадцать назад), старинные, конца прошлого века, компьютерные кабели, соединяющие... Теперь уже и не вспомнить, что соединяющие. Теперь так не соединяют. Теперь и вообще соединяют вовсе не то, что соединяли раньше.

Впрочем, в ящиках есть вещи, которые я, наверное, не выброшу никогда. Взять, к примеру, курительную трубку, которую я не курю уже лет восемь, а она все еще немного пахнет датским трубочным табаком Mac Vagen. Тут бы конечно рассказать какую-нибудь красивую историю, связанную с этой трубкой, вроде тех, которые рассказывал Эренбург в своих «Тринадцати трубках», но такой истории у меня нет. Трубку я стал курить лет двадцать назад, чтобы меньше курить сигарет, а сигареты стал курить еще студентом, для того, чтобы казаться окружающим и самому себе глубокомысленнее, солиднее, нравиться девушкам и... Для того, чтобы нравиться девушкам, я еще и стихи начал писать. От вредной привычки курить через тридцать с лишним лет я все же смог избавиться, а вот со стихами все наоборот – не я бросил их писать, а они меня бросили и теперь пишутся у кого-нибудь еще.

Подставка для чтения бумажных книг, которых я теперь почти и не читаю. Все или почти все бумажные книги мне заменил планшет. Привезенную из Торжка, вышитую золотыми нитками по синему бархату книжную закладку он тоже заменил. Не то чтобы я скучал по бумажным книгам и бархатным закладкам, но... Хотя и говорю всем, что электронные книги куда удобнее бумажных. Они и правда удобнее – ничего не весят, в моем планшете их больше сотни, их даже листать можно как бумажные – с бумажным шорохом, который генерирует какая-то специальная программа, но шорох этот мне напоминает вкус ячменного кофе, который вместо настоящего пила моя бабушка, когда ей врачи запретили пить настоящий. Или так, как электронные письма напоминают настоящие – те, которые приходили в бумажных конвертах, с наклеенными марками. Я эти марки потом отпаривал и держал в специальном альбоме для марок. Как раз в том же ящике, что и подставка для книг, лежит конверт с письмом одной старушки из деревни Бабаево Угличского района. Ехали мы как-то раз с женой из Углича и подобрали ее на остановке. Старушка, которой было уже за восемьдесят, возвращалась из городской поликлиники к себе домой, в полузаброшенную деревню. Там кроме нее жило еще человек шесть – таких же стариков и старух. Летом жителей прибавлялось за счет дачников, а зимой... Она в этой деревне почти всю жизнь прожила. Ни семьи, ни детей у нее не было, и когда ей предложили переехать в дом престарелых в Угличе – согласилась не раздумывая. Недолго она там находилась – чуть больше года. Не понравилось ей. То есть ей бы понравилось, кабы любила она пить водку и с такими же, как она, стариками черт знает чем занима... Даже и сказать вслух неприлично. Она была верующей старушкой строгих нравов, и водки, особенно вместе с черт знает чем и черт знает с кем, мягко говоря, не любила. Даже терпеть не могла. Потому в одно прекрасное утро собрала свои нехитрые пожитки, села на попутку и вернулась в свое полузаброшенное Бабаево. Вернуться ее никто не уговаривал. Подвезли мы ее, а сами поехали домой, в Москву. Стал я дома выгружать вещи и нашел на полу машины вставную челюсть нашей попутчицы. Уж как она ее выронила... Скорее всего, была эта челюсть у нее запасной, поскольку разговаривала она с нами не так, как говорит человек без зубов. Справедливо рассудив, что в деревне Бабаево угличского района живут всего семь человек и почтальон, который приходит к ним с пенсией, письмами и газетами, знает всех, а у почтового отделения, к которому он приписан, есть телефон, а номер телефона можно найти в сети... Оказалось, что это была не просто запасная, а почти новая челюсть, которую наша старушка берегла на

похороны. Носить ее было не очень удобно, поскольку в Угличе стоматологи... Нет, они, может, и хорошие, но эта челюсть им не удалась. Везла ее старушка подпиливать и потому держала в кармане. Для этой жизни у нее была другая, не самая красивая, но к ней она уже притерпелась, а для той жизни ей хотелось новую, в которой не стыдно будет и в гробу лежать. Не стыдно перед теми шестью стариками и старухами, которые останутся после нее в деревне Бабаево.

Рядом с письмом лежит чудом сохранившийся старый деревянный пенал. Ему уже за пятьдесят. Самый обычный советский школьный пенал из многослойной фанеры. У моего соседа по парте Костика пенал был пластмассовый, красный. На внутренней стороне его крышки был циферблат, по которому можно было двигать стрелки пальцем, и крошечные счеты с белыми и черными колесиками. Костик все время хвастался своим пеналом. Мало того, он еще и все время сравнивал свой пенал с моим, и на фоне его пенала мой пенал, да и я сам... Короче говоря, однажды я не выдержал и треснул его по голове своим простым деревянным пеналом. Не изо всех сил, а только чтобы он замолчал. Костик же ударил меня своим так сильно, что его пенал треснул в самом прямом смысле этого слова, а белые и черные колесики счет разлетелись по полу. Девочка Валя, в которую я был тайно влюблен, засмеялась, а Костик заплакал и пошел рассказывать нашей классной руководительнице Елене Владимировне, что из-за меня и моей дурацкой головы он лишился пенала. Я бы, может, тоже заплакал и ударил бы Костьку своим пеналом еще раз, но... девочка Валя засмеялась. У нее была толстая, пшеничного цвета коса, и она сама была такая пухлая и такая пшеничная... Не мог я заплакать. Не мог и все.

Пенал изрисован еще чернильной ручкой. Я почти не застал чернильниц в первом классе – началась эпоха авторучек. Тех, которые с открытым или закрытым пером, с поршнем или по-проще, с пипеткой. У меня была простая – с открытым пером и пипеткой. Копеек шестьдесят она, кажется, стоила. Черт меня дернул положить ее в карман форменных брюк и бежать на перемене до упаду. Тут это чудо техники и сломалось. Чернила, натурально, вылились в карман и далее везде. Дома я штаны снял и пятно пытался замыть. Размазал. По трусам и вообще... по частям тела – по ноге и по разному... Разное ну никак не отмывалось. Чернила в нашем детстве были какой-то особенной стойкости. Сейчас таких ни за какие деньги не купишь. В разгар моих помывочных усилий в ванную комнату зашел папа. Посмотрел на меня, на уже светло-фиолетовое разное, и спросил, чем я в школе сегодня писал. Любят родители задавать дурацкие вопросы детям.

Внутри пенала лежит шариковая авторучка в виде большого хромированного гвоздя. Такие гвозди делали на папином заводе умельцы. У моего соседа по парте была ручка в виде отбойного молотка, и я ему страшно завидовал. Его папа был токарем и мог выточить все, что хочешь, а мой папа был заведующим центральной заводской лабораторией, токарного станка у него не было, и поэтому мне пришлось выменять пишущий гвоздь на значок с ракетным крейсером. На заводе наших пап делали радиолокационные антенны для этого крейсера, и моему папе кто-то из моряков подарил такой значок. Кстати, о заводе. Неподалеку от него была свалка, куда всегда выбрасывали бракованные радиодетали, испорченные печатные платы и толстые электрические жгуты, сплетенные из десятков тонких разноцветных проводков. Девочки из этих проволоочек плели разноцветные браслеты и колечки. Одна девочка сплела мне колечко из зеленого провода. Это была не Валя. Если бы я мог вспомнить кто...

Набор плакатных перьев, которым я не пользовался с пятого класса средней школы. С тех самых пор, как был редактором нашей классной стенгазеты. Перья уже и ржаветь понемногу начали. Еще видны на них разноцветные следы засохшей гуаши. Такими перьями мы писали заголовки: «Они тянут наш класс назад» или «Равнение на правофланговых» или «Навстречу Октябрю»... нет, не просто «Октябрю», а «Великому». Такие слова писали большими и толстыми красными буквами без завитушек. Зато заголовки к новогодней стенгазете можно было писать буквами любого цвета с любыми завитушками. После того как гуашь на буквах высыхала, брали елочный шарик, разбивали его на мелкие сверкающие осколки и посыпали ими буквы, которые предварительно мазали прозрачным канцелярским клеем. Получалось нарядно и празднично.

Вот лежит в углу ящика под ворохом пожелтевших поздравительных открыток старая черно-белая фотография, где мы с папой на демонстрации. Судя по голым веткам – седьмое ноября. Почему-то об этом дне остались только дошкольные воспоминания. Мама-милиционер уходила рано, чтобы быть «в усилении», охранять общественное спокойствие в этот праздничный день. А мы с папой к половине девятого выдвигались к проходной его завода. У проходной уже кучковался народ. Ветеранам труда выдавали красные нагрудные ленты, на которых золотыми буквами было написано «Ветеран труда». Им предстояло идти в голове колонны. Всем остальным вручали красные банты, флаги, портреты вождей и огромные, через всю колонну транспаранты, которые несли два человека. Банты, маленькие детские красные флажки и воздушные шарик в вручались легко, а вот портреты, флаги и транспаранты... Народ тщательно обходил грузовик с открытыми бортами, на котором были свалены предметы тогдашнего нашего культа. Некоторые вообще прятались по углам, чтобы в последний момент пристроиться в хвост колонне и первыми ее покинуть. Представители профкома, парткома, месткома и дирекции завода шли на разные хитрости. Применяли индивидуальный подход. В нашем с папой случае индивидуальный подход состоял в следующем: кто-то из профкома, месткома или парткома подзывал ребенка, то есть меня, для вручения флажка, шариков и банта. Я, естественно, радостно бежал получать. И в конце вручения дядя из парткома, профкома или месткома тихонько шептал мне на ухо, доставая из-за спины портрет на палочке, или транспарант: «Мишка, пойдй, отдай папе. Вместе понесете». Папа свирепел. Требовал оставить ребенка в покое. Представители администрации смеялись. Взывали к папиной сознательности. Печально разводили руками и говорили отцу: «Борь, ну ты ж сам видишь, сколько этой... ну, то есть наглядной агитации надо еще раздать. Не лезь в бутылку». Папа не лез. Он вообще не пил. Поэтому праздник переносил тяжелее, чем те, которые уже с утра в нее залезали и там отсиживались до такого состояния, что не могли вылезти без посторонней помощи. Однако вернемся к флагам и портретам. Однажды нам с папой вручили немаленький флаг. Папа его мужественно нес, пока я не устал. Мне тогда было лет пять или шесть, и всю дорогу – от завода до трибун на центральной площади Серпухова – я осилить не мог. Тащить флаг и меня папе не хотелось. Недолго думая, папа выбрал меня. А флаг он собрался потихоньку бросить в придорожные кусты и со мной подмышкой исчезнуть в ближайшей подворотне. Такой у него был нехитрый план. Но бросить флаг я не дал. Вцепился в древко и не отпускал, норовя зареветь.... Короче говоря, домой мы явились под красным флагом. По телевизору показывали колонны демонстрантов, идущих по Красной площади. Я пару раз прошелся по комнате с флагом, держа равнение на мавзолей, но задел люстру и был наказан. Потом мы вместе с флагом постояли некоторое время в углу, потом он, уже без меня, стоял в углу и пылился. Потом... мама отодрала от него полотнище, а папа укоротил древко и приделал щетку, чтобы мести полы. Она служила нам несколько лет, пока совсем не облысела.

Еще есть пустая картонная папка с одной тесемкой, еще папин отрывной блокнот участника заводской профсоюзной конференции, в котором я рисовал танки, корабли и одну девочку за то, что она обзывалась словами (я их очень маленькими буквами написал возле ее рта, но влетело мне за них как за большие), еще несколько пожелтевших оттисков моей статьи в журнал «Био-органическая химия», еще... прошедшее время, которому нет места даже в настоящем, не говоря о будущем. Его потом, конечно, сгребут в большой пластиковый мешок и выбросят в мусорный контейнер, но пока оно еще со мной. Или я с ним. Время от времени.

Дмитрий КУЗЬМИН

ДРУГИЕ

Поэзия Украины сегодня

В известной степени, конечно, тот напряжённый интерес, с которым российское поэтическое сообщество относится сегодня к поэзии Украины, – интерес, масштабы которого читательская аудитория может оценить лишь отчасти, ввиду малочисленности и/или труднодоступности изданий, на страницы которых он может выплеснуться, – основан на ошибке. Украина и Россия – разве это не самые близкие друг к другу страны и культуры, разве не общая у них историческая судьба, разве не видим мы в лице украинских коллег как бы альтернативную версию самих себя? И особенно теперь, когда поэтическое помножилось на политическое, так велик полусознанный соблазн увидеть в Украине ту иную Россию, в которой граждане (и поэты в их числе) «смели выйти на площадь в тот назначенный час».

На самом деле нет. Это совсем другая страна, и это совсем другая поэтическая традиция. В ней жива так или иначе историческая память регионов, и Львов действительно, как образом жизни, так и способами письма, отличается от Харькова (а отличия Владивостока от Калининграда желающим приходится годами изобретать и внедрять, с переменным успехом). В ней все советские годы прессовали гораздо жёстче, чем в метрополии, так что ключевые авторы межвоенной эпохи пошли под расстрел практически в полном составе, а крупнейший послевоенный поэт Василий Стус погиб в лагере в 1985-м. Зато послевоенная поэзия диаспоры (аналог русской «второй эмиграции», довольно вялой и консервативной) оказалась необыкновенно мощной, мгновенно реагирующей на актуальные сдвиги мирового контекста и способной долгосрочно и эффективно влиять на постсоветский литературный ландшафт, так что и по сей день здравствующие на девятом десятке Эмма Андиевская и Юрий Тарнавский воспринимаются как живые и значимые фигуры текущего литературного процесса.

Красный пепел переходов,
Часовые там с лазурными бородами.
Жесть в глазах, жесть в еде,
Жесть в вере.
Ничто не спасёт человека,
Лагерем вставшего в ветре.

Эмма Андиевская, перевод Дмитрия Кузьмина

Вместе с тем новейшая украинская поэзия очень молодая, и в этом тоже её отличие. Не то чтобы в Украине было больше ярких молодых авторов, чем в России, – но роли между поколениями распределены иначе, и вот уже по меньшей мере два десятка лет тон в национальном контексте определенно задают младшие. Мне уже приходилось когда-то писать о поразительном эффекте крупнейшего украинского литературного фестиваля, проходящего в рамках Львовского

форума издателей: с тех пор, как в 2009 году пост его программного директора занял 18-летний поэт Григорий Семенчук, год за годом я вижу, как литературная молодёжь не просто выступает сама перед аудиторией студентов-сверстников, но приводит в неё своих старших коллег, недобитых диссидентов 1970-х, пропагандируя и разъясняя их творческие стратегии, – а ведь именно так, через продвижение младшими старших, работает в искусстве механизм преемственности (русская культура до последнего продолжает держаться за обратную, патерналистскую модель преемственности: старшие благословляют младших, – впрочем, в поэзии она в последние годы как будто окончательно показала свою несостоятельность).

Даже вакансии первого поэта страны (есть мнение, что и прозаика тоже) вот уже по меньшей мере лет десять занята в Украине Сергеем Жаданом, которому сейчас всего-то 45 лет. Разумеется, в ситуации постмодерной культурной многоукладности сама эта вакансия выглядит подозрительно – но украинское положение тут особое, потому что страна и народ лишь сейчас, по сути, переживают период национального становления, и сквозь узнаваемые приметы современности в украинском обществе, а за ним и в украинской поэзии, просвечивают смысловые конфигурации рубежа XVIII-XIX столетий, связанные с оформлением национального самосознания и его культурных героев. О Жадане много пишут (в самое последнее время – ведущие российские критики: Марк Липовецкий, Илья Кукулин, Александр Марков) как о неоромантике, и преимущественным его жанром на протяжении многих лет была баллада – со всеми жанровыми свойствами в духе Шиллера или Вальтера Скотта: экстремальной ситуацией в основе сюжета, вторжением смерти или потустороннего начала в развязке, повторами в композиции и т. д., но в то же время с постмодерным персонажем в центре, новейшим трикстером, превращающим трагедию в фарс, а фарс в трагедию.

И вот ты идёшь себе,
глядя,
как над
трамвайными проводами
поднимаются инкассаторские души, и всё, чего тебе хочется, –
это просто нормально потрахаться, хоть раз, хоть раз в жизни,
даже чёрт с ними – с социальными гарантиями,
чёрт с ней – с работой,
хоть раз, хоть абы с кем!
И тут вдруг тебе к ногам
начинают выбрасывать тела молодых биатлонистов,
и у каждого из них на груди лейбл адидаса,
как простреленное сердце, так, словно эта команда биатлонистов
попала под перекрёстный огонь своего дубля.

Перевод Игоря Белова

Это очень молодое, очень «горячее» письмо, в его тяготении к криминальным контекстам есть что-то от рэпа – исконного, афроамериканского, нацеленного на легитимацию миноритарной культуры, и характерно, что Жадан вырос и сформировался на востоке Украины, где при всём богатстве локальной традиции украинская идентичность прочитывалась как миноритарная, вынужденная каждодневно бороться за место под солнцем.

Разумеется, в действительности пространство украинской поэзии XXI века многополярно, и у Жадана в нём с самого начала был противовес – львовянин Остап Сливинский, рафинированный и герметичный центральноевропейский автор. Можно видеть в этой паре своего рода реинкарнацию, повторение расклада без малого столетней давности, когда ещё советский Харьков был

вотчиной неистового авангардиста Михайля Семенко (Жадан написал о нём диссертацию, а потом сыграл его роль в фильме Олеся Санина «Поводырь»), а ещё польский Львов – домом утончённого модерниста Богдана-Игоря Антонича (Сливинский писал о нём статьи и получил названную его именем премию). Расхождения между Жаданом и Сливинским особенно рельефны на фоне важного сходства. Оба поэта видят свою задачу в том, чтобы не только сказать самому, но и предоставить голос другим (и здесь гражданское чувство эпохи национального строительства, концепт поэта как голоса нации смыкается с актуальным на нынешнем витке постмодерна вопросом про *underrepresented voices* и то, кому и как может быть делегировано их высказывание). Но у Жадана эти голоса всегда были встроены в нарратив, объявляли себя в рамках отчётливой пограничной ситуации, – тогда как у Сливинского сплошь и рядом лишь название текста указывает на фигуру говорящего (словно бы заключая всё стихотворение в кавычки как прямую речь), контекст высказывания в большинстве случаев не подлежит восстановлению, и всё дело в том, что именно в этом речевом фрагменте частный голос достигает своего общезначимого акме.

«Царство небесное, – говорит Тимур, –
оно – словно озеро. Входя, взбиваем
пятками муть со дна и долго, долго
ничего не видим. А сами –
как на ладони, обиженные и растерянные.
Это последняя наша попытка, оттуда ещё
могут отправить назад.
Может, мы именно здесь?»

Перевод Дмитрия Кузьмина

Отсюда, помимо прочего, компактность стихов Сливинского, тяготение его верлибров к отточенно-напряжённой ритмике – в противовес Жадану, чей свободный стих подчас погинзберговски просторен, но по соседству с ним легко возникает рифмованный дольник, не стесняющийся отсылки к Эдуарду Багрицкому (который, наоборот, в русском стихе первым всерьёз экспериментировал с украинским влиянием, в том числе просодическим).

Вокруг оси Жадан–Сливинский, по сути, сложилось следующее поколение украинской поэзии – «двухтысячники», как их принято называть, авторы 1980-х годов рождения. Олег Коцарев, Павел Коробчук, Богдан-Олег Горобчук, Юрий Завадский и другие сформировали поколенческое койне – на удивление энергичное и, я бы сказал, жизнеутверждающее. Отчасти это снова действие внелитературного фактора: Оранжевую революцию 2004-2005 годов вряд ли можно считать успешной в политическом и экономическом смысле, но она оказалась мощнейшим стимулятором социокультурной активности молодёжи, которая поверила, что действительно может что-то изменить. Дополнительно эта активность была подогрета особенностью украинской литературной жизни: в отличие от России, литературные журналы (ни печатные, ни самиздатские) никогда не играли в ней центральной роли, но в XXI веке соответствующую российским журналам миссию формирования общего для всех контекста взяли на себя (наблюдение Марианны Кияновской, поэта и переводчика русской поэзии) поэтические фестивали. Двадцатилетние поэты свободно перемещались по стране (ещё одно важное отличие Украины от России: страна меньше, а культурная жизнь куда менее централизована, и молодые авторы из Житомира или Сум легко попадают на фестиваль в Тернополь или Луцк), на каждом новом ивенте пересобираясь, как в калейдоскопе, – и это даже в большей степени, чем экспансия литературной жизни в Интернет, привело к усилению внутр поколенческих взаимовлияний. Разумеется, индивидуальные стратегии никто не отменял, и лёгкую самоиронию Коцарева не спутаешь с агрессивной, панковской подачей Завадского, но точкой сборки для поколения «двухтысячников» стало ощущение гармонической

связности мироздания, в которой отдельному человеку так или иначе есть место и в жизни, и в смерти (ощущение, знакомое русскому читателю по стихам Андрея Сен-Сенькова и Фёдора Сваровского, с годами выражающих его всё осторожней и осторожней):

если мы умрём то лишь от глубокой глубокой молодости
какой-то всемирно известный баритон высосет наши сочные белки
мы дети мы родились и ещё некоторое время не будем умирать
и после смерти подпольные верстальщики
укроют наши тела веснушками
или шахидским динамитом
или антистрессовым гелем после бритья

Павло Коробчук, перевод Фридриха Чернышёва

А потом началась война.

Необычайно аскетичным, будто рисунок углём после всей прежней колористической роскоши, циклом «Почему меня нет в социальных сетях» откликнулся на вторжение 2014 года Жадан: это истории жертв – убитых, раненных, изгнанных, и от трагедии отпала фарсовая подкладка. Но это была только первая реакция: последующие циклы и книги Жадана развернулись в другую сторону. Потому что только в стрессовых для современного общества условиях у поэта появляется возможность говорить не только от имени тех, кто обычно лишён права голоса, – но и напрямую с ними, а значит – на понятном для них художественном языке.

Ей пятнадцать, и она у вокзала торгует цветами.
За шахтами воздух густой от жары, и ягодный запах.
Поезда, замерев на миг, уплывают, вильнув хвостами.
Военные движутся на Восток, военные едут на Запад.

Никто не сойдёт в этом городе – много чести.
Никто не хочет её захватить с собою.
И в ней весь день, пока она топчется на рабочем месте,
бродит мысль о том, что и эта земля может быть желанной и дорогой.

<...>

Никто ей не объясняет, в чём тут причина.
Никто не приносит цветы на могилу её старшего брата.
Сквозь сон слышно, как в темноте вытягивается и крепнет отчизна,
словно позвоночник у подростка из интерната.

Крепнут свет и тьма, чередуясь, смыкаясь, зрея.
Вслед за летней жарой мороз плывёт по равнине.
Всё, что с ними со всеми сейчас происходит, – и есть время.
Нужно только понять, что оно происходит именно с ними.

Перевод Дмитрия Кузьмина

Изменения в поэтике Сливинского увидеть труднее – но его новым стихам, осмысляющим место человека в безвозвратно разрушенном войной миропорядке, предшествовали почти пол-

года молчания. Новые имена, прогремевшие в первые военные годы, предсказуемо оказались связаны с новой реальностью – но поэма Любви Якимчук «Абрикосы Донбасса» (с эпиграфом: «Там, где не растут абрикосы, начинается Россия») начата была еще в 2012-м, и первую публикацию её отрывков в своём блоге Якимчук предварила кратким предисловием, начинавшимся фразой: «В последние годы идёт битва за Донбасс». И военную тему в стихах Коцарева тоже можно проследить в довоенное время, вплоть до стихотворения 2006 года с начальными строчками: «Нарядная крымская студентка / заверила: / “Тут у нас кончится войной”». Но это всё лишь одна сторона медали.

В канун войны и в разгар её на сцену вышло новое литературное поколение – 1990-х годов рождения. Их реакция на вызов времени оказалась не вполне тривиальной. Нет, пока речь идёт о гражданской позиции в чистом виде – тут всё предсказуемо, и в молодых авторах для участия в организуемых Жаданом поэтических десантах на освобождённые донецкие и луганские земли нет недостатка. Но в стихах лидеров поколения – Лесика Панасюка, Мирослава Лаюка, Михайла Жаржайло – войны, как правило, впрямую нет. В них много апелляций к мифам и архетипам, много любовных сюжетов, разворачивающихся в антураже дикой природы, и эта поэзия казалась бы эскапистской, если бы в ней не доминировало переживание зыбкости, угрожаемости всякой отдельной жизни и мироздания целиком.

Бобры нас подгрызли и запрудили речку
покорно лежим под водой поднимаем уровень
замедляем течение

А сколько б из нас можно было бы сделать инструментов тепла

Теперь только слушать прозрачную тонкую дудочку горизонта
бубен солнца с золотыми колокольцами

Лесик Панасюк, перевод Дмитрия Кузьмина

Это, конечно, далеко не только частный опыт молодости, сочетающий очарование жизнью с неуверенностью в ней, – это опыт страны, в которой тлеющий окраинный военный конфликт, репрессии на отторгнутых территориях, расселившиеся по городам и весям беженцы существуют как бы в фоновом режиме, почти не трансформируя мирной повседневности, но придавая ей явственный лишь для наиболее чутких граждан привкус иллюзорности, неподлинности – от которой напрашивается обращение к наивозможно стабильным, архетипическим основаниям. Но и для авторов, склонных напрямую говорить в стихах о бытии как катастрофе, будь то тяготеющая к фольклорному материалу Елена Герасимьюк или отталкивающийся от целановской эллиптичности Олег Богун, окружающая их непосредственная реальность находится вне поля зрения (при том, что в свободное от поэзии время Герасимьюк, например, входила в команду создателей документального фильма об украинских женщинах, сражающихся на нынешней войне). Кажется, единственное заметное исключение из общего правила – киевский поэт Игорь Митров, выросший в Крыму и ещё школьником изгнанный отцом из дому за переход на украинский язык:

раскалённый берег глотает волна
ветры гудят в вершинах кавказа
из чрева твоего вылезает война
засевает край военными базами

лучше меда не жди меня нет
оставь для ребёнка всю свою нежность
колхида в огне
украина в огне
и муж твой меда
– беженец

Перевод Дмитрия Кузьмина

У этого квазиэскапистского подхода в национальной поэзии давняя традиция: такой способ протеста выбирали важнейшие авторы позднесоветской эпохи, от Тараса Мельничука до Михайла Григорива. И всё же эта невыработанность поэтического языка для разговора о сегодняшнем дне может удивлять, особенно на фоне его выработанности у российских авторов этого же поколения, у Галины Рымбу или Оксаны Васякиной, если вести речь о гражданском высказывании (но в той же мере и у Кузмы Коблова или Дмитрия Герчикова, занятых преимущественно критикой дискурса). Однако сравнение упускает из виду суть дела, потому что современная русская поэзия вырабатывала опыт осмысления масштабной коллективной травмы на протяжении по меньшей мере двух десятилетий, в течение которых страна постепенно вползала в термидор, так что украинские сверстники Рымбу и Васякиной не имеют перед глазами прецедентных текстов Кирилла Медведева, Станислава Львовского и других важнейших поэтов 2000-х.

Впрочем, некоторые имеют – потому что в Украине пишут и на русском. И в этой области последние годы принесли весьма значительный сдвиг. Русская поэзия Украины дала за 25 постсоветских лет немало значительных имён – но все они, от Бориса Херсонского и Александра Кабанова до Ильи Риссенберга и Андрея Полякова, никак не были творчески связаны с украинской поэзией, встраиваясь исключительно в задаваемый Москвой и Петербургом контекст. Русские поэты могли дружить с украинскими, а Кабанов даже организовывать масштабный двуязычный поэтический фестиваль «Киевские лавры» (в составе которого, однако, русская и украинская программы в значительной степени проходили отдельно), но это взаимодействие никак не затрагивало их письма (исключением в начале нового века стала харьковчанка Анастасия Афанасьева, но и тут речь шла, скорее, о конвергенции, близости эстетических ориентиров у определённой группы московских молодых поэтов, к которой примыкала Афанасьева, и украинских «двухтысячников»). И лишь радикальный сдвиг в общественном сознании после Майдана вывел на авансцену русского литературного процесса в Украине новые фигуры и новые тенденции.

В поэзии Украины стало больше двуязычия. В 2000-е годы, пожалуй, только Дмитрий Лазуткин стабильно писал и публиковался как по-украински, так и по-русски (в том числе с оригинальными авторскими версиями одного и того же стихотворения на двух языках). Во второй половине 2010-х были опробованы самые разные варианты поэтического билингвизма, затронувшие даже старшее поколение авторов: Херсонский стал активно переводить на украинский собственные стихи, в текстах Риссенберга на фоне нарастающей языковой усложнённости пласт архаической лексики (и её имитаций) заметно пополнился украинизмами (политическая заострённость этого довольно эзотерического идиолекта, работа Риссенберга с текущими, особенно фронтовыми, новостными поводами заслуживают особого разговора). В поэзии львовянина Сергея Муштатова, не скрывающего своих футуристических и дадаистских ориентиров, украиноязычные фрагменты, от отдельных словосочетаний до нескольких последовательных фраз, оказываются инкрустированы в русский текст, выполняя острающую функцию и придавая стихотворению полифоническую объёмность. Авторы очень разного устройства, от Максима Бородина до Ии Кива, ранее получивших известность стихами на русском языке, начали отдельно публиковать тексты, написанные по-украински; кое-кто и полностью, как Анна Гру-

вер, перешёл на него (большой резонанс, разумеется, произвёл отказ от русского языка ведущего донецкого прозаика и поэта Владимира Рафеенко, но по-украински он вроде бы пока пишет только прозу). Особенный интерес вызывает случай Александра Авербуха, уроженца Луганской области, в юношеские годы перебравшегося в Израиль, а в настоящее время живущего в Канаде: его обращение к украиноязычной лирической миниатюре проходило параллельно с уходом из русской лирики в документальную поэзию, основанную на архивных дневниках и письмах середины XX века (также зачастую двуязычных, сталкивающих русский язык с немецким, идишем и др.). Постепенно стали расти ряды переводчиков – и с украинского на русский (хотя непосредственно в Украине это не так распространено, но Станислав Бельский ведёт весьма обширную работу), и с русского на украинский (хотя публиковать такие переводы особо негде). Наконец, в самое последнее время внимание к билингвальности в поэзии Украины было привлечено в связи с присуждением в нынешнем году премии имени Аркадия Драгомощенко, наиболее заметной российской награды для молодых поэтов, львовянину Даниилу Задорожному – который в равной мере пишет на двух языках и признаётся в равной любви к Мандельштаму и Стусу, Бродскому и Жадану (примечательная пара!), но по сути построил свою поэтику на надъязыковых принципах и называет среди наиболее повлиявших на него авторов Витгенштейна и Делёза.

Знаменосцами новой стратегии в русской поэзии Украины стала группа поэтов, объединившихся вокруг издательского проекта «Лоция» и ежегодного фестиваля «Киевская неделя поэзии» (куратор Дмитрий Казаков). Принадлежность двум культурам принципиальна для этого круга: недаром в 2017 г. «Лоция» одновременно выпустила юбилейное издание Михайля Семенко и дебютный сборник русского поэта из Львова Яниса Синайко. Двуязычна и начатая «Лоцией» в том же году ежемесячная поэтическая газета «Листок». Из основных поэтов «Лоции» последовательно пишет на двух языках только киевлянин Антон Полунин – и его тексты на русском и украинском показательно различаются. В русских стихах Полунина гораздо больше гражданского пафоса и урбанистических мотивов, но зато в украинских стихах хорошо видны конструктивные элементы (слова, тропы, созвучия, параллелизмы), которые как бы не позволили этим текстам сбыться по-русски. Например, формула «Батьківщина це рідина» (Родина это жидкость) в украинском тексте поддержана общностью суффикса, а в билингвальном языковом сознании за украинским словом «рідина» на письме (в произнесении будет мешать расхождение ударений) просвечивает межъязыковой пароним – русское «родина» (украинской букве «і» в большинстве случаев соответствует в родственных русских словах «о»).

Другие поэты «Лоции» пишут только по-русски (впрочем, в группе совсем юных и многообещающих примерно 18-летних авторов, сложившейся в Николаеве вокруг Евгения Пивня, – сразу двое из них составили в этом году компанию Задорожному в длинном списке Премии Драгомощенко, – есть и двуязычные). Все они включены так или иначе в общее поле русской поэзии: публикуются в российских изданиях (при условии их идейной и политической независимости), участвуют в творческом диалоге с русскими поэтами из других стран. Любопытно наблюдать, например, как Дмитрий Билько из Крыма в своих новейших стихах опирается на опыт Кирилла Корчагина, поставившего целую армию лексических, риторических, просодических средств на службу машине письма, производящей дискурс разрыва и пустоты из переполненности мира предметами и понятиями, или как в стихах другого крымского автора, Ярослава Голованя, преломляется манера Станислава Львовского эпохи «Стихов о Родине», с присущими этой книге стическими интонациями и особым ракурсом взгляда, обнаруживающим трагическую подкладку у тривиальных казусов быта вроде поездки в маршрутке и похода в магазин. И вместе с тем нельзя не заметить, что и с новейшей украинской традицией все эти авторы связаны множеством нитей. И когда стилизованный наивный субъект в поэзии ещё одного крымского автора, Дмитрия Аверьянова, встраивается в логику развития такого типа субъекта от Ольги Зондберг к Василию Бородину, то на выходе сплошь и рядом слышатся характерные интонации Коцарева или Короб-

чука, острающих повседневную жизнь городской окраины элементами бытовой магии и волшебной сказки:

заходит живой человек,
стоит за мной в очереди,
кладёт деньги на блюдечко и говорит что-то,
и, пока продавщица уходит в подсобку, –
он тянется к живым бутылкам;
а она ему приносит его бутылку, самую живую

Этот принцип двойного контекста, включённости русских поэтов Украины как в единое поле всемирной русской поэзии, так и в национальное поэтическое пространство, определяемое в первую очередь украинской поэзией, представляет собой и проблему, и возможность. С одной стороны, чаемое единство двуязычной национальной культуры остаётся гадательным, особенно в условиях не просматривающегося разрешения военно-политических катаклизмов, в которые вовлечена страна. С другой стороны, выгораживание из русской поэзии некоторого сегмента, имеющего основания для автономного развития, видится весьма интригующей перспективой, особенно в свете неоднократных попыток такого выгораживания без существенных оснований (вспомнить хотя бы неоднократно умиравшие и возрождавшиеся разговоры об особой уральской или сибирской поэзии – хотя уральские метапоэтические концепты Виталия Кальпиди к этому и не сводятся). Авторы круга «Лоции» не раз выступали инициаторами публичных дебатов на эту тему (последнейшие – на Киевской неделе поэзии 2017 года), и дискуссия неизменно упиралась в понимание того, что отдельная русская литература Украины требует отдельной институционализации. Мне, однако, вспоминается один из предыдущих диспутов этого рода (несколькими годами раньше на фестивале «Киевские лавры»), в ходе которого никому ещё тогда не известный Фридрих Чернышёв – задолго до имевшего в январе 2018 года мировой резонанс интервью наиболее известного русскоязычного прозаика Украины Андрея Куркова с той же идеей, – заявил о необходимости отобрать у бывшей метрополии монополию языкового нормотворчества: отчего, вопрошал Чернышёв, московские издания считают возможным указывать мне на то, что в русском языке нет слова «ставок» (пруд)? В их московском русском языке, возможно, нет, но в русском языке Украины – есть.

Я не убеждён, что таких языковых отличий наберется достаточно для того, чтобы затевать-ся в Украине с особой русской языковой нормой. Но к портрету Чернышёва, из всего круга «Лоции» наименее (несмотря на многочисленные выполненные им переводы Сливинского, Коробчука и других украинских поэтов на русский язык) вовлечённого в русско-украинский контекстуальный дуализм, это вполне характерный штрих. Хотя бы потому, что экспроприация нормы, пусть и не языковой, представляет собой лейтмотив и сверхзадачу его поэзии. Квир-поэзия Чернышёва вертится вокруг вопроса о возможности и необходимости отмены самой парадигмы, в рамках которой людей уместно классифицировать по объекту и структуре их желания. Удержание этой парадигмы Чернышёв приравнивает к сохранению гетто для всех носителей гендерной (и, расширительно, любой другой) неконформности; разрушение же парадигмы не означает, разумеется, ни счастья, ни благополучия, а только возможность выстраивания своей индивидуальной судьбы. В этом смысле плакатная резкость многих текстов Чернышёва не вырастает из нарратива «с человеческим лицом», с прямыми этическими импликациями (как это было, в частности, у Виталия Юхименко, в 2000-е годы в одиночку представлявшего гей-поэзию в русской литературе Украины), жертва не рассчитывает на эмпатию, а провоцирует и продуцирует агрессию. И здесь Чернышёв неожиданно сближается с Жаданом, в ранней поэзии которого персонажи тоже должны вызывать у читателя сложную смесь отвращения и восхищения:

сегодня они привели ещё двоих проституток
эти двое которые колются
они колются а потом идут сюда
может даже не достают баяны из вены
занимают много пространства
их трясет ну и все такое
тот что низкого роста смотрит на меня когда я прохожу мимо
в своей черной футболке в обтяжку
с огромным вырезом от плеча до плеча
красивый мальчик какой красивый мальчик
напевает про сан-франциско
поворачивается к товарищу

посмотри какой здесь красивый мальчик
сколько такой может стоять

Разумеется, всеми названными именами, явлениями и трендами невозможно исчерпать сегодняшний день украинской поэзии – это только беглый очерк, за пределами которого остаётся много интересного и важного. Но и уже сказанного достаточно для того, чтобы увидеть в поэзии Украины, в том числе и русской, прежде всего Другого. Всех этих людей, всех этих эстетических и идейных коллизий не могло бы быть в России – и это зачастую яснее, чем если бы речь шла о поэтической жизни Америки или Франции. И, собственно, ровно поэтому поэтическое пространство Украины оказывается для нас не только миром множества ярких и оригинальных авторов, но и способом лучше понять, что происходит в нашем собственном поэтическом доме.

Наталья ЧЕРНЫХ

НОВЫЕ ТОЧКИ КООРДИНАТ

Две книги издательства «НЛО»

Меня спросили, кто я. Мой ответ был довольно длинным, я объяснил, что все мое творчество – ответ на этот вопрос, или, скорее, поиск ответа на него.

Ян Каплинский, Наши тени так длинны.
Из «Переводов эстонских стихов»

«Новое литературное обозрение» для меня сохраняет статус наиболее представительного и уважаемого издателя поэзии в отечестве. Назову несколько важных для меня книг. 2019 год подарил «Северную ходьбу: три книги» Игоря Булатовского (серия «Новая поэзия»), автора известного и многими любимого, это лицо новой петербургской поэзии. В 2018-м в той же серии вышла «Жизнь в пространстве» яркой и талантливой Галины Рымбу. Анонсирована «Книга обстоятельств» великолепного Олега Юрьева, уже вышли из печати кропотливо и тщательно сделанные «Показания поэтов», мемориал Василию Кондратьеву, которые к «Новой поэзии» не относятся, но логически связаны с ней. Нельзя обойти вниманием тенденциозную книгу Георгия Генниса «Чем пахнет неволя» (вошла в шорт премии Андрея Белого) и книгу Марины Темкиной «Ненаглядные пособия». Оба издания, вышедшие в серии «Новая поэзия» в 2019 году, составляют своеобразный эмигрантский диптих, это приглашение к наблюдениям и исследованиям.

Однако я хочу остановиться на двух замечательных книгах; один сборник и одна книга стихов; оба автора отлично известны читателю «НЛО» и заслуживают самого теплого внимания: «Наши тени так длинны» Яна Каплинского и «Дословно» Хамдама Закирова. Две эти книги сами собою составили стрелку компаса, ось север-юг, хотя Ян Каплинский живет в Эстонии, а Хамдам Закиров в Финляндии. И тем не менее это именно ось, направление Фергана – Таллин, линия, проходящая через время и поколение, ориентир в современной поэзии.

Кроме того, книги эти связывает имя автора предисловия. В этом качестве Сергей Завьялов выступает редко, но каждое предисловие поражает тщательностью и необычностью точки зрения на поэзию и, в частности, на поэзию автора, о котором Завьялов пишет. Предисловия довольно крупные, но их имеет смысл читать перед стихами, так как разрозненные впечатления от отдельных стихотворений сами по себе не смогут дать ясной и полной картины поэзии. Впрочем, у каждого свои приемы чтения стихотворений.

Хамдам Закиров. Дословно / Предисловие Сергея Завьялова. – М: Новое литературное обозрение, 2018. – 192 с. – (Серия «Новая поэзия»)

«И краски сгустились вокруг тебя, и густо пахло выжженной травой» («Сеанс рисования»). Хамдам Закиров, на мой глаз, самый необычный поэт Ферганской школы, знакомой читателю по утонченным, цинично-возвышенным опусам Шамшада Абдуллаева, сочетающим европейскую

интеллектуальность и среднеазиатскую неторопливость. Хамдам Закиров бунтарь, сохраняющий сонное и тщательное очарование Ферганы, но идущий вразрез с принципами Ферганской школы. Он совершенно (насколько можно быть совершенным) космополитичен, и парадоксально верен культуре своего малого отечества, которое в древности известно было поэзией и шелковым производством; в этом отечестве некогда был расположен один из самых необычных городов России – Маргилан.

О чем бы ни писал Хамдам Закиров: ночная дорога с окраины в город через опасный квартал, дождь на Тверской улице, день на диване с книгой, – все увидится читателю близким, знакомым, на расстоянии вытянутой руки. Но не стоит доверять грезам; даже краскам грез, которые «сгущаются»: видение рассыпается, оставляя экзистенциальный пепел.

Вот так вот. Что и говорить.
Лишь донести до пепельницы пепел,
не проронив, и так же, молча,
продолжить этот день.

Пепел в ноябре

Этот пепел – метафора сухого остатка бытия, того немного, с чем человеку приходится иметь дело после того, как грезы уйдут. А грезы могут быть очень значительными и большими: семья, любовь, народ, родина, культура, – все это не выдерживает проверки на прочность. Сгущение красок и запах выжженной травы вокруг – скупой, но сильный образ полного исчезновения, огня, который поглощает все. Даже смерть (не говоря о жизни) перед этим пламенем теряет часть своего значения. «Дословно» для меня – чудо сочетания невероятной, даже щеголевой скупости поэзии с прихотливой, действительно персидской, тщательностью и нервной, напористой, присущей современной музыке динамикой. Каждое стихотворение в книге можно разделить на несколько периодов: то оно длится, становится почти заунывным, почти тяжелым от идущих, песчинка к песчинке, подробностей; а то вдруг становится на дыбы и начинает двигаться в inferнальном или даже макабрическом танце; это стихотворение-дервиш, стихотворение-бахши.

Я постепенно растворяюсь,
протягивая руку вдоль по ветру,
несусь за листьями, соринками и мошкаррой,
которые поток срывает с места.,
чтобы внезапно опустить к арыку...

<...>

Я истончаюсь всякий раз,
как слышу голос мамы. Пусть
говорит не останавливаясь, пусть (хотя все те же
известные родительские темы, главное
не слушать – слышать...

Исчезновения

В предисловии Сергей Завьялов проводит интересную параллель между двумя типами среднеазиатских поэтов, описывает разницу между возвышенным поэтом-шаиром и погруженным в гущу событий странником-бахши. Это и есть контраст Ферганской школы поэтов: шаир, небо-

житель Шамшад Абдуллаев, каждый текст которого есть жест, направленный прочь от бытовой тематики в обители абсолютной культуры, и бахши, бродяга-наблюдатель Хамдам Закиров, идущий как пламя по ткани бытия.

«Дословно» Хамдама Закирова скрывает в себе – и парадоксально обнаруживает – обостренно-личное, уникальное, но способное выразить и переживания земли и населявших ее народов, тюркских и ираноязычных. Земля в «Дословно», со всеми ее зданиями, дорогами, растительностью и историей, в том числе и историей отношений между людьми – несомненно одно из важнейших явлений, как и огонь. «Дословно» – жизнь между землей и огнем, в постоянном движении, то медленном и сладком, как забытие, то конвульсивном, как танец крутящегося дервиша, в котором каждый жест – это цитата из происходящего здесь и сейчас, то самое «дословно».

В книге пять частей, на мой взгляд, возникших органично, но кто знает, что стоит за этой, не стоившей труда на первый взгляд, композицией: «Вдали от моря» (наиболее сентиментальная и «земная» часть книги), «Истории, подслушанные на остановках» представляют собою нечто вроде дневника, возникшего в ходе сложного опыта; «Ненаписанные рассказы» очаруют текучей прозой поэта; «Медленное время» полно контрастов и драматично; «Коллекционер дверей» мне видится единой симфонией, составленной из написанных один за другим фрагментов, хотя стихотворения этой книги вероятно не писались последовательно. Это самый «северный» раздел книги.

Человек – это, конечно, не ответ на вопрос «кто я», но я бы сказала, что человек – это множество. К такой мысли подводит «Дословно» Хамдама Закирова. «Это одинокое множество», – уточнит эстонец Ян Каплинский, признанный знаток восточной поэзии. Его сборник «Наши тени так длинны» продолжает тему человека с довольно необычной точки зрения: как малой народности (!), некогда включенной в огромную систему, а теперь оказавшейся перед лицом исчезновения. Наследие прошлого неизбежно, настоящее угнетает, будущее почти не просматривается; а одиночество это способ общения.

Лампы разные, а свет тот же самый.
Он приходит с иной стороны, пишет Руми.
Интересно, писал ли он это при дневном свете,
при свете свечи или масляной лампы? Он, конечно, прав,
и все же что-то существенно изменилось с тех пор,
когда начали жить, читать и слагать стихи
При электрическом свете. Во времена свечи и лучины
Не жили так много глазами...

Ян Каплинский. Лампы разные, а свет тот же самый

Ян Каплинский. Наши тени так длинны. Стихотворения и переводы / Предисловие и редакция поэтических текстов Сергея Завьялова. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 368 с. – («Художественная серия»).

*Поэты пусть пишут стихи а я летучая рыба
взлечу и скажу свои слова*
Ян Каплинский. Из «Переводов эстонских стихов

«Север» Яна Каплинского был открыт еще в шестидесятые. Его книга «Следы у родника» вошла в «кассету» – особым образом оформленное собрание небольших поэтических

сборников эстонских поэтов. Ориентированность на европейскую, а не на условно-советскую поэзию для Прибалтики была отчасти формой самосохранения: языка во всех его оттенках, культурных реалий и исторической памяти. В РСФСР такие стихи могли появиться только в виде исключения. В 1977 году стихотворение Яна Каплинского «Песня о жизни и смерти» было включено в антологию Библиотеки всемирной литературы, том «Советская поэзия», вышедший к 60-летию Великого Октября. Стихотворение было переведено силлабо-тоникой, а не верлибром, как было написано, однако и в таком переводе советский читатель мог познакомиться с замечательным поэтом. В 1987 году в издательстве «Советский писатель» вышла книга стихотворений «Вечер возвращает все» в переводах Светлана Семененко, часть которых размещена в настоящем сборнике.

Знание всегда значило для меня
меньше, чем узнавание,
чем понимание. Это как огонь,
как движение пожара по земле –
позади пепел, впереди сухая трава, прошлогодние
стебли крапивы и полыни...

Знание всегда значило для меня. Из «Переводов эстонских стихов»

Долгое время Ян Каплинский писал на эстонском; в сборнике «Наши тени так длинны» «Переводы эстонских стихов» занимают почти две трети. В трудах по редактуре перевода Сергею Завьялову помогали Игорь Котюх, Елена Пестерева и Елена Дорогавцева. И, возможно, это наиболее характерная, тенденциозная и драматичная часть книги.

Вспомним, что в отдельном издании книга «Белые бабочки ночи» (Tallinn, Kite, 2014) получила Русскую премию, а «Улыбка Вегенера», вышедшая в 2017-м, в 2018-м удостоена была премии Андрея Белого. Эти две книги написаны по-русски.

Уникальный случай! Эстонец, сын поляка, пишет почти всю жизнь на эстонском, хотя русский знает и любит с детства, которое полно воспоминаний о русской литературе, – однако в нулевых уже окончательно переключается на русский и оказывается одним из самых известных за пределами России русскоязычных поэтов. Хотя, на мой взгляд, это очень трудная поэзия, именно тем, что в ней органично соединены европейский и российский менталитеты, то есть противоположности. О гениальном актере говорят: он выходит на сцену и вносит конфликт, не сказав ни единого слова. Западно-восточная, русской-европейская драма поэзии Каплинского чувствуется с первых слов, с названий. Хотя бы «Песня о жизни и смерти».

«Наши тени так длинны» сборник очень большой; кроме переводов эстонский стихотворений и фактически четырех русских книг («Инакобытие», «Белые бабочки ночи», «Улыбка Вегенера» и «Третьей книги стихов») в нем есть раздел переводов, выполненных автором из любимых им поэтов: Ли Юй, Харри Мартинсон, Фернандо Пессоа.

Однако наиболее интересным в этой книге мне видится именно начало («Переводы эстонских стихов»), которое длится очень долго, и «Третья книга стихов». Что не отменяет восторга перед книгой «Белые бабочки ночи», воздушная и очень насыщенная красота которой оценена была по достоинству, что редкость.

Читать Каплинского трудно, тяжело и медленно – как грести в штормовом море ночью, как пить морскую воду. Почти не употребляя слова «смерть», поэт говорит о ней, и любой предмет (а Каплинский любит предметы, он ими любит) становится поводом к размышлению о смерти. Смерть может показать черно-белое кино из воспоминаний, и тогда возникают красивейшие в своей скупости, почти документальные тексты о посещении архива, чтобы найти сведения об отце.

Посмотрел из окна на Тоомпеа в сторону Копли. Конец залива был виден, но у моря все было в серой дымке. Думал, что это туман, но потом понял, что это надвигающаяся метель. Когда вышел спускаясь, шел крупный снег. Там, в подъезде на Тынисмяэ, пришлось стряхнуть снег с одежды и сумки. Поднялся на третий этаж, где меня ждало дело моего отца из бывшего спецхрана НКВД. В нем было не больше двадцати пяти страниц.

Посмотрел из окна на Тоомпеа. Из «Переводов эстонских стихов»

Такое видение мира можно было бы назвать депрессивным, не заслуживающим внимания современного человека, наполненного сведениями о катастрофах и насилии, но есть один момент, мне кажется, присущий только Каплинскому: этот поэт всматривается в смерть как в точку прицела, хотя, вероятнее всего, стрелять не собирается. Смерть у Каплинского – не исчезновение, а особого рода оптика, которая позволяет различать предметы во мраке небытия, не-существования, во мраке всеобщей потерянности.

Каждое стихотворение разворачивается неторопливо, как старый колодезный ворот, но результатом чтения будет необыкновенная легкость и свежесть восприятия, почти детскость. Каплинский – поэт зрелости и домладенческой ясности, которая неразрывно связана со зрелостью.

Современность располагает к легкому, фамильярному употреблению слов. Связь рождения и смерти для современности является чем-то вроде прикола, мема, чем-то очевидным, хотя эта связь далеко не очевидна. То же происходит с понятиями боли и травмы. Эти слова легко употребляются, о них часами говорят в социальных сетях, но сами понятия остаются за пределами разговора, потому что это действительно страшно. Поэзия Каплинского возвращает боль на место боли, травме отводит должное место, амбиции вводит в рамки пейзажа. Это поэзия вызова почти в античном смысле: фатуму. В ней каждый миг бытия переживается болезненно, неуютно. Эта поэзия идет не по жизни, а сквозь жизнь.

Есть поговорка: у прошлого длинные тени. Название этой книги напоминает о ней.

«Дословно» Хамдама Закирова и «Наши тени так длинны» Яна Каплинского представляют собой две кардинальные точки поэзии двадцать первого века, но расположенные в одном направлении, условно говоря: с юга на север. Оба поэта, Каплинский как представитель старшего поколения, а Закиров – младшего, поэты деталей. Деталь в этой поэзии – линза, сквозь которую идут лучи отношений: предмета к предмету, человека к предмету, человека к человеку, и так далее; стихия, пейзаж, социум – все лучше различимо через словесную линзу детали.

Поэзия Хамдама Закирова почти inferнальна; это скорее танец слов, кружение слов, ритуальное пение; нечто сумрачное и жаркое, текучее, как нагретая солнцем дымка над песком, который уже начал остывать. Поэзия Яна Каплинского вызывает воспоминания о стоиках, это, при всей нацеленности на смерть, нечто светлое и холодное, однако обещающее тепло. Утонченное эстетство Хамдама Закирова, снисходящего к простым вещам, контрастно незатейливому, но трудному в своей незатейливости, языку Каплинского, который все же прежде всего эстетичен. Мне не хотелось бы, чтобы у читателя осталось ощущение, что я рисую словами некую монаду, но с монадой согласна. Однако поэзия не самодостаточна, она очень подвижна и разнообразна, очень изменчива. Два очень разных поэта встретились в одном году в одном издательстве, и даже названия их книг можно составить в моностих: дословно – наши тени так длинные.

Александр МАРКОВ

КРОНА КРАСОТЫ

Владимир Полетаев. Прозрачный циферблат: стихотворения, переводы, эссе, письма / Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семёнова. Предисловие: О. Балла – М.: ЛитГОСТ, 2019. – 150 с. – (Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»)

Представим себе, 1965 год, оглохший от пионерских линеек во дворе «дом на Стопани», московское чистопрудье, бывший замок чаепромышленников с его уже легендарной литературной студией. Сквозь переплеты окон кажется, что стихи сейчас наберут силу, вырвутся на волю на собственных, не на заемных крыльях. Щиты с газетами во дворе, щиты в самом доме пионеров, уныние многократно повторенных слов – и вдруг всего этого не существует, а есть поэтическая строка длиной в жизнь. Но как зазвучит эта строка – пробудется на ощупь, легко полюбить себя, но поэт начинается там, где он безжалостен к себе, но жалеет других, влюбляется и умеет быть влюбчивым до конца жизни. Признанные советские лирики умели любить, умели говорить о пылкой влюбленности, но почти не умели оставаться влюбчивыми, а Владимир Полетаев умел.

Или представим себе, 1969 год, первая публикация восемнадцатилетнего поэта, усердного студента, сидевшего в библиотеках до закрытия с грамматиками разных языков, Владимира Григорьевича Полетаева в газете «Московский комсомолец». Февраль, сугробы, минус 20, что тогда было обычным. Развернутая кем-то в метро газета и рассеянное при ровном желтом свете внимание, так и не доходящее до стихов. Воспоминания о детстве уроженца Саратова, с родителями переезжавшего из города в город, тонкий хрупкий голос, воспоминания о заботе и желание позаботиться обо всех

и обо всем, о стихах других поэтов, о самих поэтах, забытых, погубленных, забываемых в безвременье, житье тошней недуга, искренняя любовь родителей и однокурсников, и при этом отвергнутая или не замеченная струна жалости, звучащая во всех его стихах.

Или 1970 год, студент литературного института Полетаев, за плечами уже два курса отделения художественного перевода, признанные мэтрами переводы с украинского и грузинского. 30 апреля, день гибели, всё в те же восемнадцать, рассвет над Ленинградским проспектом столицы, открытое окно, пронзительный до торопливости холод перед Первомайской демонстрацией. Борис Пастернак вспоминал 30 апреля «огни Панафиней», пытаясь увидеть в празднике труда новую родину для культуры, для Владимира Полетаева такой родиной шествие по главному проспекту уже не было. Родиной его души была Грузия, он задумывал огромную антологию грузинских поэтов, труд о Грузии в ее истории и нынешнем состоянии. Гибельный шаг – а перед этим многочисленные выписки из книг, комната, забитая конспектами и пробами переводов, письма грузинских друзей и открытки, составленные от руки таблицы по грузинской истории, и невозможность вместить красоту той земли и невозможность перестать ее вмещать.

Грузия воздала долг памяти, выпустив в 1983 году собрание стихов и переводов поэта, составленное Олегом Чухонцевым. «Прозрачный циферблат» – новое издание, текстологическое выверенное, продуманное, с проникновенным предисловием Ольги Балла. Мы сначала читаем Владимира Полетаева как лирика-шестидесятника, именно в том смысле, в каком тогда говорили о «лириках» в противоположность «физикам». Мало кто помнит, что в 1977 году писатель В. Медведев выпустил продолжение истории про сорванца Баранкина, которому пришлось стать человеком, а не бабочкой: на этот раз подросток Баранкин собирался стать «физиком» и «сверхкосмонавтом», признавая только формулы, а не рифмы, но случайная

влюбленность разбила все его амбиции, и вновь стал человеком он как «лирик». «Лирика» в таком понимании – это возможность посмотреть на себя со стороны, что-то скорее ближе к совести, чем к самовыражению, как и сам Владимир Полетаев говорил, что Грузия позволяет со стороны посмотреть на то поэтическое слово, которым ты пользуешься:

Прямо из горлышка – горько и сладко,
Жарко и холодно – пей без остатка!
Катится вечер, гремя и звеня,
Девочка в губы целует меня!!!

Эти строки вроде бы подростка, угостившего девочку лимонадом, которому не терпится дожидаться темноты, когда можно будет впервые поцеловаться. Но за бытовой сценой мы узнаем это рождение лирика: уже кровь кипит, шум в ушах невыносимый, бросает в холод и жар, но эти состояния влюбленности расположены в строфе так, что мы чувствуем какую-то стыдливость и почтительность самого слова. Сами торжественные возгласы, с тремя восклицательными знаками, это та речь, которая должна быть просто исполнена, без которой ты просто не станешь человеком, которому стыдно что-то вспоминать, но совесть не позволит об этом не вспомнить и не сказать.

В книге и дневники, и письма, и переводы, и воспоминания, начиная с воспоминаний его отца, Григория Самойловича Гершензона. Но читая книгу подряд, после поразительных дневниковых заметок опять обращаешься к лирике:

Небо начинается с земли,
с лепета невнятного былинок,
с огонька случайного вдали,
с жёлтых Якиманок и Ордынок.

Казалось бы, перед нами обычный зачин советской лирики, от случайно увиденных вещей к более общему переживанию. Но Владимир Полетаев никогда не стремится перейти к обобщающей морали, напротив, всегда пытлив, и пока не выяснит, насколько не случайна эта случайность, насколько внятна эта невнятность, не двинется дальше. Ландшафт

города, с желтыми старорежимными домами – не предмет случайной привязанности, которую просто не на что разменять, а напротив, возможность еще раз посмотреть на небо, прощаясь с ним как с родным или встречаясь как с давним знакомым.

Поэтому так неожиданно выглядит лирика, посвященная природе, это уже не привязанность к ландшафтам и чувствам, но напротив, умение должным образом попрощаться:

И если смертное затишье
нахлынет с четырёх сторон,
я знаю: я тогда услышу
всё тот же отдалённый звон.

Последним напряженьем воли,
полуодолевая боль,
я ухвачусь за это поле
и унесу его с собой.

Умиравший Иммануил Кант, когда в комнату входил посетитель, из последних сил привставал в знак уважения, говоря: «Человечность еще не до конца покинула меня». При этом Владимир Полетаев, в отличие от лириков предшествующего поколения, не с меньшей дрожью беды и счастья писавших о Москве, как Геннадий Шпаликов, мог не упоминать, как здесь Пушкин с Вяземским дружил или как дома звучат державинской строки. Ему достаточно было для этой человечности сказать, что диагноз уже поставлен, что ты уже в той самой пастернаковской больнице, где спрятан в футляр:

Но сегодня всю ночь, то ли ворон накаркал,
то ли стёкла наплакали – не разберу,
бормотанье дождя и дрожанье огарка
вызывает унынье, наводит хандру.

Казалось бы, да, Полетаев боготворил Пастернака и говорит здесь почти как Пастернак, который с Байроном курил и пил с Эдгаром По. Но Пастернак не сказал бы «дрожанье огарка», но это мог бы сказать умирающий Кант, обращаясь к многолетнему верному слуге, прося принести свечу для гостя.

Такое чувство собственной уязвимости, при этом благородно внимающее бормотанью дождя – насколько это возвышеннее, чем просто переживать дождь как родную себе стихию, или даже как Маяковский, думать, что над страной пройдёшь как косой дождь.

Можно назвать это «тихой лирикой», вспоминая один из синюшных штампов советских критиков. Но на самом деле это лирика не тихая совсем, а скорее, лирика кричащего внимания, которое может оказаться более кричащим, чем все советские плакаты. Это не крик канонического советского поэта, посмотрите, что сейчас со мной происходит, не личные эмоции, но скорее крик испуга, что кто-то нас заметил, прежде чем мы заметили себя, крик Марии Магдалины «Раввун!» в саду:

Голубой элегический вечер.
Во дворах колобродит весна.
Ты как улочка в Замоскворечье,
где трава сквозь асфальт проросла.

Где в печалях своих стародавних
липы клонятся возле крыльца,
где на старых ореховых ставнях
кто-то вырезал наши сердца.

Казалось бы, почти романс, но это романс особого типа, который за неимением термина назову романсом-сравнением или романсом-параболой. Голубой вечер, словно со старой пластинки Клавдии Шульженко, оказывается элегическим, нужно еще и еще раз созидать весну, в запущенном Замоскворечье, городе мертвых и живых. Смирненная память об умерших сравнивается с печалью, опечаленные липы – детские, торжественные, майские, вновь возвращают нас своим торжественным шествием к любви, уже воспетой. Резные ставни с сердечками, казалось бы оформительский китч времен лубков и частушек, оказывается столь же серьезен, сколь провансальские стихи и легенды о съеденном сердце. Вырезать сердце – этот оборот и запоминается, он и становится настоящим «текстом», как текст Евангелия «Не прикасайся ко мне» как канон для любви небесной, не земной для множества будущих поколений. Печаль царя Давида по-

царски одарила тысячелетия, а у Владимира Полетаева печаль безвестного трубадура и безвестного мастера позволила многим стать влюбленными.

Если говорить о неизбывной тяге поэта к Грузии, то наверное, оттуда роскошь эпитетов, в каждый из которых можно влюбиться:

А на вокзалах в мокром целлофане
серебряную продают сирень,
и, осыпаясь, влажные соцветья
таинственное обещают счастье

Чтобы любить Грузию, не обязательно сразу упоминать храмы и виноградники, можно назвать сирень «серебряной», а счастье – «таинственным», и вот на мокром целлофане вязь эпитетов выводится не хуже, чем буквы в грузинской летописи дней, всё это одинаково оказывается внесено в каталог пережитого и незабвенного. Обилие эпитетов, вроде бы стертых, напоминает о том, сколь объемно переживание о простой памяти, календарной, летописной, дневниковой, тоже вроде бы состоящей из стертых впечатлений, но вдруг оживающей, как оживает древний рассказ как единственная форма, способная осмотрительно рассказать о таинственном. О таинственном Полетаев и писал, но обращаясь не к образам святых, но к образам художников:

И овладев теченьем речи,
Не допуская произвола,
Попробуй, натяни на плечи
Рубаху мёртвого Паоло...

Иные морщатся: куда нам!
Но я на размышленья эти
Одним подвигнут Тицианом
И только перед ним в ответе.

Читатель книги найдет в ней много неожиданного, например, совершенно необычные переводы из Рильке, напоминающие не столько о Пастернаке, сколько о Маяковском, если бы он вдруг стал аскетом и религиозным поэтом:

Но есть Единый – каждое паденье
Приемлет бережно его рука.

Есть и трактат Владимира Полетаева о поэтическом переводе: «Необыкновенная лёгкость и раскованность присутствуют в лучших переводах Пастернака и Маршака. Но в переводах первого я чаще ощущаю лёгкость пламени, в переводах второго – лёгкость конструкции». Есть и дневниковые записи: «Очень трудно проверить самого себя, что до других – кое-кто не принимает формы, кое-кто не понимает формы». Читая и перечитывая книгу, написанное в год Вудстока и накануне, мы узнаём, чем мог бы стать поэтический перевод, чем могла бы стать медитативная лирика, если бы шестидесятые продолжались, если бы не было такого подавления слова и разрывов поколений. Продолжение следует – писали в журналах. Продолжение последовало – говорим мы, закрывая и вновь открывая эту книгу.

Григорий СТАРИКОВСКИЙ

БУЛАВКА БОЛИ

Валерий Черешня. Узнавание. – М: Издательские решения, 2018. – 330 с.

Книга составлена из четырех выходивших прежде сборников, к которым добавлены стихи последних десяти лет. Книгу можно назвать итоговой: на текущий день она представляет собой самое полное собрание стихов Валерия Черешни и дает возможность говорить о поэте и его стихах как об отдельном явлении в современной русской поэзии.

Взгляд поэта устремлен в мнимость мира, его ущербность, недолговечность. Стихи Черешни – это расщепление видимой, будничной жизни. Обыденность при ближайшем рассмотрении оказывается декорацией, переклеенными обоями, перекрашенной крестовиной окна, отсутствием *твоего* запаха в комнате, в которой тебя больше нет; комната подготовлена для новых жильцов; в зеркале новой жизни, напоминает поэт, отражается жизнь прежняя, – сквозящим, чеховским мemento мори. С такими декорациями нет необходимости в действующих лицах: в стихах Черешни задник

сцены выступает на передний план. В этой «будничной» книге-драме, длиной в несколько десятков лет и более чем триста страниц стихотворного текста, повседневно, ее беспощадность, становится осязаемой:

Вот он умрет, и дети умрут – кто-то
здесь будет
жить, переклеит обои, покрасит окна,
запах и тот вытеснит новым, своим.
Скажет: теперь хорошо, наконец-то
устроен
дом моей жизни, которого столько я ждал,
дом моей жизни.

Черешня, поэт-наблюдатель, выдерживает дистанцию между собой и предметом/явлением/событием, привлекая его внимание; наблюдение почти всегда ведется на расстоянии, через стекло окна, квартирного или вагонного, через линзу памяти. Промежуток, зазор между поэтом и миром проясняет взгляд в сторону увиденной, драгоценной подробности. Человек просыпается засветло и смотрит в окно: «Какой покой в обыденных словах, / написанных на следующий вечер, / когда от света – еле видный след, / зажившая царапина, но утром / те пять минут, когда привычка жить / еще не обрела привычной власти, – вся чернота холодной зимней ночи / да две полоски света на стене / от окон, где проснулись часом раньше...»

График стихотворной функции Черешни – волны телеграфного провода в окне скорого поезда, их попеременная искривленность к земле и небу. Сперва – дневниковое, штриховое фиксирование увиденного, потом – (вы)падение наружу, в неминуемое слияние с «вислой нитью проводов вдоль окна»: «Вислая нить проводов / тянет свое вдоль окна, / с горькой покорностью вдов / вниз опускаясь и на- / верх выбираясь, опять / вкось полосу пейзаж... / Что у живущего взять, / кроме прорех и пропаж, / кроме осенней земли, / в комьях тяжелых, буграх, / кроме безумной семьи, / в прах разлетевшейся, в прах».

Окружающий поэта мир часто – это, как правило, пейзаж с изъяном, но он-то и

подталкивает Черешню к любованию миром: выкошенный газон нью-йоркского предместья – «смертелен» в своей осенней стерильности; пустырь возле спального района – «пейзаж, зачитанный до дыр»; его «сухое дерьмо под июльской травой», «царапающее» дно становятся для поэта «лучащимся искомым светом». Происходит претворение взгляда наружного во внутренний, и это – очень важная, узнаваемая черта стихов Черешни. Приведу один из многих примеров поэтической зоркости, двоянного взгляда – наружу и в себя: в стихотворении «Джазовый мотив» в «походке», «повадке» нью-йоркской ночи, вглядываясь в «сплошную впритык парковку», в «кленовый лист, распластанный в слякоть по тротуарам» поэт узнает себя, свое «существования лицо немое».

Неторопливые стихи Черешни начинаются с паузы, проглоченной слюны, переведенного дыхания; слова уходят в разрыв, цезуру. Межсловесная пауза акцентируется и расширяет смысловое поле строки. Смысл слова проявляется не только за счет его первичного значения, но и за счет пустот между прочитанным/произнесенным словом и соседними словами; в эти щели дует ветер затекста. Если выбирать из четырех натурфилософских стихий, стихи Черешни – конечно, от воздуха, его сухости или влажности (роящейся дождевой взвеси). Воздух, который остается после прочтения. И всё же поэт, как требует того ремесло стихотворца, должен преодолевать паузу. Покой может наступить лишь тогда, когда будет сказано первое слово, и сдвинется воздух: «Но как любить огромное дыханье / пустующего дня, кто им заговорит, / когда весь мир из тяжкого молчанья / несозданных стихов, возможно, состоит».

Стихи Черешни – *тексты тихие*, такие на площади скандировать невозможно, в них отсутствует желание удивить, подпустить «бури и натиска», а «бедные» рифмы, по верному замечанию Марии Галиной¹, говорят об экононости стиховой материи. Поэт никогда не

подыгрывает читателю, да и стихи Черешни не предполагают моментальный отзыв, между поэтом и читателем находится некий зазор, как бы «ничейная земля», обоюдное пространство, по Баратынскому, «признательного смирения» и «утоленного разуменья»: «Ты перерос поэзию почти. / Пора, пора ее перерастить...» В таком лирическом пространстве поэту потребен не столько читатель, сколько собеседник.

Стиховая интонация поэта, ее, по слову В. Гандельсмана, «спокойное достоинство и равновесие»² направлены к ясности, сфокусированности восприятия: «плоть щеп», питающая огонь, чтобы не ослеп вечер; «сухой свет звезд» сквозь угольную мглу; «поджарость снега» и «промытого воздуха» окраин, изморозь холодной природы – всё это вещно, и если говорить о тонической и смысловой ясности петербургской поэзии блоковского разбора (Черешня, родившийся и выросший в Одессе, большую часть жизни провел в Ленинграде-Петербурге), то это – она: «Вкось тебя дуновеньем снесет, – / за кровинку заката держись. / Варвар Время в пустыне пасет / замечательно гулкую жизнь».

Пейзаж книги составлен, в том числе, из прочитанных поэтом текстов, прозаических и стихотворных. Можно говорить об органичном, внутреннем сродстве между миролюбованием поэта и чужими, вернее, уже не чужими, а прожитыми насквозь текстами: Кафка, температурающий и повторяющий в бреду об искореженной страсти упорных зверей; Рильке, возвращающий вобранный в себя свет; ироничный, «чуть лукавящий» Сократ; Иов, просящий бога «отступить от него, не обращать внимания на такую малость, как человек, дать проглотить слюну»; гоголевский Башмачкин, шепчущий «что я вам сделал, оставьте, не мучьте меня»; Бунин с его «терпким вкусом готовности к любви и смерти». Среди уловленных, не столь очевидных отсылок – Тютчев, Ходасевич, Мандельштам. Мандельштамовское «мы с тобой на кухне посидим» проблескивает в

¹ М. Галина. Там, где он находится, не танцуют // Новый Мир. 2009. № 9.

² В. Гандельсман. Свое время: о поэзии Валерия Черешни // Интерпоэзия. 2009. № 2.

полнения, к свойственной Каневскому эклектике регулярного и нерегулярного стихов; это действительно авангардный автор.

Здесь искушенный читатель вновь встречает все то, чем этот поэт так запоминается: странные морские путешествия, порой даже на Марс, от которых веет здоровой и недемонстративной хлебниковщиной («как будто бубня себе под нос / как будто летя с земли на марс / простое трехлетнее пой, матрос – в матроске и за руку – пой про нас»). Это узнаваемый по «Подземному флоту» песенный голос с, как мне видится, намеренно «грязным» включением (под нос – поднос): разбивка слова передает некий металлический звук внутри замкнутого пространства; хотя автору виднее.

В книге нет предисловия, а содержание расположено в самом начале, что для читателя удобно: можно погадать по книге, выбрать первое к прочтению стихотворение по первой строке. Каневский любит стихотворения без названия, и в этом есть очарование. Однако, считаю, книгу нужно читать последовательно, так как в ней есть четкий внутренний сюжет: от надежды, через последнюю попытку осуществления, к полному распаду, что иллюстрирует форма записи последнего стихотворения «[хамишим]» (так называется цифра 50 на иврите): пятьдесят строк, каждая строка пронумерована и тем самым как бы обособлена от других.

Стихи Геннадия Каневского настолько же необычны, насколько естественны; кажется, они пришли сами, без особого труда, хотя, возможно, автору было не по себе, когда их писал; внутреннее напряжение дает о себе знать то тут, то там; и в этом хороший парадокс: «1. // только ветер способен разговаривать с ветром // 2. // И когда ты прилег между ними / в середине...». Свобода и напряжение – я бы сказала, что это девиз книги.

Свобода позволяет переходить без ущерба от рифмованного стиха к нерифмованно организованному и обратно; создавать внутри одного стихотворения причудливую композицию из звуков и ритма (например, посвящение «ек. с.», очень интересный диптих, который мне видится ядром книги («...привези мне папенька плод / с дерева иггдрасиль...»)).

Внутреннее напряжение ходит по всей книге молниями, и читателя на перебивах (я бы использовала музыкальный рок-термин: рифф; на риффах) стихотворений подбрасывает, как в трамвае, на хорошей скорости идущему по брусчатке.

И вот здесь лицо стихотворений Каневского, знакомого читателю, начинает изменяться. Густо-уплотненный, стремящийся к критической массе «Подземный флот» с его веселыми ужасами, с почти истошной, но сильной надеждой, с выведенным на ощупь горизонтом исчез. Напористое, полное хтонической, жарко-ледяной Москвы «Поражение Марса» (хотя и в «Подземном флоте» тоже есть стихи о Москве, но первая книга, на мой глаз, все же ярче московская) перешло в пронзительную, уточненную до резкости, почти несвойственную в этом ее виде Каневскому, суховатую ностальгию («...здесь близ чистых прудов где череда чаепитий по анфиладам комнат...»).

И это при том, что Каневский поэт вполне ностальгический, это поэт видений детства, поэт воспоминаний, манипулирующих нынешним днем. Но «Всем бортам» насквозь поражает лиризмом. «Подлинный» в последнее время слово спорное, оно может уменьшить рейтинг поэта, так как «подлинный» значит в нынешнем контексте «ретроградный», и с этим нужно жить, не оглядываясь на полубезумные возражения определенной страты коллег-литераторов. И тем не менее, если что и побудило меня написать этот текст о новой книге Геннадия Каневского, так это его новый лиризм. Шедевром книги, ее осторожным прекрасным камертоном считаю стихотворение «сколько градусов, цельсия?»:

сколько градусов, цельсия? –
спрашивает фаренгейт.

нежная цельсия
медлит с ответом.
подходит.

глядит его по щеке.

кончики пальцев её
холодны.

щеке фаренгейта,
горящей от жара
внутренних
запрещённых земель,
тайных пустынь
и секретных вулканов,

это приятно.

В этом лиризме есть загадка. При чтении книги я намеренно уводила себя от сравнений, но мне это плохо удалось. В самой противоположности предметов, с которыми сравнивала стихотворения, была логика. «Всем бортам» как название вызвало ассоциацию с поэтической сюитой Сергея Завьялова 2007 года «Последняя запись в судебной журнал»; и там, и там – тема трагедии, тема деградации и разрушения. Завьялов смотрит на историю бывшего своего отчества через призму античности; взгляд Каневского в «[железнодорожной сюите]» тоже отстранен, он идет через литературно-мемуарный фильтр.

Сергей Завьялов. Последняя запись в судебной журнал:

«особенно же неуместно выговаривать имена богов: Зевс, Посейдон, Феб (как в детской книжке); это как тогда, на затопленных улицах Гераклиона: в случайном световом прорыве как они сверкнули, очистившись от собачьей и человеческой скверны (подвиг, достойный Геракла!), — а потом снова: ветер и дождь, ветер и дождь;

прервана навигация, отменены авиарейсы

чего мы ждем, сошедшись здесь на площади?»

Геннадий Каневский. [железнодорожная сюита]:

...любовался
на треск сухой и греческий огонь,
и все составы шли по всем дорогам,
и порох, прах, всё обратится в прах
когда-нибудь, так будем жить как номос,
как норд, как нож, как нобель, наконец.

Но и у Завьялова, и у Каневского история лирична, это прежде всего отношения человека к человеку. Второй момент: часть стихотворений книги вызывала воспоминания о поэзии тридцатых годов, которую в советской школе не преподавали: Борис Корнилов, Павел Коган, Павел Васильев. Сергей Завьялов активно интересуется советской культурой времени становления, так что перекрестная ассоциация вполне оправдана. Однако стихотворения Геннадия Каневского сделаны из очень новых материалов; они могли возникнуть только в наше странное образом растянутое и причудливое время.

«Всем бортам» для меня прекрасный образец знакомства с настоящей современной поэзией и просто невероятно красивая книга.

от любящих – нелюбящему: ты
летишь над нами в виде темноты,
но каждый день на две минуты позже.
так воздух-время отпускает вожжи,
так сводятся костлявые мосты.

Андрей ПЕРМЯКОВ

ДРУГИЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ

Альманах современной удмуртской поэзии. Том 1, 2. – Ижевск: Штаб современной поэзии «ПоэтUp», 2018. – 176 с.; 174 с.

Восприятие двух томов альманаха у меня временами шло на уровне глубокого бессознательного. Нет, разумеется, читал внимательно, пытался анализировать, но преобладали эмоции. Изменялись они примерно в таком порядке: Обрадовался-расстроился-расстроился-обрадовался-обрадовался-расстроился-обрадовался и т.д. Сейчас поясню.

Чистый, беспримесный восторг случался по прочтении начала предисловия: «Речь делает человека удмуртом...». Да,

я сознательно изъяснялся из контекста¹, однако, вопреки Штирлицу, запоминается не только последнее, но и первое. А тут ещё и особый момент: по наиболее конвенциональной версии этноним «удмурт» означает «крайний, живущий с краю». Поэт, словом. Маргинал в хорошем смысле слова.

Далее, прежде знакомства со стихами, начал читать биографии участников и анкеты. Это не очень правильно, но объяснимо: из двадцати двух человек более или менее представительные подборки я прежде видел у шестерых, а восемь поэтических имён встретил впервые. Расстроился два раза. Во-первых, не обнаружил Марата Багаутдинова (но он часто нигде не участвует), а во-вторых, список любимых поэтов у авторов альманаха составили: Владимир Маяковский, Даниил Хармс, Иосиф Бродский, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Александр Вавилов, Дмитрий Быков, Алексей Шмелёв, Аля Кудряшова, Вера Полозкова, Серафима Ананасова, Оксимирон, Чарльз Буковский, Андрей Вознесенский, Александр Аронов, Ричард Бротиган, Олег Григорьев, Борис Гребенщиков, Владимир Парамонов, Птицами, Алексей Сомов, Андрей Родионов, Яна Дягилева, Тимур Кибиров, Велимир Хлебников, Лев Лосев, Всеволод Некрасов, Лёха Никонов, Вова Заболотский, Паша Никулин.

Плюс, разумеется, – упоминали друг друга.

Нет, поэты в основном отличные, особенно – авторы прошлых эпох, только вот на уровне тонких настроек подбор ориентиров обещал некий крен не то чтоб к эстраде, но к прямому поэтическому высказыванию, эпатажу, слэму, повелительному наклонению... Всё это явления интересные, любопытные, нужные, но хотелось равновесия. Тем более, известно: «Штаб современной поэзии ПоэтUp» был создан в мае 2016 года группой молодых литераторов, актёров театра Les Partisans. За последние годы

мы видели немало удачнейших театральных постановок, основанных на современной поэзии, однако провалов было больше. Естественно, возникло опасение.

К счастью, всё оказалось интересно и непросто. К примеру, Лёху Никонова в числе любимых авторов упомянул Богдан Анфиногенов, похожий на него минимально. Громко пишущий о тишине; пишущий с большой долей самоиронии и без малейшей агрессии, свойственной Никонову. Пишущий, кстати, на смеси удмуртского и русского в эквивалентных пропорциях – а такая смесь даже и в самых отдалённых районах маленькой Удмуртии не встречается. Тут обычно разговаривают на русском с вкраплениями местной лексики, либо наоборот: на удмуртском с русскими вставками. Немного похоже говорят некоторые коми, уехавшие из своей республики и живущие на севере Пермского края, но коми хоть и близкий удмуртам, но всё-таки другой народ. А у Анфиногенова роль иноязычных включений играют англицизмы. И трилингвальная поэзия у него получается крайне необычной: она явно рассчитана на русского читателя, не знающего удмуртского языка. Соответственно, у читателя этого возникают лакуны, зоны неясности. Такой читатель воспринимает часть поэтики как явление сугубо акустическое. Хотя смысл понятен. Тем более тематика стихов мирная вполне – при убеждающем ритме. Вот фрагмент текста об уютном удмуртском быте:

Жикъя ргомо

Я знаю,
Я вроде бы чувствую:
Жикъя – от слова «жикыт».
Считаю великим искусством
Аккуратный
удмуртский
быт!
<...>

Скажет бабушка «Остэньмаре».
Ты со мною, Жикъя воршудэ,
Ты со мною, Уча воршудэ,
Ты со мною, Пурга воршудэ!

¹Полностью стартовый абзац предисловия выглядел так: «Речь делает человека удмуртом, ижевчанином, землянином. Поэзия настраивает и насыщает эту речь».

С вами в мире и мне не пусто.
Ты со мною, Гондыр выжые,
Ты со мною, Пислэг выжые,
Ты со мной, Пегасья выжые!

Вкратце: тут сказано о ценностях удмуртского рода икъя, о тотемах и важности их в нынешнем мире. Но на своём языке. Именно на своём; не на удмуртском и не на русском. Однако парадоксальным образом получается удмуртский рэп, принадлежащий русской поэзии. Вот в финалах трёх последних строк упоминается последовательно дух медведя (гондыр), дух синички (пислэг), а третьего – угадаете ведь?

Но Анфиногенов, конечно, отдельный. Он вообще известен. Музыкант, культуртрегер. Говорит о себе именно как о русском поэте, привлекающем внимание к родному удмуртскому языку. Тут самое время и нам сказать об удмуртском и об удмуртах. Впрочем, пусть Анфиногенов излагает, раз уж начал:

Мой народ

Мой народ не больше миллиона,
Рыжий, как Леннон,
Узкоглазый, как Йоко Оно.
Красивый, как Селена Гомес,
Миловидный, как Джастин Бибер,
Я так не хочу, чтоб он вымер!
Как вымерла Эми Уайнхаус
От наркоты, алкоголя и кляуз.
Он еще жив, как старик Игги Поп,
Мой народ еще садит укроп!
Мой народ еще ходит на танцы,
Он как японцы, он как иранцы,
В школу ходят портфели и ранцы...
Распускай свои косы,
Рапунцель!
Мы идем в край гламура
и глянца

Насчёт рыжих это да, удмурты такие. Говорят, даже более рыжие, чем ирландцы. Но ирландцев я в естественной среде обитания не наблюдал. Миловидные – факт. О красоте не спорят, прекрасны все, но про узкоглазость Анфиногенов, думаю, присочинил. Он вообще

подобное любит. В одном из довольно известных его текстов упомянуты удмуртские юрты – то, чего на белом свете вообще не может быть. Удмурты сроду не были кочевниками, это один из самых укорененных на своей земле народов.

Но откуда знать о невозможности тех юрт стороннему читателю? Что мы, жители центральной¹ России, знаем об удмуртах? Они ж правда живут будто в уголку. А меж тем народ не слишком и маленький. Почти семьсот тысяч («не больше миллиона» – по справедливой версии Анфиногенова). Их ближайших родственников – коми-пермяков и коми-зырян вместе взятых – сильно меньше, чем удмуртов. Просто Коми – огромная республика, а Удмуртия – с одеялко. Да и на отшибе. Вот через Чувашию идёт Сибирский тракт, он же ныне – федеральная трасса М7 «Волга». А через Удмуртию – только подход той трассы к Ижевску. Нет, ну, ещё две железнодорожных ветки Транссиба, факт. Хотя и не в этом дело. Удмурты ж вправду тихие довольно. Хотя ироничные.

Но так мы совсем уйдём в этнографию. Лучше, всё-таки, определим суть и метод выбора авторов альманаха. Хотя суть эта окажется снова неотделимой от национальной и региональной составляющей. Ирина Кадочникова в статье «Удмуртия и “удмуртское” в творчестве Андрея Гоголева²» написала, что «поэты новой парадигмы (сюда мы относим не только молодых авторов, но и тех, чье творчество находится за рамками традиционной поэтики – например, А. Корамыслова) начали актуализировать категорию “удмуртское” для решения целого ряда художественных задач».

О подборках Корамыслова и Кадочниковой поговорим непременно; Гоголев, будучи, кажется, одним из вдохновителей проекта, сам непосредственного участия в альманахе не принял, но вот на актуализации категории «удмуртское» надо остановиться подробнее. По-

¹ К географическому центру страны Удмуртия расположена не в пример ближе, чем, скажем, Москва.

² Опубликована в сообществе «ПоэтUr» Вконтакте, 27 августа 2019 г.: <https://vk.com/@13523002-udmurtiya-i-udmurtskoe-v-tvorchestve-andreya-gogoleva>

нятно, каким образом этот момент реализован у Анфиногенова. Чуть иначе и не менее интересно работает в ситуации двуязычия Анастасия Шумилова. Очень давно хотел прочесть книгу её билингв, а тут почти получилось: двадцать пять стихотворений, включённых в альманах – это ж книга! Хотя и маленькая. Зато в альманахе у Анастасии – больше, чем билингвы. Как это может быть? Примерно так: идёт текст на удмуртском, набранный обычно – чёрным по белому. За ним, фоном, белыми литерами на сером – русский авторский подстрочник. И на следующей странице – литературный перевод на русский язык. Автором большинства переводов указана Александра Можгина, что придаёт дополнительный оттенок: Можгинский район – сердце Удмуртии. Хотя, возможно, и не одно: у маленькой республики много сердец.

Но не менее интересно получается, когда вслед стихотворению на удмуртском и подстрочнику идёт русский перевод, выполненный самим автором. Хотя о переводе тут можно говорить с большой долей условности. Например:

Постудмуртьёс *Постудмурты*

кышнопалан вазе кубыз куара,
на кухне льются звуки кубыза,
балкон бусаськемын лемлет чынэн,
балкон туманится розовым дымом,
кин ке эрик сяресь мар ке вера,
кто-то что-то рассказывает о свободе,
кин ке суредаса пуке кенэм,
кто-то рисует лист конопля.
турын-куар чай но чырсалэс мусур,
травяной чай, кисловатую медовуху,
кубыз куара юиськомы. монэ
звуки кубыза мы пьем. меня
ыгыртыса, мусо пияш кылбур
обняв, милый парень стихи
пелям лыдэ – потэ ымдурьёсме
мне шепчет в ухо – хочется губы
солэн ымдурьёсыз борды лякем,
к его губам приклеить,
но мон со интые приставка «пост-»
но я вместо этого приставку «пост-»

лякылйсько кылтёс борды. пöрме:
приклеиваю к словам. получается:
постэттно, постфутура, постневроз,
постэттно, постфутура, постневроз,
.....
.....

постэзрпальтёс – кузылыиос быдза.
постэзрпалы – размером с муравьев.
сисьме постмодернизм. постудмуртьёс
гниет постмодернизм. постудмурты
кошко постпыжтёсын постКам кузя.
уходят на постладях по постКаме.

Постудмурты

мы пили чай из трав,
играли на кубызе,
удмуртку рисовал,
ругая Мону Лизу,
постэттнофутурист.
курил табак домашний
и составлял плейлист
для выставки «арт-пашня:
пейзажи в стиле ню»,
читал стихи на вотском,
какую-то фигну
рассказывал о Бродском,
к словам приставку «пост-»
приклеивал: постгуру,
потствера¹, постневроз,
постэттно, постфутура.
прекрасный новый мир,
что ждет нас в устье Камы,
он описал – и стих.
играли барабаны,
галдели все, а он
сказал мне по секрету,
что видел страшный сон:
впадает Кама в Лету.

Цитата длинная, но уж очень показательная. Тут ведь не только в ритме разница, тут интересно, о чём на разных языках (читай – в разных мирах) разговаривают. И в каком темпе. А зэрпалы – это такие удмуртские великаны, ставшие вдруг в тексте размером с

¹ Так в оригинале, я не виноват.

муравьев¹. То есть автор одновременно почти физически переживает из-за умаления родных удмуртов, а параллельно размышляя на русском языке, отмечает недостатки мира в целом и те малые точки этого мира, которые ещё дают надежду.

Однако Анастасия Шумилова, как и Богдан Анфиногенов – вполне однозначные примеры работы с «удмуртскостью». Они, скорее, исключения. У большинства авторов методы косвенные. Скажем, открывающий первый том Егор Завгородний некоторое время назад победил на московском Филатов-фесте с довольно эстрадными текстами. А затем сделался известным клипом на ютубе, где сочинял стихи на скорость. Занятие на любителя. Но вот в альманахе его тексты гораздо интересней, а перепады от жалости к себе до самоиронии весьма импонируют пьющему читателю. «Плацкартиаду» просто рекомендую всякому, едущему в вагонах второго класса. А также всем, кто любит, к примеру, Кибирова. Хотя формально – автор пишет о себе, пишет весьма насмешливо. Мы, видимо, в плацкартах становимся одинаковыми.

В памяти сразу возникает другая поэма – «Москва – Петушки». Но очень важно, что герой едет именно в *удмуртскую* провинцию. И провинция эта не становится «городом Зеро», а вливается в контекст русской литературы, сохраняя имя собственное, как ранее влились туда Петушки. Удмуртские словечки и фразы играют лишь вспомогательную роль.

Катя Растягаева (такой вариант самопрезентации выбрала для себя Екатерина Растягаева) на первый взгляд ещё дальше от региональной аутентичности в её чистом виде. И живёт, кажется, в Московской области, работает учительницей. Могу сильно ошибаться, но небольшая поэма «Из записной книжки учителя» – едва ли не лучшее сказанное за последние годы о нынешних подростках. Возможно, дело в том, разница в возрасте между автором и *героями* ещё не слишком велика. Но как только поэт начинает говорить о себе любимой, текст словно теряет индивидуальность. Это времен-

но, думаю. Дэвид Коупленд называл подобное «кризисом середины молодости».

Но стоп. И Завгородний, и Растягаева, и остальные авторы первого тома заслуживают безусловного внимания, однако мы говорим об альманахе в целом, и говорим о нём именно в удмуртском контексте. В чём этот контекст у «Катьки» и у других авторов, пишущих сугубо на русском, а также о стихах Ирины Кадочниковой уместней будет сказать к финалу, а сейчас попробуем чуть обобщить первую часть альманаха. Обобщить, учитывая отчётливое разнообразие творчества вошедших в этот том поэтов.

Самыми частыми образами здесь, похоже, оказались рваные кеды, романтические берега озёр и рек, поезда. Это, разумеется, всё весьма поколенческое, но с колоритом. Железная дорога, как мы уже сказали, играет для республики особую роль. Рельефы здесь тоже очень специфические: «гора» Байгурезь, известная как одно из самых живописных мест Удмуртии, возвышается над рекой Чепцой метров на тридцать – это я ещё, кажется, завышаю оценку. А грозный перекат куинь сэрго², расположенный по течению чуть ниже, носит в народе имя «джакузи». Каковую и напоминает. Словом, спокойные тут реки, медитативные. Похожие на местное население. Рваные кеды? Тоже понятно. Молодёжь здесь модная. В середине нулевых годов сего века количество готиков и эмо на душу населения в Ижевске и Воткинске превышало питерские значения. А уровень жизни всегда уступал соседним Казани и даже Перми. Разумеется, я утрирую, но в обзоре это неизбежно: рекомендую прочесть альманах самостоятельно и вынести суждение.

Заглянем во второй том. Предисловие гласит: «В первом томе в основном были представлены молодые авторы. Их значимость покажет только время, о котором они сейчас так точно и искренне говорят. В этой книге³ найти в авторах что-то общее будет проблематично».

Но, как ни странно, именно по прочтении второго тома становятся понятными и выбор

¹ Есть ещё великаны Алганасары, но чем они отличаются, я не очень понимаю.

² Дословно – примерно – «треугольник». Как по-татарски – «эчпочмак».

³ То есть во втором томе альманаха.

литературных ориентиров, и глубинная общность поэтов, представленных в альманахе. Поэзия их весьма экстравертна. Да-да, это не я опечатался и не вы читались.

Возразить будет легко. Как же, к примеру, Зинаида Сарсадских? У неё ж довольно суггестивная поэтика? Спорить не буду. Вполне суггестивная. Но суггестивная не означает «герметичная». Да, Сарсадских часто транслирует поток сознания, не слишком заботясь о его ясности для окружающих. Однако ключевое слово тут – «транслирует». Дескать, вот я, вот мысль моя. Нравится – понимай, о чём вот этот вот вальс:

Онлайн

Из онлайн – в офлайн, и обратно
Из офлайна обратно в онлайн
И уже никакой в этом тайны
И вообще никаких больше тайн

Ин зе мирроу энд бай зе мирроу
Ин зе мирроу ви си э спэйс
Эт зе дорз из стэндинг зэт хироу,
Бат зэт хироу хэвнт э кейз

Или, к примеру, танкетки Александра Корамыслова. Их на поверхностном можно воспринять, как учебное пособие для взрослых, изучающих удмуртский язык. А на предельно поверхностном – не иначе как тарабарщину. Порой автору для танкетки (а напомним, это – «две строки/шесть слогов») требуется эпиграф втрое длиннее самого произведения:

«Иворъёс» (удм.) – «Новости»
бандиты
и воръёс

only you (англ.) – только ты
ю (удм.) – пей
онли ю
только пей

конъдон (удм.) – деньги
куджем (удм.) – пьяный

макмыр (удм.) – похмелье
конъдон
куджем макмыр

Удмуртская танкетка
(– понял меня ?
– не понял)
вала мон
уг вала

Снова выручает Ирина Кадочникова. Вот что она написала о Корамыслове: «Читатель, не знающий удмуртского языка и, соответственно, не понимающий смысла фразы, прежде всего обратит внимание на ее фонетический строй, в основе которого – прием ассонанса, то есть музыкальное начало. Танкетка словно раскрывает музыку удмуртского языка, его красоту. Паратекст же в этой связи дается для сравнения: та же мысль в русскоязычном варианте передается отнюдь не поэтическими средствами. Однако именно паратекст обеспечивает возможность генерации смысла»¹. То есть в последней из приведённых танкеток речь идёт о непонимании. Некто спросил на удмуртском языке, понял ли его собеседник. Собеседник отвечает на том же языке, но говорит, что не понял! Язык общий, а коммуникации не получается. Следовательно, непонимание тут глубинное, на уровне означаемого, а не на лингвистическом. (Пересказывать поэтический текст, тем более – изложенный в виде миниатюры, очень забавно, но критик на то и даден, чтоб быть смешным).

Кстати, статья Кадочниковой открыла неожиданный смысл в ещё одной танкетке Корамыслова. Вот в этой:

Либидо
чичпотон

Да, удмуртское «чичпотон» действительно по смыслу близко термину либи́до. Но в сниженном варианте. Вроде как «похоть», только

¹ И.С. Кадочникова. Удмуртские лексемы в танкетках Александра Корамыслова. Вестник Удмуртского университета. Т. 28. Вып. 6. 2018.

смешнее. А главное, так называется сайт, чьи владельцы через околоэротическую тематику тоже привлекают пользователей (ясное дело – молодёжь в основном) к изучению родного языка.

Кстати, важный момент: мы всё время говорили о восприятии удмуртской лексики русским читателем. Но ведь верно и обратное: через отражение в русском языке удмуртские слова обретают дополнительные смыслы. Конечно, практически всё население Удмуртии на русском так или иначе говорит, но поэтическая речь на то и поэтическая, чтоб придавать обертоны. Впрочем, тут мы тут снова попадаем в область гипотез.

Вернёмся ещё раз в том первый. После того как Ирина Кадочникова столь помогла нам разобраться с поэтикой авторов альманаха, не поговорить о её собственном творчестве было б несправедливо. Хотя и не в справедливости дело. Просто её стихи, кажется, идеально противоречат тезису об экстравертности и открытости представленных поэтов. Тут даже сложно привести цитату либо отдельное стихотворение: внешне вся система образов, вся просодия Кадочниковой есть апология одиночества: надежда на перерождение, весёло-жуткие тексты о мёртвых людях, ибо в жизни нынешней нам друг друга не понять... Но, опять-таки: возникает ощущение, что автор говорит *тебе* о *твоём* одиночестве. Причём говорит крайне ненавязчиво. То есть *по-удмуртски*, но на русском языке. Экстраверсия это ж не обязательно стремление навязать себя миру. Это чаще – стремление с миром поговорить.

Или вот, скажем, стихи Руслана Муратова – в частности, его большой цикл про Валю, весьма напоминающий о лианозовской школе – тоже вполне диалогичны. Хотя формально автор занимает сугубо наблюдательную позицию, а непутёвая Валентина отдувается за всех обитателей холинских барачков:

Валя направляется к ларьку

У Вали в кармане сотка,
найденная на вокзале.
Валя берёт водку.
Водка берёт Валю.

Читатель тут просто обречён домысливать и заодно – проводить аналогии. То есть опять имеет место прямой контакт с реципиентом стихов.

И, пожалуй, главное. Экстраверсия у поэтов альманаха – прежде всего на уровне звука. Он открытый. Или кажется таковым. Понимаю, что обобщать нелепо, но повторю: мы сейчас пишем про впечатление от альманаха, при том что авторы все разные, и практически каждый достоин отдельного разговора.

Маленький итог. Как вы поняли, знакомство с текстами доставило автору рецензии сугубое удовольствие. Действительно: очень интересная двуязычная (в основе – двуязычная, а вообще – мультикультурная и полилингвальная) молодая поэзия, обеспечивающая приращение большой русской литературы через регионализмы и чрезвычайно близкий, но чуть отличный менталитет. Поэзия самоорганизованная, с хорошей университетской поддержкой. Подлежащая расширению границ: скажем, Глеб Бардодым (кажется, он теперь снова публикует стихи под именем Андрея Баранова) – причастен сюда или нет? Хотя это только ему и коллегам решать.

Тут бы задать вопрос: отчего в других регионах подобных изданий нет? Но это будет ехидством и риторикой. Во-первых, издания есть, а во-вторых, качество их в большинстве случаев удручает. Особые случаи, конечно, существуют, но они – на вес золота; о некоторых из них мы в самом финале рецензии упомянем.

И вообще: хватит о добром. Дальше будет преобладать упомянутая в начале статьи категория «расстроился». Прежде всего, я очень долго тянул с публикацией, ожидая продолжения темы альманаха «ПоэтUr». Давным-давно, кажется, в 2003-м году, Виталий Кальпиди в предисловии ко второму тому Антологии современной уральской поэзии выдал довольно чеканную формулировку. Он умеет: «Итак, грамотная Антология – это несколько последовательно изданных книг, объединённых единством взгляда и места и разъединённых моментами времени, в которые этот взгляд решился скользнуть по поверхности этого места». Время подтвердило его правоту, и год назад вышел четвёртый том Антологии ураль-

ской поэтической школы. Название поменялось, а суть осталась. И периодичность – строго один раз в семь лет.

Но это – антология. А что такое тогда альманах? Мне кажется, альманах нужен для отражения именно текущей и локальной ситуации. Поэтому отсутствие новых выпусков на протяжении относительно долгого времени, в данном случае – больше года – огорчает. Хотя понятно: первыми двумя томами задана очень высокая планка, и снижать её нельзя.

И ещё один раз опечалимся. На уровне региона – всё, кажется, отлично. Не будем сравнивать с расположенным рядом Уралом: там одних миллионных городов три штуки, а общее население Пермского края, Свердловской и Челябинской областей превышает население Удмуртии раз в пятнадцать. Казань, Нижний Новгород или Саратов – города, где литературная ситуация представляется очень внятной, – тоже гораздо крупнее. В смысле, что каждый из этих городов – сильно больше по населению целой всей Удмуртии.

Но вот есть Вологда. Область там большая, а город – маленький. Вдвое уступающий Ижевску по населению. Однако тамошних авторов знают все. Почему? Традиции, наверное. Рубцов. Огромные таланты, работа. Несколько регулярных фестивалей. Идут споры: существует некое единство вологодских авторов, или это – конструкт, созданный ленивыми литературоведами ради собственного удобства. Мнения тут возможны разные, но обсуждение-то идёт.

Потому что, в отличие от многих регионов, предмет для разговора в городе Вологде есть. Так ведь и в Удмуртии есть! Но пока – тишина на поверхности. Известность за пределами ижевского пруда республики получают лишь отдельные авторы, разрозненно. Через семинары молодых поэтов или ещё как-то.

Конечно, в самодостаточности ничего страшного нет, но вспомним имена живших в Удмуртии и погибших там же авторов новейшей генерации: Денис Бесогинов, Алексей Сомов. Это только самые яркие, подобных историй, увы, было гораздо больше.

Словом, фестиваль бы? Или коллективное участие авторов альманаха в каком-либо

из фестивалей, расположенных неподалёку. Опять-таки: в Перми, Саратове, Тольятти. Выбор большой. Чтобы вдруг с общением и пресс-конференцией. Я б вот спросил, к примеру: почему главная река в поэзии современных удмуртских поэтов, пишущих на русском – Кама, задевающая республику, в общем-то по краю, в Сарапуле и Камбарке, а не родная-перродная Чепца? И ещё бы о разном, интересном узнать попытался.

Или не попытался бы. Или не знаю. Просто б пообщаться, книжки почитать.

Марианна ДУДАРЕВА

НА ПОРОГЕ БЫТИЯ

Елена Трубецкова. «Новое зрение»: болезнь как прием остранения в русской литературе XX века. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 304 с.: ил. – (Серия «Очерки визуальности»)

*О вещах душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..*

Ф.И. Тютчев

Обычно о болезни не говорят вслух, это вещь интимная, с которой справляется сам человек в кругу родных и близких. Однако в искусстве, литературе наблюдается особый интерес к морбуальной проблематике. Через Логос, эстетическое переживание человечество стремится прожить и понять пограничные состояния, связанные с болезнью и смертью, отодвинуть, как бы отторгнуть неизбежный конец. С одной стороны, эти темы табуированы и апофатичны, с другой стороны, этим они привлекают и художников слова, и исследователей литературы. Однако здесь не все так просто и прозрачно, и современное исследование Елены Трубецковой этому свидетельство.

Литературоведы, особенно занимающиеся эстетикой и поэтикой модернизма, к со-

жалению, все чаще акцентируют внимание при анализе творчества, например, С. Есенина, А. Белого, В. Маяковского, Л. Андреева на психофизических отклонениях, нарушениях в жизни писателей, что накладывает определенный негативный отпечаток и на понимание их художественного мира в целом. Уж сколько споров было о «Черном человеке»! Но, наконец, в науке о литературе появилась книга, объемное исследование, в котором вопросы, связанные с морбуальной и косвенно мортальной проблематикой, освещаются совершенно с других позиций. Каких же? Как еще можно относиться к болезни или смерти? Русская литература и философия дают на этот *проклятый вопрос* свой ответ, и этот ответ *расслышала* Елена Трубецкова.

Человек, находящийся в состоянии болезни, по фольклорным народным представлениям, уязвим перед *оним* миром. Он, если хотите, открыт *иномиру*. Оптика болеющего человека меняется, как бы смещается от бытовой в сторону метафизической. И автор исследования справедливо подмечает, что «болезнь преобразует привычный мир, высвечивает его в новом ракурсе. И этим она близка феномену творчества». Значит, болезнь погружает человека в *лиминальное* состояние, и оно сродни ритуальному хаосу. А хаос, как водится, амбивалентен и сопряжен с космосом. Значит, в болезни есть высшая точка, точка безумия, обнажающая и вызволяющая совесть человека, о которой поэтически точно, даже формульно, сказал еще Осип Мандельштам. Кстати, автор монографии приводит его строчки:

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя...

А от этой строчки тянутся литературные ниточки вглубь, к полифигическому миру Ф.М. Достоевского, давшего во всем многообразии страдающих болеющих героев. Но вот что интересно – именно такие герои, по справедливому замечанию достоевцев, сопричастны иномирному пространству и обладают знаниями особого *космического* порядка (например, князь Мышкин).

Через болезнь, через физическую неполноту человек может познать нечто, что не будет дано обычному здоровому. Болезнь в этом случае как *метафизический выкуп* и *откуп* за что-то *неведомое*. Конечно, литература модернизма, к которой обращается Елена Трубецкова, взяла себе это на вооружение. Искусство начала XX века обогатилось визуальными экспериментами, через «очки болезни» (выражение исследователя) можно было иначе посмотреть на мир, почувствовать порог бытия: «Взгляд через «очки болезни» одновременно трансформирует и восприятие жизни, и осмысление смерти. Эта двойная оптика оказывается яркой метафорой в искусстве рубежа веков. Болезнь, вырывающая человека из обыденной жизни, неизбежно создает «остранение» от привычного хода вещей, и в XX веке наряду с экзистенциальными проблемами писателей интересуют визуальные эксперименты, богатые возможности для которых создает обращение к морбуальной проблематике».

В книге новая «оптика болезни» героев художественных текстов анализируется в контексте смены философских, научных и визуальных кодов эпохи, рассматривается как одна из возможностей декларируемого модернизмом «нового зрения». Подобный подход позволяет увидеть и осмыслить «медицинские сюжеты» русской литературы в ином ракурсе. Исследование Е. Трубецковой вышло в знаменитой серии «Очерки визуальности» Нового литературного обозрения. И это связано не только с многочисленными аллюзиями на произведения изобразительного искусства, представленными в монографии, но и с тем, что именно визуальный опыт оказывается особенно значимым и влияющим на отношение с миром как авторов, так и персонажей произведений.

И в этом отношении важны и семантически значимы разного рода образы, связанные непосредственно с глазами, очками и т.д. Автор исследует мотивы близорукости, демонстрирует широкий спектр визуальных экспериментов, порождаемых «искаженной оптикой» восприятия героев произведений В. Набокова, С. Кржижановского, А. Ремизова. Особенно интересна приводимая в книге цитата из письма М. Цветаевой, где она раз-

мышляет о художественной лаборатории Б Пастернака и понимает ее глубину через образ большого глаза, ока, «пастернаковского магического кристалла». Но не приходит ли здесь на ум пушкинский магический кристалл из «Евгения Онегина»? Именно об этом *темном месте* до сих пор спорят литературоведы, понимая то буквально эту строчку (гадальный шар), то аллегорически, возводя ее к высоким философским идеям. Но ведь А.С. Пушкин хорошо был знаком с лекциями братьев Шлегелей, из которых узнал об особенностях античного зрения, аурном и аретном видении мира, то есть видении действительности в ближней и дальней перспективе. Можно сказать, что это своего рода имажинация, которой был наделен в своем творчестве Гете. Об имажинативном, образном зрении и видении действительности писал в начале XX века Р. Штайнер, с антропософским учением которого были знакомы многие представители Серебряного века. Итак, Пушкин преломил художественную действительность через *границы кристалла*, чтобы вдумчивый читатель смог разглядеть и «даль» и «близь» свободного романа.

Но бывают и другие случаи. Например, слепота. О ней также пишет в отдельной главе монографии исследователь. Слепота носит двойственный характер, она может быть духовной, может быть и физической. В народной антропологии слепота связана с физической неполнотой, как и хромота, однорукость, кривость и т.д. (С.Ю. Неклюдов) и *оборотностью* мира. Интересно, что этот аспект по-новому был преломлен в советской литературе 1920–1930-х годов, где физическая неполноценность ассоциировалась с моральными изъянами и должна была быть устранена из «духовно здорового» нового общества. Осмысление болезни как политической и социальной метафоры

прослежено автором на примере анализа таких разных писателей, как М. Горький и П. Сорокин, Н. Островский, Б. Лавренёв и А. Платонов, М. Алданов, А. Солженицын.

Отдельное внимание Елена Трубецкова уделяет рассмотрению отношений врач-пациент, показывая, как литературная рефлексия В. Вересаева, М. Булгакова, А. Солженицына во многом предвосхитила этические нормы современной медицины. А существование лагерей и карательной психиатрии во многом изменили представление о профессиональном долге врача, о чем заставляют задуматься приведенные автором книги примеры из произведений В. Шаламова, В. Тарсиса, В. Маканина.

Конечно, в литературе «некалендарного двадцатого века» болезненные пограничные состояния изображены особенно выпукло, но, стоит отметить, что вся русская литература пронесла неподдельный интерес к морбуальной проблематике, подходя тем самым к танатологическим вопросам. Первая авторская вещь, знаменующая поворот к собственно литературной традиции, «Повесть о Петре и Февронии Муромских» XVI века также дает представление о *пороге* человека, о его инициационном пути, который начинается в болезни и через болезнь. Если б князь не убил змея, то не заболел бы. Если б он не заболел, то не встретился бы с Февронией. Если б не встретился с прекрасной девой, то не стал бы тем, кем стал. Одно рождает другое, и болезнь в этом случае является не наказанием, а *точкой перехода*, и таким образом герой пребывает на *пороге бытия*. Вот о таких пограничных состояниях, метафизическом значении болезни в литературе в поэтике ключевых представителей XX века книга Елены Трубецковой, читая которую, стоишь на пороге *двойного бытия*.

Валерио ГРУТТ

Из книги «Я ТРЕЗВОНИЛ ТЕБЕ»

Перевод с итальянского, вступление Татьяны Грауз

Книга Валерио Грутта «Я трезвонил тебе» вышла в конце октября 2019 года в издательстве Игоря Улангина «Free poetry» (Чебоксары) в серии «Современная итальянская поэзия», под общей редакцией Паоло Гальваньи (Италия).

Поэзия как форма любви. Поэзия как форма боли и сострадания. Поэзия как форма сочувствия и познания. Так можно было бы сказать о стихах Валерио Грутта, и это, пожалуй, было бы правдой, но не всей. Эта небольшая книга – о движении действительно-живого слова-поступка, о бытии человека в трагические моменты своего существования: в дни болезни, в часы смерти, в минуты любви, когда обнаруживаются те – самые «алые» – секунды существования и почти воочию видны «зияния» между здесь-бытием и тем, что находится за пределами этого мира. На этой зыбкой границе человек приобретает обостренную чувствительность (эмпатию) ко всему, что происходит в мире, и проявляет себя-подлинного. Стихи Валерио Грутта о живом и неоскудевающем токе любви. Сияющая плотность этой любви ощутима в самых обыденных проявлениях жизни: будь то время, проведённое в очереди у кинотеатра, или озабоченность ремонтом квартиры. Стихи Валерио Грутта похожи на прозрачные колонны света, они пульсируют, сообщая нам, читателям, что-то предельно важное и неотменимое о трагически-прекрасной и безмерно-сложной нашей жизни.

Валерио Грутт (Valerio Grutt) родился в 1983 году в Неаполе. Автор поэтических книг «Город, названный шесть утра» (2009), «Пусть кто-то скажет спокойной ночи» (2013), «Пойдем» (2013), «А что-то зовет – Поэма Христа под плащаницей» (2014), «Дай мне новости о тебе и поцелуй всем» (2018). Стихи опубликованы в сборниках «Савезй – Итальянские подпольные поэты» (2006), «Огонь. Земля. Воздух. Вода» (2017). С 2013 по 2016 был директором Центра современной поэзии при Болонском университете. В данное время – редактор блога «Внутрь Поэзии» («Interno Poesia»), участвует в перформансах, создает инсталляции на стыке поэзии и музыки. Публиковался (в переводе Татьяны Грауз) в мини-антологии итальянской поэзии «Слова в это время» (Чебоксары: Free Poetry, 2019).

I.

Поднимаюсь по лестнице в дом
прежде чем повернуть в двери ключ
ожидаю чуда, письма от тебя
издалека твои письма.

Делаю что-то, делаю
шатаюсь по дому, а дом будто хранит то время
когда ты споткнулась и взяла меня за руку.
В доме стопки твоих писем

и так много вещей в ожидании бури.

Нет ничего за этим рассветом
ничего кроме моего фальшивого пения
ничего кроме рук человека, что давал тебе пить и держал твои
руки.

Утром пробуждаюсь одетым
и удивляюсь, что еще существую.

2.

Если бы ты была в меня влюблена
я бы нашел безлюдный пустой супермаркет

с куполом звезд заполненных шоколадом
с длинными полками времени оставленного на автострадах

и ты бы сидела в тележке с улыбкой дивного дерева
и говорила: я хочу это и хочу то!

но вместо этого жалкий я человек я буду стоять в очереди вме-
сте с другими
и грустная кассирша выдаст мне сдачу в серый день некоего
К.О.¹

3.

Каждый твой кашель
повод к борьбе
я сижу в полутьме
рядом с твоей кроватью
рядом с твоими жалобами
и жду врага
с открытым лицом.
Слышу как ты призываешь: маму и Богоматерь
и вижу какую гримасу делает ночь.
Я тоже взываю
к помощи неба земли
придите силы неведомые
светлые воли придите
сюда, где тела разрушаются
в темноту нас забытых детей
возле парковок у супермаркетов.
Придите и сохраните во имя любви
эту прекрасную женщину

¹Капитан Очевидность (англ. Captain Obvious) – персонаж, который говорит банальные вещи.

эту гору вспышек и вен
мою мать – мою бесконечную дорогу.

4.

Время это ставни
открытые, электрический свет или ставни
открытые. Говорит лишь телевизор
заканчивается одна передача начинается
другая. В комнате происходит
круговорот циклов природы
набухла тень ожидания
и дни едва различимы.
Слова милосердия не нужны
молитвы лекарства все будто
мимо летит но я стараюсь не унывать
и воздух раскрашиваю точно ребенок
и хочу быть преданным псом для той
что больше чем женщина
для моей матери что в сумерках жизни
следит из своего закутка за нашим благополучием
и готова остаться
одна, в то время как сын уезжает
а другой сын – возвращается.

5.

Мама моя сражается в палате
Джемелли-клиники в Риме
она – капитан, а мы – ее крошечное
войско. Вот я, к примеру, монах,
мечом разгоняющий угрюмые тени.
Моя сестра строит планы,
координирует войска, ведет беседы с врачами.
Мой брат – порыв
и огонь батальонов.
Ночью, когда враг атакует с дикой
жестокостью, моя мать – капитан
взывает к духам и просит их
спуститься с небес.
Как любой капитан,
она о себе забывает, а мы
напоминаем ей, говорим:
ты сильна, мы уже многое преодолели,
мы гладим ей руки, приносим воды
и даем кислородную маску.

6.

Я помню как ты вошла в больницу
Богиня упавшая в обморок
от выкуранных сигарет
я много месяцев думал
какое последнее слово
скажу тебе но всегда заканчивал
фразу словами: «Люблю тебя».
И теперь когда солнце
над тобою не властно
я надеюсь есть что-то
милосерднее солнца
что ждет тебя где-то
в прекрасных мирах.

7.

Я хочу петь о нежности матерей
о наивной попытке
любить тебя больше чем небо.
Я хочу петь о слабостях человека
и протянуть руку тому, кто
погибает, чтобы вспыхнула в нем человечность.
Я хочу бросить слово
в каждую мрачную комнату
возьми пальцы мои как мечи
и без передышки
пока дыхание
творит эту жизнь
у света есть еще
хотя бы немного времени
чтоб победить все подлые вещи
и удерживать между нами любовь
глядеть в глаза твои
и говорить: не волнуйся
смерть нас минует.

8.

Не оставляй ее одну
в круговерти кафе или рынков
в блужданиях по гулким комнатам
по безучастным пространствам
вне времени
без музыки дружеской, без любимых
людей не оставляй ее

висящей между землей и небом
в переходах подземных
без указателей, где
падшие ангелы разбивают
о головы друг друга бутылки.
Но прими ее в сердце любви
дай ей последнюю вспышку
сочувствия улыбку
цветущую милосердием
человечества, дай ей уверенность
что все не кончается здесь, что ей
не придется больше страдать
и мы встретимся снова.

9.

Сегодня я тот человек
кто надеется что ты безмятежна
кто видит как повторяется сцена
ночная: руки, глаза
и отныне нет больше зренья земного.
Сегодня я тот человек
кто должен подняться
открыть в сердце радость.
Я тот кто должен заплакать
слезами ангелов и найти себя
в поступках своих и во снах
в кружении деревьев
и отдать дыханье – тебе.

10.

Мои друзья странные люди
я вижусь с ними не часто
днем они как игуаны живут
а ночью не помнят
где припарковались.
Они занимаются тем, чего не понимают
их телефон всегда не заряжен
а в глазах у них время
когда обживали дома
как диваны с подушками.
Чтобы друг друга узнать мы приоткрываемся точно моллюски
и пробегает молния.
Но сами мы остаемся закрытыми.
Мои друзья смеются будто вода
и разбивают тысячи жизней, чтобы попасть сюда
они раскручивают спирали галактик

пьют пиво с ангелами
и говорят: все это случайность.
Но я знаю, они пришли
опустошить хранилища плача
и показать свое сердце поющее
за пределами сна.

11.

Кто видит подругу мою тот даже не знает
что ее сердце это тихая гавань
полная света, с лодками на канатах
людьми в ожидании ланча.
Кто видит меня тот не знает
что я беспокойный корабль
ищущий бурю в каждой волне.
А кто видит нас вместе не знает
что между нами провод тончайший
как будто мы две планеты и на орбите
есть указатели слотов и прачечных
мы покосившийся дом на реке
что зовет рыб и травы на праздник.
Кто видит нас тот не видит
алмаз что вспыхивает вновь и вновь
во тьме тысячелетий.

12.

Все мы вместе сходим с ума
всю жизнь
и постепенно становимся очень похожими.
Идем нога в ногу по улице когда переходим
дорогу и обедать
заканчиваем одновременно.
Но я хочу стать безумцем с тобой
смотреть как цветы багровеют на подоконнике
взрыхлять землю снов.
Быть вместе на представлении
нашего нового дня.

13.

Земля была множество раз Землей
перед тем как землей стать для нас
и для животных этого мира
и любая бабочка прежде светом
была, бабочкой света

камень любой прежде был
и продолжает быть
светом, камнем света
для животных мира другого
мы с тобой сгустки
света внутри света.

14.

Я трезвонил тебе
десять лет каждый день
а сейчас телефон звонит без ответа
как найти мне тебя?
Открываю звездам
свой кабинет
открываю дверь
в самый яркий наш день
там твой голос, он будто вода
льется крана, течет как река
и говорит: «Просыпайся Валерио»
когда я сплю
на диване. Твой голос
опять поет песню о Marinella¹
в ветре деревьев
играет в сердце моем медленный марш.
Мы будем смеяться над этими днями
блаженными как объятья небес
когда вспыхнет в нас вновь
любовь к тайне вещей.

15.

Смотри, мама, как я счастлив
под сентябрьским солнцем
среди пыли стою, простираю руки
и жду, пока взгляд твой упадет на меня.
Я счастлив и я почти тот
человек кого я придумал себе
и без стыда могу стоять улыбаться
на фоне волн житейского моря
не тщеславясь и ни о чем не заботясь.
Но порой я вижу в мире зияние
это зияние имеет форму твою
я опускаю в него свои руки и думаю
может, и ты пользуешься им точно дверью.

¹ Песня знаменитого итальянского певца-автора Фабрицио Дэ Андрэ.

16.

Я шут Азнавура
и ты знала всегда
по наитию знала
что тот француз говорил
о сыне твоём. Спой мне *santamelo*
голосом той кто прощается
сквозь шум рабочих на крыше.
Спой мне песню
тарелок на мойке голосом
опустевшего дома.

17.

Нужно пятьсот тысяч лет чтоб сказать тебе
что мне совсем не важно
дороже ли *сопад* или *соор*¹
и что для белого кафеля
в ванной лучше *scottex*²
или же тряпка, и что мы будем есть
на обед в воскресенье
и о каких делах не будем болтать по утрам.
Ведь в этом мире только твои глаза
это открытые окна когда ты как девочка оглянешься
и свет всего мира наполнит
этот дом погребенный.

18.

В тебе я вижу начало
и завершение мира.
Девочку плачущую
в подушку и женщину
строящую семью
из ничего из любви.
В тебе вижу боль
и песнь человечества
когда солнцем зовется
тысяча мелочей
они засыпают и пробуждаются
там где рождаются взгляды
и нежность зерна.

¹ Сети итальянских супермаркетов.

² Марка промокающей бумаги.

Михаил АРЖАНОВ

(1924–1981)

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ (1952–1981)

Публикация, вступление, примечания М.А. Богадельщиковой

В настоящей подборке объединены фрагменты писем ко мне, жене Михаила Николаевича (во втором браке, с 1961 г. до 1981 г. – года его ухода из жизни, последнее письмо адресатом получено за два дня до кончины художника) и немногие записи, которые мы назвали дневниковыми по характеру содержания. В нашей двадцатилетней совместной жизни было много разлук. Длительных (почти два года моей жизни в Якутии, три года в Москве) и относительно коротких: ежегодные месячные стажировки М.Н. по вопросам реставрации в ГЦНХРМ в Москве, другие командировки и поездки; в последние восемь лет, когда основным местом нашей жизни была Казань, М.Н. подолгу оставался с детьми в Саратове – от двух до девяти-десяти месяцев. Тогда письма становились основным средством и способом общения.

Дневников, в традиционном понимании, М.Н. не вёл (об этом в одном из писем упоминает сам художник), но желание «остановить мгновение», зафиксировать наблюдение, мысль, состояние – ему было свойственно, и он записывал в блокноте, порою на подвернувшемся одином листочке или клочке бумаги то, что в тот момент представляло для него интерес. Лишь в экспедициях записи в блокнотах велись как собственно дневниковые, с указанием даты, пункта маршрута. Таких экспедиций – по выявлению икон и других предметов древнерусского и народного искусства было три. Но записи сохранились лишь по первой, на Север. Вместе с тем и некоторые письма Михаил Николаевич считал дневниковыми и просил их сохранить. Помимо словесных, художник вел еще и графические дневники, которые интересны и сами по себе, и как материалы к биографии. Именно эти дневники он считал главными.

Архив М.Н. Аржанова в настоящее время хранится в Бременском университете в Германии (НА FSO Bremen, F.172. Историч. архив Восточно-европ. ин-та при Бремен. ун-те. Ф.172/ М. Аржанов).

Дневниковые записи

1952–1954 гг.

Суббота, 2 августа, Саратов

Николай Михайлович Гушин по поводу классного этюда с обнаженной Володи¹ говорил о том, что идти надо от живописи к рисунку (хотя – он сделал оговорку – это не значит, что первый принцип неверный, он верен, как верна школьная программа; предупреждал его о нецелесообразности идти наперекор школьной программе).

Говорил о характере, который один только подчеркивает мысль и выявляет её наиболее остро; но это достигается и многими другими средствами.

¹Владимира Алексеевича Солянова, художника, друга М.Н. Аржанова.

Ритм. Показывал начатую вещь, но в ней ритм плоскостной, по каким-то, мне кажется, не-сколько искусственным законам параллельных линий.

Прямо противоположно Делакура, который говорил, что параллели это не искусство.

30 августа, Саратов

Последний день календарного лета. Да и по погоде видно, зори холодные. В понедельник был на Волге, в Затоне. Купался, наверное, в последний раз. Сделал два наброска пейзажа. День был серый. Небо в плотных серых облаках, но с разрывами. Ветрено слегка. Этот трудовой берег может дать столько жизни пейзажу. Горы лесу, дрова, камни, мел. Баркасы, лодки, автомашины, тракторы и проч. Рабочие в майках или только в штанах коржат и вытаскивают брёвна трактором прямо без полозов по скользкой и блестящей мокрой земляной дороге. Симфония, которая кончается вечером. Тихо-торжественно ветерок уступает тишине и прохладе. Ребятишки стойкой сворачивают с дороги и идут на Тарханку рыбачить на ночь. Сторожа и рабочие варят ужин, художник торопливо рисует великое чудо творения природы, сумерки. Недлинный отдых с цыгаркой, и надо идти домой, чтобы в сутолоке мелочных занятий умерло последнее воспоминание об этой поэзии.

Великое наслаждение было смотреть творчество человека. (У Ник. Мих. Гущина.) Но это ничто не заменит. Здесь ты сам приготавлиешься к творчеству, а это самое приятное, главное оттого, что ещё не отравлено муками бессилия. А бывает разве художник победителем?

1954 г., Саратов

10 дней писал этюды, не думая ни о чем больше. Какое наслаждение! Да ещё рядом с таким богом, как Н.М. Гушин.

Мне казалось, вот он всё открыл, а ему так же трудно, как и мне, достичь своего.

Писали с лодки, под вечер. Он писал солнце и воду. По-моему, сильно, а он через два дня записал его совсем. Когда кончили писать, он с удовольствием произнес: «Какая же трудная штука – живопись!»

Жизнь между двух миров – повисла как звезда,
Меж ночью и зарей на крае небосклона,
Как мало знаем мы: зачем идем? куда?
И созданы зачем? А бешеное лоно
Потока времени уносит без следа
Нас – пузыри. Исчез один средь миллиона, –
Другой из пены лет вскипает. И среди мглы
Гробницы павших царств – как зыбкие валы

Из писем

29 декабря 1960 г., Москва¹

Милая, несравненная Рита!

Должно быть, я неисправим в своих недостатках: я давно получил Ваше доброе письмо, а

¹Самое первое письмо М.Н. ко мне, из Москвы, где он находился на стажировке в ГЦХРМ (Государственные центральные художественно-реставрационные мастерские). Это ответ на мое письмо, где я прошу М.Н. написать письмо Гушину, как-то постараться смягчить впечатление Н.М. Гущина от произошедшей между ними размолвки перед отъездом Аржанова. Я уже два месяца работала в Музее, с Гушиным встречалась каждый день, и тяжело было видеть его переживания по поводу этой размолвки (её существа я не знала или не помню), он тяжело вздыхал, гнетущие мысли о необходимости разрыва с Аржановым, которого очень любил, не оставляли его. Поэтому я и написала обо всём этом Аржанову.

отвечаю только вот теперь (на бегу). Видите, как мне трудно ответить, а не то, чтобы начинать разговор с Н.М.¹

И, ведь, я думаю, не переставая. Ночью засыпая и пробуждаясь по утрам, я столько надумал хороших писем и разговоров, но это всё ненаписанные повести. Мысль, в сущности, толчётся, она не может улететь от меня, она готова оторваться, и что-то сковывает мою волю, я не могу писать.

Я до сих пор не могу почувствовать свою вину, я не знаю, в чём моя грубость, что же мне писать, что говорить, кроме того, о чём уже шла речь. Нудно повторять одно и то же, более убедительных аргументов я не нахожу. Мне кажется нелепой сама мысль Николая Михайловича о моей измене. Больше всего за всё время нашего знакомства я заботился, чтобы ему было легко смотреть на нашу ужасную жизнь.

Мне ведь не сладко самому. Я по приезде расскажу Вам, почему я провожу иногда мучительные ночи без сна, ночи пыток. Два утра не бывает, а одного мне не хватает для всех дел. Костёр горит полыхает ночью. Рассвет несёт новый день, а я живу без правил, я не воспитан, и я знаю, что не доживу до мудрости Н.М., мне просто не хватит лет, а может быть, дело не в годах, а в таланте. Значит, я просто мелок, и это столкновение, которое у нас произошло, явилось, возможно, следствием разочарования Николая Михайловича во мне. До этого он слишком часто хвалил меня. От него ускользали мои отрицательные черты, мы ведь всё-таки довольно редко встречались.

Прерываю письмо. Лучше поговорим, когда я приеду.

Все мои нежности Вам.

А.М.

Июль 1961 г., Саратов, записки в больницу

Родная моя Рахита, меня немного утешает спокойствие твоей мамы, но это спокойствие основано ты знаешь на чём, а мне трудновато, поэтому сразу, как только горести и боли твои будут позади, напиши или вели передать: «всё хорошо», мне будет всё понятно. Не успокаивай меня только понапрасну, жалея меня. Мне всё равно трудно и из-за тебя, и из-за Ируськи². Мне бы хотелось раздробить ногу по кускам, только бы не представлять себе ваши страдания. Боль, в сущности, очищает человека, потом он – невыразимо прекрасен, я бы хотел быть с тобой, разделить всё.

Я что-то ужасно петляю. Боль, любовь, страдание, эгоизм, красота – всё смешалось. Короче, я люблю тебя на расстоянии, вот сейчас, каждый миг. Я не так, в сущности, переживаю за тебя, даже когда тоска за Иринку – и ты здесь. Больше я нигде. Не сердись, что ты не одна у меня. Любовь у меня одна – и ты и она. С тобой легче, тебе можно написать, сказать. Тебя можно желать, ждать, а с ней надо только быть и беречь её, впрочем, как и с тобой. Я кончаю, потому что заболтался. Нина³ выше всякой признательности. И, вообще, тебе, рахитке, далеко до неё. Она выстирала и вымыла моё заросшее коростой тело, кормит и поит меня, а ты что, только сушишь мои мозги. Пиши вот тебе, а чернила кончились. Нине хочется мне написать какую-нибудь ласковую тень, за её любовь к тебе. Анне Ивановне⁴ – тоже. Вчера она мне квалифицированно рассказала о твоей рахитичности, а вечером они пришли пить чай ко мне. Отёк ноги спадает. Завтра я, вероятно, приду навестить тебя. Из больницы можешь не выписываться, выйдешь, удуш тебя (с радости).

Родная, если трудно, – не выходи. Бандероль передала мне Нат. Ив.⁵ вместе с приветом тебе. Утром я писал, а вчера стирал и купался, потому что от вас я ушёл поздно, не успел на завод за камерой и не поймал автоинспектора, проходил напрасно. Не волнуйся, если когда я не попаду

¹ Николаем Михайловичем Гуциным.

² Дочь М.Н. Аржанова от первого брака.

³ Иванова – моя двоюродная сестра.

⁴ Богдельщицкой, моей матери.

⁵ Наталия Ивановна Оболенская – искусствовед, зав. отделом хранения музея.

к тебе, когда ты ждёшь, мне всё-таки хочется пописать. Хотя я постоянно в какой-то тревоге, тороплюсь и злюсь, что я совсем ничего не умею делать. Посылаю тебе «Боги жаждут» и Эдгара По. Пожалуй, посылка тебе будет лишней, по крайней мере «Пикассо». Так ты верни мне эту книжицу. Жаль, что «Гуттузо» твой друг прислал не тебе. Целую, люблю.

<...> Не мог прийти к тебе раньше, т.к. провозился с обеда с мотоциклом. Теперь я получил номер и могу разъезжать по все дорогам. Не волнуйся, не спеши. Лодка исправна, выйдешь из больницы, поедem на Волгу сразу. Сентябрь самая славная пора. Комаров не будет, а вода тёплая до самого октября. <...>

22 ноября 1961 г., Москва

<...> Сейчас я вошел в норму: накануне я был в запасе Третьяковской галереи (XX век). Увидел так много интересного, что впечатление от увиденного не давало мне хандрить два дня, а сегодня мы с Глебом¹ писали прямо после работы. До субботы я обеспечен натурой и возможно хорошим настроением.

13 февраля 1962 г., Саратов

Родной мой якутёнок, получил от тебя письмо из Борогонцев², так рад тому, что увидеть тебе удалось что-то приятное. Постарайся не забывать музыку, если есть инструмент – играй. Прошу ещё, напиши подробнее о физическом состоянии своём, и как, вообще, ты проводишь день. <...> Как с постелью, ведь у тебя, кроме подушки, ничего нет? Если есть солома – сделай соломенный матрац, а когда устроишься в своей комнате, можно наломать еловых веток, уложить их вдоль и поперёк в три-четыре ряда, будет изумрудная ароматная постелька. А на лыжах бегай как можно больше, но не забирайся одна далеко, заблудишься или ещё что может приключиться. В воскресенье я был (снова с Володей и Рацией³) на Марфутке⁴, день был морозный, солнечный. Я сделал два наброска, очень хотелось писать, но отвлекли школьники: приехала ватага мальчишек и девчонок и, обескураженные нашим присутствием, подняли гвалт. Кто-то из мальчишек уверял компанию, что, де, там никто не живёт. Они приехали с закусками и вином, а разложить негде. Поддразнивая друг друга, начали ломиться к Трофимычу, но его надпись приостановила их, тогда они бросились к Ив<ану> Григорьевичу, открыли у него дверь. Пришлось мне вмешаться, кончилось дело миром. Я пригласил их к себе, заставил нарубить дров. Они уехали, а мы возвратились в то часов. Дни стали заметно длиннее, но проходят также быстро, как и всегда. Целый день у нас сутолока, почему-то много хлопот стало у нас: Н.М.⁵ ещё ничего не делает, хотя на работу и приходит, сидит пишет письма, потом идёт домой, что-то он делает дома. На радостях мы играли раза два в шахматы после обеда, а вообще я не играю, но вот курить никак не могу бросить, слишком грустно без тебя. Правда, вчера я начал писать с Тони Стреляевой⁶, а сегодня она не пришла. Очень она легкомёрная, но тем не менее приятная. Её видно всю насквозь. По одному тому, что она просидела вчера у нас целый день в музее, я догадался, что у неё что-то неладно дома, так и оказалось, вечером она мне приоткрыла тайны. Обычная канитель между свекровью и снохой, которая обманула ожидания, так же, как я оказался не тем, который был в мечтах Анны Ивановны⁷. Ты только не думай, что я на неё обижен. С матерями можно не соглашаться, но обижать их грешно.

¹ Глеб Карлсен – художник, реставратор ГМИИ им. Пушкина.

² Село в Якутии.

³ Соляновыми.

⁴ «Вилла Марфутка» – шутовское название домика на Волге, купленного Гуциным для отдыха и работы.

⁵ Гуцин.

⁶ Антонина Стреляева – актриса, работала в ТЮЗе.

⁷ Богдельшиковой.

<...> получил 50 рублей, половину я истратил, я расплатился за куртку, которую я купил после твоего бегства. Куртка всех очаровала, неделю мне все говорили комплименты, а я её, бедную, не спускаю с плеч, она достаточно тёплая, и жаль, что до тебя я её обтреплю. За лекции я получил 5 рублей. Пока я болел, съел кило мёду вместе с Ируськой, а вообще у меня почему-то скверный аппетит. Ем мало, хотя и есть нечего. На базар я не хожу, а в магазинах ничего нет. Правда, купил я требуху и никак не съем, очень грубое мясо. Завтра я всё-таки куплю настоящего мяса или курицу и сварю в мастерской. Спасаясь молоком, но всё-таки, главное, надо мне быть больше на воздухе, а времени нет. Начал работать как будто по-настоящему, только вот сегодня уехал Алёшка¹ (в Кр. Кут), а Тоня не пришла, – я и пишу тебе, отвожу душу. Володя Сторожев², оказывается, уехал тоже в долг. Кредит отпустил ему Н.М. Сегодня я рассказал ему о вас, и он подосадовал на меня: как это я мог тебя отпустить. Помнишь, я тебе говорил: он потому советовал Володе увезти тебя, что надеялся – я не пушу тебя, и ещё он думал втайне, что ты изменишь мне. Я решительно не могу никому угодить. Видишь, как мне ни хотелось нарушать запрет твой не говорить с Н.М. на темы нашей жизни, но приходится.

Хочу очень тебя увидеть, наверное, я не дожусь июля, может быть, только – вработаюсь. Главное, мне хочется сейчас войти в форму, чтобы поездка (если только она выйдет) прошла на все 100 %. А то бывает так: приедешь и ничего не увидишь. Ируська целыми днями рисует, заметно делает успехи. Измазала целую коробку акварели и истёрла кисточку, в следующем письме я пришлю тебе какой-нибудь из её шедевров. Или я впадаю в детство, или мне так представляется, но я совершенно лишён такого ощущения свободы, с которой она начинает всё рисовать, и не совсем бесполезными пропадают мои советы, она мигом их «внедряет в свою практику». Стоило мне сказать об однообразии движения рук у её «девочек», как на следующее утро она показывает мне композицию, где «девочки» её не просто стоят с растопыренными руками, а несут вёдра и играют в мяч. Понедельник этот я провёл с ней, но дома, так как мама ушла к сестре и пришла только вечером. Когда я стал топить печку, Ира спросила меня, а можно ли сделать так, как у тёти Веры³ (т.е. центральное отопление)? Говорю: пусть мать хлопочет квартиру на заводе. Она мне отвечает: она не хочет квартиру, а если ты похлопочешь, мы только с тобой пойдём туда жить? Конечно, – говорю. – Нет, мы ещё бабушку возьмём. Душа – что зеркало.

<...> Ируську надо лечить мне самому на море или на Волге (там, где есть песок). Купание и массажи – больше врачи ничего уж не могут сделать, так и сказали: недавно она была на проверке (я тебе писал) в институте ортопедии и на протезной фабрике. Снова у неё контрактура, но гипс накладывать нельзя, нога может омертветь. Вот теперь и подумаешь, ехать ли в Сибирь, а так хочется. Если бы можно было поселиться где-нибудь у моря. Снова проблемы. А мне всё надоело. Хочу писать и рисовать.

Поработать хотя бы года два-три, не думая ни о чём. Всё бы было ясно тогда. Мне кажется, я дошёл сейчас до черты. Или работать во всю мочь, или всё бросить, и тебя в том числе, потому что пока я пишу, я буду тебя любить, если я брошу, я для тебя буду сапог, ты ведь золотинка. Очень долго пишу <...>

Если я не сумею приехать, то надо решать, как быть, как устраиваться на будущее. Алёшка всё твердит, что он уедет летом. Володя расхваливает Сталинобад, теперь Дюшанбе (старое название кишлака). Он говорит, что можно там работать на воздухе круглый год. Но ведь я содохну без России и без воды. Надо бы разведать всё-таки в Саратове.

Всё же я приеду в Сибирь и тогда буду решать, что делать. Сейчас главное наскрывать на дорогу. Если делать настоящий турпоход, надо очень много денег. Мне кажется, рублей 300 надо.

Пиши, главное, о себе и всё, что я спрошу о Борогонцах, чем там люди живут, и т.д. Кончаю. <...> Домой не хочется, да Ируська теперь уже должна спать. Пойду поброжу по улице. Подышу.

¹ Алексей Чернышев – научный сотрудник музея им. А.Н. Радищева.

² Друг М.Н. Аржанова и Н.М. Гушина.

³ Веры Николаевны Багановой, родной сестры М.Н. Аржанова.

24 февраля 1962 г., Саратов

...Я всё ещё пишу Алешку¹, живопись получается интересной, а композиционно – дрянь. Начал я необдуманно, а теперь трудно организовать, но я всё же добью его в характере, очень хочу научиться писать портрет.

В пятницу (вчера) ходил на телестудию, написал хотя я только вступление, и так мне это тяжело было². Три странички вот такого листика я писал весь вечер. Алешка одобрил, а Степанидин³ посмотрел довольно тускло и предупредил меня в самом главном, чтобы я не писал так, как вы (имея в виду предыдущих) пишете – понятно только 10-ти музейным работникам. «Мы работаем на 400 000 аудиторию». Во, цифра!

...Завьялова⁴ никак не желает давать командировку за Матвеевым (если ты помнишь, вдова Матвеева дарит Музею автопортрет скульптора и предлагает купить еще что-то). Все-таки она смотрит на Музей как директор клуба. Порой обидно за город: в Радищевский музей шлют всю дрянь. Присылают ящики с эскизами устаревшего уже теперь оформления каких-то дворцов и проч.

...Сейчас мы с Николаем Михайловичем потолковали о живописи. Он, кажется, стал чувствовать тот недостаток у себя, что редко работает. Жаловался, что никак ему не удастся Николаевская⁵, с которой он начал писать, кажется, при тебе. Поскольку у него настроение было хорошее, я показал ему те этюды из нашего путешествия, которые остались у меня. Тот, что я писал с лодки, ему понравился, впрочем, я и сам теперь вижу, что он кое-что имеет серьезного, но особенно ему понравилась «Обнаженная», начал допытываться, где это я писал. Я сказал, что у Чижиковой⁶, но мне думается, он сомневается, вероятно, он почувствовал характер и угадал, что это ты.

27 февраля 1962 г., Саратов

...Вчера я был у вас, отнес лыжи. Шел я от Володи⁷ через мост на Товарке и думал, как всё это немудрое зрелище долго живет: ходил с тобой по этим улицам, все было так, как и теперь, потому что это нас переживет, а мы мельтешимся, не даем себе радость почувствовать вполне. Теперь бы я не стал при тебе нагонять тоску и на себя и на тебя...

Проклятая работа на телестудии испортила мне сегодня день, сейчас я буду писать какую-то ересь, потому что редактор меня предупредил, чтобы это было сделано очень просто. Просто, на 20 минут, о портрете. Это не очень просто сделать.

Теперь вот еще ты спрашиваешь о реакции Бородина⁸. Не знаю ничего. Против него все правление Союза художников восстало, хотят переизбрать досрочно. Меня гораздо больше теперь волнует, удастся мне пописать сегодня, завтра и т.д. или нет, а все остальное мне наплевать. Не хочу я больше расстраиваться. Знаю только одно: если буду работать – будет толк; все-таки кое-какой талант у меня есть. Если будет мастерская и ты со мной, буду писать тебя и знакомых. Пейзаж и портрет – вот и всё. Картины не для меня. Сюжеты – это липкое и скользкое. На одной голове можно сдохнуть, одно бы дерево написать: или просто, чтобы оно пело?

Первые числа марта 62 г., Саратов

Теперь я получил некоторое представление о том воздухе, в котором ты живешь: я получил

¹ Чернышева.

² Речь идет о тексте телепередачи о М.В.Нестерове, который писал М.Н. Аржанов.

³ Степанидин – редактор телевидения.

⁴ Завьялова Валентина Федоровна – директор музея (до 1963 г.).

⁵ Николаевская – студентка СГУ.

⁶ Галина Павловна Чижикова – художница.

⁷ Солянова.

⁸ Бородин Алексей Иванович – председатель Саратовской организации Союза художников.

твое письмо, где ты пишешь о девочках, с рисунком, который навеял мне некоторые мысли. Рисуночек чудесный. Не беда, что нет резинки, стирать можно хлебом, только не очень мягким и не сырым...

Статью в телевидение сегодня написал (13 страничек); больше писать не буду. Работа дикая, отнимает столько времени. На кой черт мне все это. Лучше я не поеду в Якутию, чем такая каторга. Такие деньги я когда-то зарабатывал шутя. Жаль, что теперь и это не по мне. Я не обленился, но раз и навсегда покончил со всякой халтурой, разве что будет крайняя нужда. Энергии у меня не то, что прежде, и теперь я трачу её расчётливо...

Завтра, наверное, в основном, будет закончена развеска в советском отделе, и ты знаешь, Николай Михайлович нашел очень приличное место для моей¹ и держится она здорово, сильная и тонкая довольно по цвету, да и настроение есть. Обидно теперь, что я получил за неё гроши. На приставном щите налево от входа только моя и «Дворик» Ивана Никитича Щеглова. Но лучше всего она смотрится из другого зала. Расстояние для неё ничто. Больше я таких скромных (щедрых – И.П.²) подарков не буду делать даже музею, пусть лучше все останется тебе, только потому, что какие-то мазила вроде Бородина получают впятеро больше за дерьмо. Я тоже мазила, но, по крайней мере, в сравнении с кем потолще...

Поездка к тебе мне кажется теперь маловероятной из-за денег. На развеске я почти не работал, т.к. ездил за картиной Подляского. Гадостей нам присылают, больше чем нужно. Если я получу за телепередачу, то возьму то, что я истратил из присланных тобой денег, и Наталья Ивановна отдала мне 15 руб. Всего твоего капитала у меня теперь 50 руб., еще 20 я доложу. Тратить твои деньги я не буду ни под каким видом, ты меня не уговаривай и не грози. Я хочу, чтобы ты смогла вернуться в любое время. Поэтому я думаю наскрести ещё, если ты не сможешь расплатиться за свои долги сама. Если ты и сможешь, деньги все равно будут нужны, иначе опять нас будут терзать всякие неустройства.

март 1962 г., Саратов

Как хорошо, что ты не забываешь музыку. У меня теперь одна мечта – иметь угол с пианино. Между прочим, за 400 руб. здесь продавался рояль старый французский. Продан он был быстро. Внешне он был довольно потрепан, а что внутри, то я не спец, но все-таки выглядел он благо-родно....

Сейчас я прочел одну утешительную строчку у Делакруа: «Я открыл живопись, когда у меня уже не было ни зубов, ни здоровья». Возможно и я доживу до такого трагического и светлого момента, ведь подойти и это что-то уже есть.

Это я пишу и читаю, вернее, дочитываю – в Москве не успел – «Жажда жизни» Ирвинга Стоуна. Обязательно прочти, если еще не читала. Впрочем, там, наверное, нет такой книжки. Она проста по форме и очень убедительна, тем не менее.

Я получил за обложку 35 руб.³, и ты знаешь, как я безрассудно трачу иногда. Я купил у Николая Михайловича очаровательную картинку Шарля Бупе 95 г. (имени никогда не слышал). Еще бы мне хотелось приобрести Фалька (но это невозможно) и еще вещицу у Н.М. Настоящие картины никогда не станут дешевле. Наоборот, со временем у тебя будет капитал.

Четверг, 22 марта 1962 г., Саратов

...Если я поработаю как следует, то деньги будут рано или поздно. Все-таки у меня живопись настоящая, а она редкая, когда-нибудь людям будет нужно и то, что делал я, грешный...

Самое приятное же вчера было то – что получил письмо от Виктора⁴.

¹ «Зимний пейзаж», собственность Саратовского музея им. А.Н. Радищева.

² Пометка Ирины Николаевны Пятницыной, сотрудника Радищевского музея.

³ Обложка издания: «Каталог Саратовского художественного музея им. Радищева».

⁴ Виктор Чудин – художник, друг М.Н. Аржанова, в то время жил в Польше.

Письмо очень короткое. Пишет, что живет скучно. «Живопись почти ушла от меня», но весной надеется всё восстановится; в августе будут в Саратове (отпуск). Жалеет, что не застанет меня.

Конец марта 1962 г., Саратов

Шлю тебе привет и свой первый опыт в линогравюре. Если присмотришься, то кое-что разберешь. Делал я её так, для физзарядки, ночевал я в музее, а утром проснулся рано и до прихода Володи¹ сделал рисунок, а потом после обеда, когда у нас шло очередное сражение в шашки, я нарезал доску и напечатал 5 листов. Нет валика для краски и краска плохо приготовлена, поэтому печать очень скверная. Я еще, быть может, кое-что дорежу на доске и отпечатаю лучше, тогда пришло еще.

Сейчас кончился очередной сеанс с Алёхи. Что-то завяжется, и снова не могу довести и бросить жалко, столько я его мутузил. Завтра ещё, наверное, напишу и брошу. Живописно довольно, но как-то скучно. Может быть, сегодня он повеселее (этюд) стал.

Воскресенье, 1 апреля 1962 г., Саратов

...Вчера начал писать Наташу². Пока сделал три наброска, из них один более всего в характере и по остроте – приятен, второй я записал сегодня другим (с Татьяны³) и сделал с Наташки ещё. Пока не найду самого нужного в композиции и рисунке, писать не начну. Если найду, то может получиться интересный портрет, т.к. Наташка очень интересная внешне. Вся беда в том, что очень легко впасть в шаблон. Временами она как картинка, и это меня отпугивает, а острые моменты почти неуловимы. В среду продолжу поиски и, может быть, в следующую субботу начну писать. Работа над Алешей меня многому научила и ещё научит, т.к. я еще его продолжаю писать. К тебе я приеду завзятым портретистом. Хотя я не сделал еще ни одного, но обещание какое-то есть.

2 апреля 1962 г., Саратов

...Я уже успел много сделать тебе больного, может быть будет и ещё больнее, но это не потому, что я не хочу уберечь тебя от неприятного, а потому, что я действительно не могу быть кристаллом, потому, что я слаб разумом, наверное, и нет у меня воли. Воля та, которую я наблюдаю, например, у Николая Михайловича, меня не устраивает, ко мне она не привьется. Это воля «сильного» человека. А я могу только любить и позволяю поэтому часто выкручивать себя. Мне только не все симпатичны. Это меня спасает. Драться я могу до последнего не за себя, а за свою любовь (ты ли это, друг или живопись)... На днях я буду собираться. Надо будет заготовить грунты. Потому, что осталось немного времени. Для меня, во всяком случае, июнь подойдет незаметно, хотя и кажется порой, что время остановилось. Работы у меня уйма. Три дня я писал вместе с компанией Чижиковой (в Музее, внука В.А. Серова – Д.М. Серова, преподаватель в консерватории). У меня, кажется, кое-что получилось интересное в смысле портретном. Н.М. даже настаивает, чтобы я на время оставил свой прежний метод и поработал вот именно так, как сейчас. Нонна⁴ сегодня увидела и предложила мне написать с неё портрет. Я не ожидал такого успеха, потому что этюдик в смысле живописи более чем скромный, но тонально решен хорошо и в композиции. Может быть, и впрямь мне серьезно поработать над портретом. Ведь когда-то я мечтал работать над портретом и пейзажем.

17 марта 1962 г., Саратов

Все эти дни скучища жуткая, главное оттого, что ничего не делал недели две уже. Дни тяжелые, весенние. Устаешь просто от времени. С утра писать не удастся...

¹ Солянова.

² Наталия Ляшенко – сотрудница музея.

³ Татьяна Павлова – студентка СГУ, племянница директора музея В.Ф. Завьяловой.

⁴ Нонна Валерьевна Огарева – искусствовед, научный сотрудник Музея.

Вчера ночевал у Валентина Израилевича¹, уснули мы, наверное, с ним в 3 часа. И разговор-то вначале был такой скованный, а потом он как-то затравил меня. Рассказывал ему о некоторых понятиях искусства. Он во всем хочет найти математический (философский) закон. Я ему сказал, что одними законами в Искусстве не обойдешься, целый кодекс нужен, с бесконечными белыми страницами. И вот доказательства отняли всю ночь.

Лето 1962 г., июнь (июль), Саратов

...Вчера в Саратове было совершенно невероятное событие. Ты, наверное, не поверишь мне, но клянусь, всё истинно. Вчера я с Володей делал обход в Западном отделе. Появилась группа людей, которые сразу выдали себя. Это были – художники из Москвы. Люди разных возрастов, много женщин. Начали восторгаться Петровым-Водкиным, Кузнецовым, Борисовым-Мусатовым и т.д. и упросили Наталию Ивановну² показать «запретных» художников. Она вытащила им Машкова, Лентулова и др. из запаса. Словом, мы познакомились, они пригласили нас на пароход посмотреть их работы. Когда мы пришли, оказалось, что все они (почти поголовно) абстракционисты, кубисты, одним словом, левые. Невероятно то, что они четвертый год работают в студии, организованной художником Белютиным в Москве, второй год снимают пароход и плавают по Волге. Живут коммуной, работы все вместе валят в одну кучу, готовы со всеми поделиться своими достижениями. Это так было неожиданно, тем более что в Москве я ничего не слышал о них. Они пытались устроить выставку, но открыта она была только полдня. Все-таки как это невероятно, особенно, когда Завьялова чуть ли не каждый день твердит о том, что-де старое все же неизбежно и мы должны не свихиваться. За два часа до отплытия парохода произошел случай, который доказал простодырам москвичам, что Саратов есть ещё тот Саратов. Пришли две дамы и начали извиняться перед Н.М. (мы были на пароходе), что они не смогли попасть к нему (они условились прийти к нему на квартиру посмотреть его вещи), так как их забрали в милицию на улице. Саратовская власть не дремлет: абстракционизм у нас на прицеле. А что они за люди – проиллюстрирую: среди них нашлись такие, которые нашли даже Ник. Мих. допотопным старичком, давно вышедшим из моды со своей живописью. Мою картинку заметили, сочли очень приятной, но тоже старорежимной. Это – справедливо. Теперь я думаю, что мне будет очень легко, если я сумею одолеть абстракцию сам, один, в чем, впрочем, я совершенно не уверен. Второй год я подошел к рубежу и остановился. Теперь или я одолею абстракционизм, или скачусь в болото. То, что они делают, в сущности, не идет дальше того, что делалось уже с 1910 года в России до 30-х годов. В прошлом году я как-то поддался общему давлению и начал скатываться к компромиссу. Теперь я вижу, как я заstopорился, и боюсь, что дорого мне придется заплатить за отступничество от своей программы. Ведь я уже в 59 г. подходил к кубизму. Это было в моей программе самообразования, а Н.М. вдруг решил, что нам с Виктором следует остановиться и сделать что-то компромиссное, я теперь так раскаиваюсь, что послушал его. Хватит с меня его руководства, теперь я только советуюсь с ним, потому что он уже заявил, что хватит с него живописи, старое надоело, а абстракцией заниматься поздно. Он прав... Вчера настроение у меня все-таки пошло в гору. Приятно сознавать, что не всё на Руси убито. Дуботолы нахальны, но они сами себя секут.

8 декабря 1962 г., Москва

...Я уехал в Москву 3-го, в 10 часов, приехал в самый момент разгара страстей вокруг выставки художников МОСХа за 30 лет, на которую были собраны многие вещи художников, считавшихся раньше формалистами, но в последние 2-3 года ставших уже классическими именами: П. Кузнецова, Р. Фалька, Лентулова и менее известных мастеров. Успех (в большинстве уже покойных) мастеров вызвал такую злобную реакцию со стороны наших академиков, которая привела к тому, что началась новая волна самого глупого и самого непристойного фарса из того

¹ Валентин Львович Израилевич – математик, преподаватель СГУ.

² Оболенскую.

же репертуара, которые разыгрывались и раньше. Если ты читаешь газеты, тогда ты должна кое-что знать. Я скажу только то, что в печати не появится. До посещения Хрущевым выставки в «Комсомолке» была статья о «многом хорошем и разном», где тепло было сказано о Кузнецове (хотя на выставке его вещи слабые), Фальке, Лентулове и о молодых Андронове и Никонове. И сразу после того как эти нечистоплотные «реалисты» типа Бородина и Новосельцева охмурили Хрущева (а я убежден в том, что все это было подстроено, и Хрущева обработали предвзвешенно, так же, как и намеренно были выбраны ничего не значащие вещи Кузнецова и мало выразительные вещи других), разразился такой поток выступлений и статей против абстракционизма, который ползет как блевотина, потому что, кроме демагогии, ничего в этих статьях серьезного нет. На выставке не было ни одного абстрактного произведения, и тем не менее люди перепутали все и решили, что Фальк – абстракционист, а между тем его Пейзаж («Сена в Париже») – вещь классическая и единственная на выставке классика (из живописи). «Обнаженная» сильно написана, но это не классика, как и несколько еще других его вещей (3 портрета и натюрморт). А теперь около Фалька пробка (смотреть невозможно). Просто смех, но Никита Сергеевич заставил теперь всех внимательно посмотреть, кто же такие Никонов, Андронов, Пологова и др. На другой день после посещения на выставке произошел скандал. Объявили, что в зале откроется дискуссия под председательством А. Гончарова («Дискуссионный клуб»). Что там было, я напишу позже. Но все, кому наше искусство по-настоящему близко, возмущены. Всем очевидны грязь и мелочность поступков академиков и нынешних руководителей Союза художников. Все они выкормыши культа, и непонятно только, как правительство наше село в лужу. Ясно, что Андронов, Никонов, Жилинский, Смолины и др. молодые ещё люди и несомненно очень талантливые, но их двигали до поры до времени, потому что по молодости они не пришли в тому, к чему долгая была их привести логика художественного развития, а теперь, как только Никонов стал набирать настоящий разбег, ему сразу по зубам. Но эти художники ещё, так сказать, правоторные, а вот те молодцы, о которых я тебе рассказывал (были у нас в Саратове), те вообще были сами по себе, но их не сочли даже за художников, именно их вещи смотрел после выставки Хрущев, а среди них есть очень талантливые живописцы, может быть они действительно стали абстракционистами, но вряд ли, так как то, что я видел у них, было очень далеко от абстрактного искусства, а прошло несколько месяцев после лета, и конечно они не могли натворить все до единого – абстракций.

16 декабря 1962 г., Москва

Сегодня у меня был день, насыщенный впечатлениями до предела. С часу дня собрались мы у Савеловского вокзала (несколько человек) и поехали в Лианозово. В Лианозове мы часа два были у Оскара Рабина, который показал нам свои вещи (что-то среднее между экспрессионизмом и сюрреализмом), картины этого года в основном натюрморты на фоне города (бутылка-сеledка, две бутылки, три бутылки, цветок и фотография, электрическая лампочка, очки, окно, через которое виден город или улица, или крыша дома с котами, дорожные указатели, цветок на фоне иконы с московскими чудотворцами и т.д.). Но это надо видеть. Написано всё очень крепко, хотя и в одной гамме серо-оранжевой. Мне лично понравились три вещи, остальные ничего не прибавляют к его идее. Сам он очень симпатичен – лысый, худой, но лицо свежее, хотя он не молод. От него мы поехали к его тестю, это уже на Долгие Пруды (собственно, автобусная остановка называется по имени села, название которого выпало у меня из памяти). Это старинная дворянская усадьба, с которой (мне думается) не один бытописатель помещичьей жизни списывал внешний вид. Сохранилось почти как на старинной гравюре. В широкой неглубокой долине – шоссе, по сторонам которого друг против друга село с церковью на гребне холма в сосновом бору и помещичья усадьба в лесопарке, который спускается к прудам, через которые от шоссе идет плотина с остатками деревьев, которые шпалерами стояли по обе стороны плотины. Эта усадьба несомненно строилась по плану архитектора-классика, и мне кажется, это место больше других имеет право быть заповедным. И вот на том же холме вправо от усадьбы несколько домов. В крохотной

комнате (метров 9) мы находим трех художников (подлинных), супруги-старики и сын лет 45-50. Все абстракционисты.

Правда, сам Евгений Леонидович Кропивницкий не совсем «чистый» (похож немного на Ивана Никитича Щеглова, как человек), а его жена и сын – уже безусловные абстракционисты. Сын живет в городе (мы еще сходим к нему), зовут его Львом. Оказалось, что Николай Михайлович знаком с ними, и у Льва есть две его вещи, но они его называют поздним импрессионистом. (Я смеялся про себя, когда представил Н.М. – как он будет принимать мой рассказ и их характеристику его, ведь он почему-то никогда не хотел сказать, с кем он знаком в Москве.)

Хочешь знать, как они живут? (Да, Кропивницкий-старший назвал еще 3-х художников очень интересных: Цебина, Пологовского и Харитонова.) Так вот: они живут, как, вероятно, жили все подлинные художники – духом. Работать – негде, даже вещи негде складывать, и все-таки они существуют. Кропивницкий – еще и поэт, и музыкант. Одеваются как крестьяне, и быт весь как у самых бедных, и только комната, в которой книги и великолепные тонкие вещи на стенах говорят о том, что это люди высокой культуры, а когда слышишь, вдруг, как старушка, ничем внешне не отличающаяся от моей матери (портнихи для бедных), тихо беседует с сыном об экзистенциализме (деревня и Сартр), то хочется остаться у них и никуда больше не идти, начинаешь вдруг переживать то состояние, которое испытывал я когда-то перед картинами Рембрандта или в детстве, когда я, набегавшись за день, не знал, куда идти, к матери или бабушке – я любил их равно. Одна московская художница, бывшая с нами, всю дорогу попытывалась, что это такое – экзистенциализм. Вот какие это дебри – Москва, я начинаю верить в то, что это истинно великий город... Я так жалею, что ты не со мной сейчас, ведь такой бурной погоды в искусстве давно не было. В пути и у Рабина только и было разговоров о том, чем кончится сражение между людьми настоящей культуры и узурпаторами академиками во главе с Серовым завтра в ЦК. Говорят, что Н.С. Хрущев кому-то, опамятовшись, бросил фразу: «С Пастернаком мне свинью подложили». Очень долго писать, поэтому лучше расскажу все в другой раз, как здесь проходили события и чем в конце концов это кончится. Мне, да и всем, пожалуй, ясно, что тот бой, который может завтра произойти, внешне ничего не изменит, но сдержит правых. Дело в том, что завтра в ЦК или в правительстве будут заслушаны и правые, и левые, которых представлять будут, с правой – Серов и пр. официозные, а за левых Илья Эренбург и другие известные деятели, которые якобы написали письмо-протест или жалобу правительству на Серова и всю его братию. Скульптор Неизвестный, который примкнул к так называемым абстракционистам, один вел себя умно, мужественно и отстоял честь, в сущности, всех левых. Так как его вещи смотрели позже, то он, возможно, имел время собраться духовно и взять себя в руки. Хрущев ему прямо сказал: «Вы мужественный человек, и я поддержу то, что у Вас “ангельское”, а черта мы постараемся выгнать». Много и таких рассказов, о которых просто нельзя писать по моральным соображениям, тем более что к Хрущеву я отношусь с большой симпатией, после особенно нынешних разговоров. У меня сложилось такое впечатление, что сорвался он совершенно искренне, как должен сорваться всякий человек, который совершенно был убежден, что его кто-то водит за нос, и он решил, что это гады-абстракционисты. А на нашей почве абстракционизм – как гриб неизвестной формы, попробуй сожри его, кто его знает, съедобен он или ядовит, по виду ведь для здорового человека это в самом деле выглядит погано. Как любая новая мода, людям, не живущим модой, кажется всегда дикой. В этом конверте я посылаю тебе сразу три письма. Это в некотором роде мой дневник, так что я прошу сохранить пока эти письма.

26 декабря 1962 г., Москва

Я хотел сразу тебе написать, но очень был занят. Я попал сразу в самый центр абстракционистов московских. (Я писал уже тебе о них немного.) Был я еще у двоих. Сегодня иду в третью мастерскую и за оставшийся один день (уезжаю я 28) должен сходить еще к одному махровому абстракционисту. Но между прочим я встретил художника, который вероятно никогда не будет абстракционистом по убеждению и по духу, но делает близкие к абстракционизму вещи (как

эксперимент), он мне очень понравился, возможно, мы сойдемся поближе. Этот вояж дал мне невероятно много всяческой пищи, «главное» я, кажется, понял. Если по приезду начну сразу и серьезно работать, то сделаюсь настоящим художником.

27 декабря 1962 г., Москва

Завтра я уезжаю, поэтому на всякий случай зашёл на почту и получил твоё ласковое письмо. Не убивайся ты ещё по Ируське, пока нет причин. Я убедился в том, что ей в интернате лучше. Ведь в сущности она не помнит того далёкого и смутного времени, когда она была маленьким весёлым огоньком. Страшная черта разрешила её сознание, и пока ещё не удалось мне установить, помнит ли она, что было у неё и кругом до болезни. Вряд ли она помнит, слишком мала была и слишком сильное потрясение, ведь тогда речь шла о жизни и смерти. Смерть она победила (тогда это было маленьким утешением для меня). Ну, а теперь никуда уж не денешься. Единственно, за чем надо теперь следить, чтобы душа и разум её не были искалечены. Если бы она была с нами, я был бы самым счастливым. У меня есть инстинкт, не говорю умение, к воспитанию. Может быть, она была бы не так ухожена в смысле чистоты физической и во всех бытовых мелочах, но душу ее я сделал бы золотой, такую, как у тебя. Тогда бы она может быть и не так была бы несчастна. Кажется, она неглупая, но черты маминого характера иногда в ней сказываются. Сегодня у меня вообще счастливый день, 3 письма: от тебя, от Гены¹ и от Ируськи, сама написала в ответ на моё. Рад и тому, что прислала она мне из интерната, а не из дому. Верно, без участия матери, т.к. адрес написан незнакомым почерком. Просит привезти ленты, мандарины и конфет «Мишки» и «Красная шапочка», т.е. как раз то, что я не могу найти. Тебе я все-таки исхитрился купить подарок крохотный – безразмерные перчатки, но не знаю только, к чему они тебе там; приедешь – получишь, а если хочешь, то пришлю. Жизнь вздорожала настолько, что я израсходовал почти все деньги – и зарплату, и командировочные только на жратву. Ем я, правда, много.

3 января 1963 г., Саратов

...Потом у нас было очень интересное собрание или встреча (что-то неопределенное по форме) на набережной². М.П. Котов (предс. Союза писателей в Саратове) был («от всей Волги») представителем на достопамятной встрече деятелей культуры с ЦК. Так вот, он рассказывал, как там «происходило». Рассказывал он, как для дурачков, возмущался, негодовал на абстракционистов, и тон его был настолько угрожающим в иных местах, и падали его речи на такую почву, что когда я задал «простенький» вопрос, то он попытался «по-простецки» ответить. Но тут кое-кого прорвало, и его начали просить ответить. Но ответить он не мог, т.к. его демагогический пыл поддерживался только магией прошлого страха. Нонна³ в перерыве просила меня: «Не вздумать выступать» – «Разве ты не знаешь, что это за сундук?» Я не знал Котова, но теперь тоже не могу сказать, что знаю его, но все-таки кажется, что это те самые, которые и были деятели культа. А вопрос я ему задал так: «Где граница между натурализмом, реализмом, импрессионизмом, абстракционизмом и как народ практически нас (т.е. художников) разбирает, оценивает. Что значит – народный вкус и т.д.», так как он в своей беседе бесконечно говорил «Для народа», «Народный здоровый вкус» и т.д. Он ответил: «Ну, вот Репин и Татлин, кто знает теперь через 30 лет, кто такой Татлин?» Я конечно знаю, что такое Татлин, но я сказал, что не знаю – потому, что не видел его и возможно, что он действительно ничего из себя не представляет. Ну, а если брать нынешних, которые одинаково известны? Чтобы их оценить, надо видеть. Значит, надо показывать. Он спрятал голову, хотя Моисейкин и еще кто-то начали кричать: «Отвечайте!» Как удобно прятаться за народ. Меня всегда возмущает такое наглое жонглирование понятием «народ». Обвиняют такие деятели в неуважении к народу, а сами считают его за стадо. Это и не по-ленински, не по-

¹ Брата М.Н. Аржанова.

² В Выставочном зале, на Набережной.

³ Огарева.

марксистски. Это так глупо, вульгарно, что просто силы нет, и думаешь, к чему такие молодцы приведут народ, каждый в своем околотке. Никто абстракционистов не понимает, и я в том числе. Но я также твердо знаю, что через какой-то искус мы должны пройти. И все должны увидеть, что это не то. Тогда это будет самой убедительной критикой. На искусство нельзя ни нападать, ни защищать, его надо учиться понимать. Разумеется, я не имею в виду явления социологического искусства. Содержание, враждебное нашей идеологии, не может иметь места – это само собой. Очень долго говорить о таких вещах в письмах, поэтому я кончаю. По поводу статьи Новосельцева (прилагаю вырезку) Архангельский спросил у Боброва, как она вяжется с тем решением, которое было принято на специальном заседании правления с членами Секретариата РСФСР, не вызвано ли оно конъюнктурными соображениями? Новосельцев сидел молча. Я мысленно пожал Архангельскому руку.

12 января 1963 г., Саратов

...Большое тебе спасибо за фотографии и рисунки, особенно за Любашин. Ируська уже так не рисует. Не знаю, что происходит с человечком. Бессознательно они почти всегда делают изумительные вещи, а как только вырастают – всё куда-то исчезает, начинают уже не рисовать, а рассказывать и пересказывать, свое отношение пропадает и они начинают изображать то, что видели где-то и уже взятой напрокат техникой...

Тяжелы минуты и часы вечером, но теперь я начинаю работать и, думаю, задавит она и вытеснит все, мне бы только избавиться от бесконечных и ненужных уже разговоров об искусстве, которые ведут теперь все и везде. Я понял всё и благим намерениям (ничьим) не верю. Миром правят гнусные, обветшалые, бессмысленные законы. Политика – сплошной маразм. Человек, вероятно, почувствует благо только тогда, когда отпадет нужда в бюрократах, в этой громоздкой неуклюжей машине государственности; нужна математическая, бесстрастная машина, которая будет управлять хозяйством, тогда все грязные политики должны будут стать или откровенными бандитами, или людьми.

Я прочел сегодня два интересных стиха Б. Слуцкого. Пересказывать не буду, но пришлю, они, кажется, не печатаны. Ещё на столе у меня лежит, кажется, тоже интересная книжица японца Акутагавы Рюноске «В стране водяных». Если попадется – прочти. Я боюсь, что ты от многого там отвыкнешь, поэтому жми на музыку, чорт с ним, с немецким, и прочими. Немецким займемся, когда будем вместе. В Москве (не помню уже, кто) читали речь Камю, произнесенную им при получении Нобелевской премии. К сожалению, я знаю только кусочек, да и то плохо помню, но впечатление оставило чтение у меня такое, что на Западе нашим друзьям хуже, чем нам. Там им достается с двух сторон. Писатели и художники такого толка, как Альбер Камю, сами по себе. Камю в этой речи излупцевал и правых, и левых. Возможно, что она есть и в Саратове. В «Иностранной литературе» должен скоро появиться его роман. Если ваша библиотека выписывает этот журнал, то познакомься с ним.

Н.М. сейчас со мной почти нежен, снова начал строить планы насчет Марфутки и даже насчет того, что можно было бы поселиться на юге, купить домик, завести кур и кормиться и работать для своего удовольствия, в компании друзей только. Я посмеялся: у меня планы хоть трудные, но осуществимые, а у него вообще фантастика... Н.М. провозглашает свою свободу и для себя; должен ли я принять его принцип? По его же логике – нет. А он судит и рядит по своим принципам. Почему прав христианин, а не мусульманин? Почему я не имею права сбросить груз (и проклятие) веков? Это может быть мне не под силу, но почему не попытаться? Можно свернуть шею. Но право (как личность, себя утверждающая) я имею.

Я знаю, он будет возмущен, если воспользовавшись его понятием свободы, наступишь ему на мозоль. Но это доказывает только то, что и его принцип еще в декларации больше, т.к. в одиночку не сбросишь этого груза веков. Идущие с поклажей возмущаются и задают тебя. Вот поэтому и у гордого, и смелого можно найти лицемерие, если он хочет побыть хоть немного без поклажи среди обремененных...

20, 28 января 1963 г., Саратов

...Я тут подрядился давать уроки рисования в университете на Геофаке. Весной очень нужны будут деньги. Я снова думаю устроить отпуск за свой счет, если, конечно, не сорвусь вообще из Саратова. Может быть, ты подумаешь, куда можно бежать? Напиши в Ср. Азию, у тебя там кто-то есть?

...Сегодня 4 часа провел в СГУ – заочникам геофака давал урок рисования. Устал, наверное, зверски, оттого и тупость. Теперь думаю, что я сдуру согласился на эту работу. Деньги – 1 рубль в час. Заработаю я полсотни, а напряжения и нервов – вдоволь. В школах как будто нет уроков рисования. Они никакого представления ни о чем не имеют. Впрочем, с них и нельзя спрашивать, в большинстве это пожилые люди. Человек пять офицеров, один – герой. Работать я их заставил усердно, но чувствую, все-таки они бестолково все делали... Иногда мне представляется, что я не доживу до счастья, что его уж не будет. Все боюсь, вот что-то у меня оборвется и конец. Я стал поглядывать на зеркало, потому что раньше я не чувствовал на себе поступи годов, а теперь все чаще думаю; осталось так мало, и если и дальше все будет так же, как сейчас, то я ничего уж не скажу. Я дошел в сущности только до азбуки искусства, до понимания каких-то основ, а ведь надо найти свое место. Я не говорю о желании, которое присуще только гениям, которые поняв все – все и отринут и делают свое. Но так хочется хоть приблизиться к тайне, увидеть отблеск, мираж, сон...

Если только я не налажусь в смысле живописи, то будет тоска смертная... Придумай что-нибудь, я теперь, надеюсь, не буду занимать себя иными задачами, кроме живописных. Теперь у меня композиция и рисунок – это две точки, которые надо одолеть. Я так долго плыл по волнам, что боюсь, не сумею удержать себя в ученических шорах.

24 января 1963 г., Саратов

...Последние дни эти мы думали только о Николае Михайловиче...¹ Я собрал деньги с нашей «элиты» и купил маленький этюдный ящик с треногой (вроде моего, только вдвое меньшего формата), завтра мы вручим ему этот подарок. Сейчас я сидел и придумывал новые фигурки (художественные) для шахмат (мне пришла в голову мысль – дощечку в ящике превратить в шахматную). Несколько фигурок я придумал и попутно открыл кое-что новое для рисовальщика (по мелочи, конечно). Очень интересной получилась у меня голова короля и кое-что другое. Я никогда не забывался, а занятие это не бесполезное и интересное. Законы обобщения и стилизации здесь необходимо найти, чтобы сделать художественно и интересно...

Если эта зима меня не доломает, то может быть я еще и сделаю что-нибудь... Вчера я рисовал с Наташки Л., но измучился днем, так туго у меня рисунок идет...

Конец января 1963 г., Саратов

...Все дразги мешают работать, я фактически ничего не делаю, а если делаю, то топчусь на месте. Новое не дается просто, обязательно надо втравиться, надорваться и изломаться. Возможно, судьба бережет меня из-за моей слабости? Не хочет, чтобы я был распят, как распинают себя настоящие большие мастера. У меня была потенция, которую я чувствовал лет до 35, теперь я её не чувствую, я уже действую в силу инерции; если я не обрету веру в себя, то инерции надолго не хватит и тогда доживать...

8 февраля 1963 г., Саратов

...Последние события: Ник.Мих. с 6-го (т.е. уже два дня) как не работает. Переживает он трудно. Но и работать он уже перестал, а работы в Музее не убавилось, хоть штат и сократили... Он жизнь понимает иначе, а главное, последние годы просто прожигает. Мне это рановато. Володя² и тот рад, что наконец-то можно как-то быть спокойнее, потому что, сама знаешь, каков характер

¹ Проводы на пенсию Н.М. Гущина.

² Солянов.

у старика. Уважение наше к нему и благодарность за уроки (художника) остаются, но без конца учиться нельзя, пришло время освобождаться, об этом мы уже говорили в Борогонцах.

Теперь мы решили каждое утро писать. Вчера я уже сделал один натюрморт (правда, писал ночью). И работа у нас музейная идет...

Сейчас в Москве выставка Леже и предполагается Гуттузо, так я должен съездить. Затрачу я рублей 40-50, но это доступно, а можно даже уложиться и в 30 рублей.

Понедельник, 18 февраля 1963 г., Саратов

...Я как будто начал писать регулярно. Сделал три маленьких натюрморта с рыбок. Начал еще один натюрморт. И так далее, думаю, будет идти, если не будет какого-либо непредвиденного возмущения. Пока настроение у меня скверное. Не хочу изводить тебя нытьем, но временами готов бросить всякую живопись. Настоящего большого мне не сделать, а все эти упражнения не получают развития. Я почти топчусь на месте. Может быть оттого еще кажется, что я слишком упустил много времени. То, что я делаю сейчас, мне кажется, я давно уже должен был это уметь. Глуповатым художникам легче, они верят в себя и достигают больших результатов. У меня бесконечные сомнения и пересмотры путей. Теперь я смотрю на свои старые (иные) вещи с некоторым удовольствием. В них по крайней мере есть искорка святого неведения и веры. А сейчас я чувствую и знаю, как мало я умею и знаю. Все-таки – нытьё.

Получил твои письма... да еще и перевод (вчера) на 20 руб. Денег мне теперь хватать будет. Я уже тебе писал, что получаю 120 рублей. Так что не транжирь и копи. Я не умею, да и соблазнов здесь много. Вот мне обязательно надо ехать в Москву, посмотреть Фернана Леже. Книжки великая вещь, но еще лучше собственные глаза... С ружьем дело сложное?¹ ...Если я пишу ночью, то просыпаюсь только к рабочему времени. Иногда меня будит Пугаев² или Володя. И, вообще, когда я пишу, то даже за обедом не оставляет меня «идея». Поэтому так медленно у меня все дела проворачиваются.... У нас открылась выставка «25 лет Саратовского Союза художников», и снова началась мышиная возня. Николай Михайлович и Володя забрали свои вещи, мою решили оставить, но в субботу еще мне сказали, что все правление требует снять мой пейзаж и Юстицкого. Просто идиотизм. Это доказывает, что и основ-то живописи они не понимают (правленцы), а что касается сюжета, то лошадок и тележки делает сам Новосельцев в духе поздних передвижников, и тот же Фомичев на обратной стороне представлен лошадаками с обыкновенными розвальнями. У меня же сюжет вечный – деревья и кусты и настроение есть. Значит, плоха форма – может быть, но только не в сравнении с ними. На этой выставке нет снова лучшего пейзажа (а за 25 лет), если исключить Щеглова, а я ему не уступаю, даром Иван Никитич до самого своего конца расхваливал его и рассматривал. Он – пейзажист и живописец.

Вторник, 19 февраля 1963 г., Саратов

Вчера я отправил тебе письмо, не хотел распечатывать, а надо было дополнить. Дело в том, что пока я смывал с себя недельную грязь и стирал белье, наверху шло заседание выставкома, очень бурное, так как решали вопрос, снимать Юстицкого, П. Кузнецова и известного тебе Аржанова или не снимать. Музей в лице Н.И. Оболенской, В.Ф. Завьяловой и художники Бобров и Жуков хотели отстоять, но так как банда была большая, то проголосовали и сегодня преподобную троицу сняли. В отношении меня – это бандитизм, у них нет аргументов, и сработал механизм голосования, как в ООН. Лично меня это не затрагивает, но принципиально я, да и другие, просто в недоумении: что же такое реализм, если мой добропорядочный пейзаж считается уже не реальным? Сам факт неучастия в этой выставке тоже еще ничего не говорит, но я думаю, на этом они не остановятся, и возможно меня вышлют из Саратова. Не удивляйся. Есть некоторые предположения на этот счет, которые строятся на некоторых непонятных действиях, наблюдаемых в

¹ Якутский охотник попросил М.Н. Аржанова отремонтировать его ружье в мастерских Саратова.

² Пугаев Владимир (Вилен) Григорьевич – директор Радищевского музея.

художественных учебных заведениях. В Московском институте имени Сурикова исключили несколько студентов, у нас в СХУ тоже исключили двоих с 5 курса и одного с 3 курса. Я думаю, что какие-то мудрецы придумали (применили) давно известную целую программу репрессий в новой форме. Посмотрим, как будет все это развиваться дальше. Потихоньку можно жить конечно при всяких обстоятельствах, но я уже не могу. Мне и раньше не терпелось, а теперь я просто не в силах видеть всех прохвостов, которые, прикрываясь демагогическими фразами, душат всё живое, объявляя не советским, не нашим. Протаскивают и защищают натурализм и всякие обветшалые формы под флагом борьбы с абстракционизмом. Закрывают глаза на то, что самое реакционное течение в Америке как раз и есть натурализм, который используется там именно для официальной империалистической пропаганды. Абстракционизм не может (в силу того, что это – оружие, которое не стреляет) служить для пропаганды и агитации только потому хотя бы, что он вообще ничего, кроме игры форм, не выражает. Другое дело – сюрреализм.

А у нас свалили все в одну кучу, назвали абстракционизмом и давай ломать, а в провинции особенно.

Во Франции есть художник Лапужад, который ташистским приемом (т.е. пятнами) делает, как он сам говорит, реалистические картины. Это, конечно, натяжка, но я хочу сказать, что все методы могут быть использованы в интересах человечества и против него. (Атом – например.) У нас же объявлена война всякой новой форме. Если форма не натуралистична, то, несмотря на её содержание, картина уже объявляется неприемлемой. Это по меньшей мере – реакционно, а если сказать так, как думают настоящие художники, вообще губительно для искусства. То, часто наблюдаемое механическое заимствование заграничной формы, конечно, глупо, но разве можно, например, подводить под эту категорию П. Кузнецова или Петрова-Водкина, которые идут от нашей земли, от истоков русского искусства. И этот «лисий хвост и волчья пасть» – Миловидов прекрасно это понимает, но из шкурных соображений говорит и творит обратное. Мне обидно, и я начинаю терять доверие к тем партийным работникам, которые полагаются на таких прохвостов (он же виноват в том, что И.Н. Щеглов отсидел в тюрьме – стариком! – четыре года). Он козыряет тем, что он был какое-то время на фронте, хотя уже в 42 году он уже учил нас.

...Очень много колготы, сегодня не удалось пописать. И, вообще, вероятно будет снова эта невротепка. Еще действует погода, у нас тает, такие дожди, как весной. Февраль. А у меня отказывается то одна нога, то другая. В морозные солнечные дни я чувствую себя отлично, ты знаешь, но таких дней в году иногда бывает очень мало. А как я любил эти воздушные тающие дни и ночи...

Читаю очень интересный (поначалу) роман Белля «Бильярд в половине десятого». Найдешь, прочти. Как с музыкой?

13 марта 1963 г., Саратов

...Твои 20 рублей я мигом истратил на репродукции и книгу... Ружье почино, успокой Максима. Мне некогда писать, потому что я пишу. У меня запой, ты понимаешь это? А потом, эти бесконечные сейчас теоретические и политические вопросы. Совещания, обсуждения и разговоры. Вчера, кажется, единственный раз в этом году я выбрался на концерт. Нет, вру, был ведь еще как-то, я помню Шопена, которого ты играла...

23 марта 1963 г., Саратов

Никуда не уехали ты да я:
Обернулись прорехами – все моря!
Совладельцам пятерки рваной –
Океаны не по карману!¹

¹ Письмо начато строфой М. Цветаевой – как ответ на обсуждаемые в предыдущих письмах (опущенных) планы о путешествии по Лене на лодке, затем – о поездке к океану и т.п. Обсуждение продолжалось и в цитируемом письме, но в конце М.Н. «подвел черту» – снова:

...не сердись, что мало пишу (точнее – редко). Весна у нас запоздала – всего дня 4 как сбросили одежду зимнюю. Сегодня 23, а лед ещё стоит и стоит жара второй день. Снег сошел сразу, просто испарился, а было его так много. И теперь вот сразу уйма дел. Главное корабель – стоит он у самой воды, надо успеть хоть что сделать с ним, а заботы другие я по боку сейчас. Философия лезет еще по инерции, иногда дичайшая, но думаю, лодка меня вылечит. И скорее бы встретиться, и жаль уводить тебя от океанов и оленьих глаз...

Апрель 1963 г., Саратов

...Теперь о твоей мечте. Ты не представляешь, как это всё заманчиво, но совершенно нереально. Нереально потому, что денег нет. Сейчас я тебе докажу... Путешествие по Волге после Лены, я думаю, не доставит удовольствия и вообще я боюсь «отравиться» Сибирью. Будешь всю жизнь вздыхать по красоте недоступной. Но очень хочется, конечно. Только одна беда – деньги. Я разучился добывать их. То, что я теперь получаю, пока мне не хватает. Правда, я купил несколько дорогих репродукций еще, но зато какие это вещи! Купил инструмент столярный отличный, купил маленькую канистру и еще себе шерстяные носки. Больше пока ничего не могу скопить... Да, вот ещё: постарайся все-таки привезти из подлинных народных изделий, что сумеешь, чароны, туеса. Я веду себя очень смирно, хотя всё вокруг художников бурлит. Завьялова очень боялась, что кто-нибудь из музейщиков выскочит и «ляпнет» что-нибудь. Припомнила мне снова Карташова. Но я сказал, что этому демагогу я сказал бы то же самое и сейчас. Меня спасает мой музейный пейзаж. После того, как его вынесли с выставки, к Наталии Ивановне стали захаживать все, кто раньше вообще не интересовались местными изделиями, и все удивляются, что не находят в нем ничего формалистического. Наталия Ивановна говорит, что он всем нравится, а вынесли потому, что не вещь плоха, а плох художник, а плох он потому, что и т.д. Я всё смотрю на фотографию твою и думаю, что неужели ты на самом деле цветешь так, как на карточке. А я пережил весну свою вторую без тебя. До февраля я выглядел отлично (ссылаюсь на свидетельства других), а сейчас я ужасен. Приедешь – будешь косить в сторону. Но все-таки я дожил до весны. Очень туго, правда, она идет. Почти середина апреля, а на Волге толстенный лед, в городе масса льду и снега. Только эта неделя запахла весной, все холодно было...

Сплю я на холстинах на реставрационном столе, как оперируемый, в корчах. Но это все ерунда. Главное все-таки свобода. А свободен я пока только в мастерской. Табличка «Вход воспрещен» – вещь отличная. Друзья доступ имеют, но я пока ограничил и друзьям вход. Очень много проблем. А главное не решается ещё. Главное – найти себя. Если бы не было вокруг столько пресупевающих идиотов, то у меня бы не достало духу держать себя в таком напряжении, в котором я был все время, как приехал от тебя.

Н.М. заходит изредка, а я к нему не хожу вовсе. Это свинство, но пока я не могу смотреть его вещи. Он мои смотрит как будто с удовольствием. По крайней мере всё хвалит. У него ещё многому можно учиться, но лучше мне пока оторваться начисто от всех.

Начало мая 1963 г., Саратов

Вероятно я болен – психически. Может, я слишком рано начал писать, но был позыв, а начать не начал, потому что этюды надоели, да и ни к чему, а на серьезное я не способен наверное. Два

– ...Нужна уйма денег. А если еще ты будешь без денег, то придется утешиться следующей строфой из выше цитированного:

Нищеты вековечная сухомьять!
Снова лето, как корку всухую мять!
Обернулось нам море – мелью:
Наше лето – другие съели!

дня что-то толкалось в голове, а потом вдруг ушло и осталась горечь и вот эта гнуснейшая тоска. Я искупался в понедельник (+ 10°), на время парализовано было колено у правой ноги. Мне кажется, что в один прекрасный момент я развалюсь и будет у тебя обуза, а впрочем нечего гадать, прости, что пишу одни жалобы. Но ты просишь, чтобы я не боялся писать тебе всё. Пишу, потому что тоска ли, или еще как назвать – не знаю – но снова что-то давит. Может быть просто – живу без радости... Я никуда не иду. Ничто не зовет. Всё делаю остервенело, но равнодушно. Писать не могу – ничего не волнует по-настоящему. Никому не завидую. Виктор не пишет, другие мне почти неинтересны.

Н.М. как-то почужел для меня. Всё гнусно кругом. Сегодня был просмотр в кинохронике. Бразильский фильм «Плата за обет» и документальный французский (исторический) «Короткая память». Интересные обе и все равно – тоска. Вчера тоже смотрел хороший фильм «Пароль Виктория» (итальянский). Всё как во сне.

Получил твои портреты с девочек; характер выражен хорошо, а формы – нет.

Форма – это, собственно, и есть – искусство. В Москве была выставка югославских примитивистов – художников из народа, крестьян. Колоссальные картины. В № 4 журнала «Творчество» за 63 год есть несколько репродукций. Посмотри. Эти картины меня расстроили. Просто удивительное мастерство и в композиции, и в рисунке, и в цвете.

Воды в Волге – невероятно много. Марфутку возможно снесет или снесло. В субботу проплыл на яхте, увидел, что сарайчика нет, а «самое» затоплено больше чем на метр. Два дня дует восточный ветер. Волны могут снять её с основания, и бьют еще пароходные волны. Если удастся, перетащу её на Гуселку или ещё куда-нибудь¹. Лодка в воде. Боюсь, найду ли её на месте. Якорь слабый. На лапе у меня рана – в воду нельзя заходить.

8 мая 1963 г., Саратов

...Сегодня – 8 – день рождения Ируськи. 5 дней я невылазно просидел на Волге. Лодку я ремонтирую капитально, поэтому нужно было достать дубовый чурбак, изогнутый определенным образом (на это ушло у меня несколько вечеров), и прочие материалы. От работы только устаешь, а когда чего-нибудь нет, то нервничаешь. Еще наверное затрачу недели две на ремонт, но зато лодка более чем наполовину будет совершенно новая. На будущий год я её обоюю новыми досками, поставлю новый ахтерштевень и киль, и лодка будет совершенно свежая, причем лучше, чем она была с момента рождения. Проще было построить новую, но меня разговорил Юрий². Он всегда сомневается в моих способностях. А я ему верю. Вывез я столько грязи, что просто не верится, как в такой маленькой посудине столько может прятаться хлама. Разборка всяческих заплат отняла у меня больше половины времени. Скоблить мне помогали Слава Лопатин и Саня Санников³. Главное я уже сделал. Сегодня всё ноет, но эта усталость мне на пользу. Нервы у меня встали на свое место. За один день я отдохнул, а ведь работал от 6 до 9-10 часов. Прыгал без конца с лодки к верстаку, от верстака на лодку. Но теперь я могу смело строить корабли.

...Меня пропечатали в газете за работой над «Гадалкой со всадниками» и тепереча мне надоть её сдать Фоминой до отъезда. А сегодня мы занялись выставкой новых поступлений. Наталия Ивановна уехала с Наташкой в Ленинград. Н.М. тоже едет и меня предположительно приглашает (если он устроится так, как ему обещают). Я никак не пойму, почему он сейчас очень хочет поработать со мной. То ли ему не хватает духа одному, или скушно. Потом он думает в Пермь податься и тоже меня зовет...

А главное боюсь разбросаться. Этюды надоели, надо поработать посерьезнее...

Ируське я сделал подарок маленький, но очень приятный – двенадцать буклетиков в коробке «Болгарские народные сказки». Текст и картинки очень приятные...

¹ Марфутку, действительно, в ту весну снесло половодьем.

² Хрусталёв Юрий Михайлович – строитель, инженер-конструктор. Друг М.Н. Аржанова.

³ Художники, друзья М.Н. Аржанова.

2-го мая Ируська с Сережкой¹ меня утащили в «лес», т.е. в посадки (я сделал там этюдик), а они были так рады травке, солнцу в этих жалких истоптанных кустарниках, что мне временами становилось больно, ведь без меня они сироты (в смысле том, что могут отвыкнуть удивляться простым вещам)...

11 мая 1963 г., Саратов

...завтра я снова еду на Гуселку дней на 5... Святое ремесло – корабельный плотник. Я немного передохнул и чувствую, как с меня сошла вся скверна, а ведь в апреле меня качало и трепало так, что всё немило стало. Я умею сам себя лечить пока. И физически я окреп уже.

16 мая 1963 г., Саратов

...Ещё убухал 6 рублей на две репродукции. И всё складываю. Повесить негде, все-таки плохо без своего угла.

Заходил к нам Иннокентий Михайлович². Мы с Нонной³ обедали, и он с нами поел. Рассказы-вал о своих путешествиях. С каким аппетитом этот человек прожил жизнь! Он так поджег меня, что захотелось бросить всё и побродить просто, но тут же я почувствовал, что не смогу просто ехать ловить рыбу и т.д. Без альбома, без красок – не смогу.

2 марта 1964 г., Москва

Рита, милая, прости, что не писал тебе так долго, да и сейчас неохота, у меня очень интересная книга, которую, боюсь, не найду в Саратове. Я занят, главным образом, чтением. Живот беспокоит чуть-чуть по утрам. Стараюсь держать диету и есть как можно больше. Кажется, я стал чуть здоровее. Деньги проедаю страшно. Аппетит – отменный, даже страшно становится, а вдруг – рак. Ируська прислала мне письмо, а на другой день получил от Шуры⁴, что она заболела. Послал телеграмму – пока ничего не получаю в ответ. Поправилась или нет – не знаю. Сегодня решил написать тебе и Ируське. Все психованные, и я даже здесь неспокоен. Просто мне нигде нельзя спрятаться. В Музей тоже надо черкнуть. Вчера мы устроили ужин в честь моего сорокалетия. Снова страшно. Лучшая пора позади. Ну, не буду тосковать. Боюсь, что ты едва теплишься, хотя ты и знаешь моё разгильдяйство и невнимательность. Целую, скоро уеду отсюда. Хорошая выставка Голубкиной А.С., другого более путного ничего не видел. Так, какой-то застой, что и летом. <...> Первые одиннадцать дней мы были неустроены. Насилу устроились в гостинице «Южной», после разных хождений в «инстанции». Теперь живём хорошо – отмылись, отдохнули. Ничего всё, но твоё красноречивое молчание меня начинает так забирать, что я теряю всякую видимость спокойствия. <...> Несчастье – это страшно желаемое и... недостижимое. Я бы хотел сейчас обнять тебя и Ируську вместе, но разве это возможно, и мне так тяжело. <...>

Начало декабря 1966 г., Москва

Рит, не обижайся на долгое молчание. Просто здесь не так сразу чувствуешь томительность бега времени. Вот неделя промелькнула, а мне кажется вовсе была пустота. Смотрел Полякова Валентина, потом Петрова-Водкина, сегодня идём в музей ИЗО⁵, может, открыли Пикассо (графика и керамика). Вчера были допоздна у вдовы художника Арапова. Она сама ученица Филонова, очень интересная дама. Может быть, мне понадобятся деньги, рублей 100. Кажется, я набрёл на две иконки. Живу я у Ольги⁶ пока что. Очень далеко она живёт, и электричка 40 коп. в день, для

¹ Сергей Баганов – племянник М.Н. Аржанова.

² Свищев – математик, преподаватель СГУ.

³ Огарёвой.

⁴ Александра Николаевна Агафонова – мать Ирины, первая жена М.Н. Аржанова.

⁵ ГМИИ.

⁶ Ольга Яковлевна Кочик, искусствовед.

меня это ощутительно. Письма же <шли> на Глеба¹, да после отъезда Володи² я, наверное, переберусь к нему. От всех тебе привет (Карлсены и Ольга). Завтра мы должны посетить Лит. музей (по поводу обмена). А ты, наверное, мерзнешь. Здесь третий день крепкие морозы, сегодня до 22. Ольге всё нездоровится. Что-то все бабы стали порченые. Ну, пока. Почитай Платонова. Вечерами хотел работать, но не удаётся серьёзно, так, набросочки делаю. А холст стоит великолепный. За два дня праздников так и не решился писать.

12 декабря 1966 г., Москва

Ещё неделю протаскал в кармане твоё письмо. Сейчас сдам непременно, так как ещё написал домой матери и Ируське, да ещё в Музей. Вечера все заняты, таскаюсь по выставкам. Был вчера на интересной (Есаян), приеду, расскажу. Два дня праздники и ещё выходные рисовал и пробовал писать. Подарил Ольге акварель (ей понравилось, а я рад). Вчера попутно заходил в магазин, ничего путного из обуви нет. Денги я не получил. Пусть вышлют по адресу на Черёмушки обе зарплаты или я приложу доверенность, получи и вышли, а не то я сяду в яму (долговую). Ну, будь здорова, вредная. Почему не пишешь?

Из дневника экспедиции за древнерусской живописью (ГТГ, ГМИИ, Саратовский художественный музей)

Июль 1967 г.

Москва – Вологда – Вытегра – Ошта – Рокса – Шимозеро

...Роксы. Анна (мать) и Николай (сын). Очень красивое место. Церковь разобрана на дрова местным идиотом, сохранилась ограда из камней. Очень старые сосны (военное кладбище) (ночевали на сене – в бане – вчетвером).

25-VII. Павш-озеро. Выяснилось, что хлеб на исходе, рыбу ловим. Вышли в 12 час., к 5 были вблизи Шимозера.

26-VII. Вепсы живут (2 женщины). Очень красивое озеро. Село брошено жителями (когда-то очень богатое). Дома прекрасной северной архитектуры крестьянской, стоят как в мистической картине, почти все уже с выбитыми стеклами, иные с раскрытыми или обрушившимися кровлями. Первая находка в церкви: икона XVI в., иконы XVIII в.

27-VII. Походы в Каменское и Линж-озеро. (Ничего существенного.) Ноги болят до колен. Левая временами отказывает совсем, боль в колене. Проблема перевозки. Транспорта нет, до Пяж-озера – 35 км. Хлеб только черный (и паек). Молоко и рыба есть. Что возьмем на переход – неизвестно. Живот начинает побаливать.

28-VIII. Договорились с пастухами, завтра в 5 ч. выезжаем, одна подвода для икон и рюкзаков. Идем налегке, значит, 35 км до Пяж-озера (село Григорьевское) через Ножму остается вправо. Сделал плот, ловили рыбу до вечера. Кормит нас хлебом, чаем старушка Ефимова Анастасия Михайловна (75 лет).

29-VII. Утро, все озеро в тумане, пастух, молодой парень Валентин ищет лошадь. Увязали иконы, выехали в 7 часов. Дорога очень плоха до Ножмы. Валентин едет сидя на лошади. Мальчики легкомысленно ушли вперед, оставив мне ведро с молоком (с остатками клея, почему и отказались пить), временами приходится придерживать повозку, в молоко сыплется всякая мура, но я все-таки его не выливаю и хорошо, т.к. на привале (р. Ножма) Сергей (который не может есть рыбу) решается пить – пентахлорфенолятом натрия – молоко. Перед Ножмой я километров

¹ Карлсена.

² Солянова.

около 3-х проехал на повозке, от привала попросился на повозку Сергей, скисший почему-то неожиданно, т.к. первые дни он шел впереди. Повозка ушла вперед, последние 11-12 км мы с Николаем брели в совершенном изнеможении. Председатель сельсовета в 7 часов обещал отправить на колхозной машине в Пяжелку (поселок лесорубов). Выехали в 9-м часу. По северным дорогам езда в грузовике почти столь же утомительна, как и длинный переход пешком. С сожалением вспоминаю Шим-озеро – это удивительно прекрасный уголок, прямо настоящий музей, никем не учрежденный, но все-таки, кажется, сделанный по замыслу какого-то гениального художника. Озеро с низкими холмами вокруг и островами.

Эти деревни, имеющие свои названия – Каменно наволоко, Конец (Фоминское), Пол-озеро и т.д. Архитектура уже в 35 км не такая, а в Пяжелке уже – ужас: покореженные леса, и новый скучный поселок с худыми изможденными и тоскливыми людьми. Погода стоит очень хорошая. В Шим-озере старший пастух Иван с очень красивым и громким голосом в ответ на мое приветствие поздравил меня с «прекрасной погодой». Жаль, что пришлось оставить большую (200х150) икону со Страшным судом.

Ночевали в Пяжелке... Воскресенья остаток провели в Борисово-Судском. Расспросили насчет лодок и пути... К ночи я присмотрел единственно подходящее по грузоподъемности судно, но оно было в воде. Понедельник, к вечеру только вытащили лодку (гидрометеостанции) из воды. Ветхая. Очистили, вторник сушка, делаю необходимые столярные работы... Начали конопатить... Вторник. Вышли в 7 ч. вечера, «Москва» барахлит. Первый порог. Парни (рыболовы) с ужасом смотрят, как мы весело према на быстрину. Один ухватил нашу ладью, мы прыгнули в воду очень неловко. Сергей и Вадим, отправившиеся в Бабаево с иконами, должны были нас встретить за 15 км. В Малом Борисове поэтому нас было трое и лодка не перевернулась... Суда – сплавная порожистая река, почти сплошь каменное русло, очень красивая река, но обмелела сильно. В М. Борисово пришли к ночи. Ребята ждали уже 3 часа, а мы кроме порогов одолели и три наплавных моста. Ночевали на хуторе на левом берегу. Очень уютный хуторок в несколько домов.

Среда. Прошли до Никольского. У самого села после длинного порога срезал шпонку, повредил винт. Лодка еще держится и удивительно, загруженная до отказа, довольно устойчива, хотя ход конечно плохой, но здесь и этой скорости хватает. Местами трудно найти хоть маленькое корыто. Ташим по камням.

Четверг. Проснулся от боли в животе. Ребятки спят около маленького стожка. Вадим в норе. Комарьё. Впереди большой порог, на пороге д. Вашино (ободранная)... В этот день была очень сильная гроза.

Много намокло у этих росамах всякого добра, и сами дурни сидели 2 часа на плаще, вместо того чтобы им накрыться.

Пятница. Утром проводили Николая... Без Николая проходили очень длинный, 3 км на 13 м порог, на середине деревня Порог. Жаль, что совершенно нельзя было рисовать. Порог красив и ощущение падения земли очень сильно, так порог извилист. И так, до конца порога, проходим в воде, доходим до Лесопункта. Ужасная столовая, покупаем продукты, направляемся. Медной проволоки я не нашел. Очень милый парень (ученик токаря), восьмиклассник, в 1-м часу догоняет Вадима и передает пластину медную от рубильника, но теперь уже нечем её обрабатывать... У выхода из поселка скучнейшего (как и в Пяжелке) с двумя ребятами-гостями сорвали сеть. Снова ставлю шпонку. В этот день мы прошли очень немного, но еще меньше в субботу.

...Вторник прошли до роскошных лугов возле Куракина – дождь и тяжелое небо, очень красиво, на лугу низкие сеники и стога. Решили ночевать и переждать дождь. Сережа заныл. Шекспир он читал, даже проходя мели, его интересуют только церкви и «прялочки»...

...Среда, утро, где запад, где восток сообразить трудно, но впереди по реке светится небо на горизонте, облака полегче, но ведра вероятно не будет.

...Едем в Ферапонтово... Собираем камешки (краски)... В обед к озеру спускается Николай Владимирович Гусев (муж Евы Гусевой), очень симпатичный человек. 13 лет копирует Дионисия, обедаем, потом идем в монастырь. Неожиданность восприятия – обилие голубого – только на

третий день я был в состоянии уже отделить гениальные композиции от второразрядных. Никола в правом приделе сохранился хорошо, и к нему приставлена лесенка (Гусев – работает) – смотрел в упор – рисунок прост и предельно выразителен. Ал. Иванов наверное не знал Дионисия, иначе зачем бы ему так натужно биться всю жизнь, чтобы что-то возратить русской традиции из безвозвратно утеранных тайн. Наружная фреска со сценами жизни Анны (матери девы Марии) удивительно антична, пропорции, силуэты фигур – эллинические.

Вечером идем на Ципину гору, в Оденьево очень радужно встречают нас супруги Бурмагины, Никола и Гета и Слава Сергеев из Череповца. Утром насилу разбудил Славу на ловлю – наловили окуней на уху. Вечером уха. 17 в 12 ч. трогаемся в Красное. Собственно, они все провожают меня почти половину пути (7 км) до шлюза № 4 село Красное. Прохожу от Св. Камня, где мы расстались, мимо села, уютно огороженного осеками, Павшина и, переехав канал, угощаюсь в первом же доме молоком, денег не берут. Бензин тоже не продают, а если дают, то бесплатно. Много уже испорчено, но все-таки встречаются еще люди с исконными северными добрыми традициями.

В Кириллове еще встречался постоянно с двумя женщинами туристками, на пароходе снова вижу их, знакомимся, и в Вологде бродим вместе до вечера в Прилуцкий монастырь и т.д. Вечером Таня Шишова (вторая – Нина – математик и электрик) прорывается к кассе с одной стороны, я с другой, с боем берем билеты в общий только вагон, утром 19 в Москве в шесть часов, в семь сдаю рюкзак в камеру хранения и иду за билетом, слава богу, здесь, на Дербеневской, порядок – в девять я уже с билетом на 21 число. Сейчас в Третьяковку делать отчет. Командировка осталась у Вадима.

Из писем

8 декабря 1968 г., Москва

Тебя погода милует, а меня казнит, поэтому у меня и нет особенных новостей, правда у П. Кузнецова я был; все не успел пересмотреть, так как почувствовал, что он устал. А были мы вдвоем: Глеб¹, Оля² и я. Жена Кузнецова – армянка Бейбутова³ тоже художница, и мне очень хотелось бы посмотреть и её вещи. На стенах было несколько вещей и её производства. На этих днях пойду к ним ещё. Кузнецов лучший – ранний, последние вещи – в сущности, хорошие этюды с натуры, взятые очень свежо, и всё. Он почти не менялся на протяжении полувека. Может быть, очень хорошие вещи разошлись, а теперь трудно найти равноценные нашим музейным. Во вторник пойду в Управление договариваться, какое количество мне закупать, а потом снова пойду к нему. Ему очень хочется устроить выставку в Саратове⁴. Схожу ещё к Белашовой, она управляет Союзом художников (фактически). Если она согласится, тогда напишу письмо в музей или вызову по телефону директора. Сегодня я пожалел, что не взял ботинки, потому что хлестал дождь, а я в тряпочных разгуливал. <...>. Ируська ничего мне не пишет, поэтому я не знаю, получила ли она посылку или нет. Тебе никак не соберусь выслать, отчасти ещё и потому, что не знаю теперь, как «быстро» они пересылаются. Лучше уж привезу сам. Апельсины в центре были, но очередь довольно длинная. Может быть, скоро привезут побольше. Напиши, может быть ещё какой хлеб нужен, кроме яичного порошка, который мне не попадался. А вот сгущенное молоко без сахара сегодня я видел в одном магазине, но т.к. ехал в город, то не взял, а теперь нигде не попадается. А это стоило бы прихватить, при теперешнем кризисе очень пригодится. <...> Ты не вздумай

¹ Карлсен.

² Кочик.

³ Правильно: Бебутова Елена.

⁴ Выставка не состоялась. В архиве М.Н. Аржанова сохранилось письмо П.В. Кузнецова к нему, где обсуждаются эти вопросы

экономить деньги на еде. Я журу в три горла 5 раз в день, если только есть возможность. Аппетит есть, желудок работает довольно сносно, но устаю я к вечеру иногда от погоды, и поэтому никуда не иду. Смотреть почему-то мне ничего не хочется, а писать охота есть, но по-настоящему (дома). <...> Приеду я 18 или 19, это будет суббота или воскресенье, я дам телеграмму, ты меня встретишь, так как вероятно у меня будет порядочный груз, а рюкзак я не взял. Когда получишь это письмо, там останется до приезда дней 10. Дни очень короткие, тёмные, слава богу, хоть тепло. Вообще декабрь хорош для сказок около камелька.

Относительно художественной жизни ничего сказать не могу, т.к. выставок скандальных не устраивают, и вообще что-то мало интересного. В Доме художника – «Художники книги» детской, кажется (не был), в Салончике – «Татевосян» – до 20-х годов были интересные картинки, а дальше всё вспять. В Манеже – «Игрушка», ещё не был. Где-то «Плетеная мебель» одного поляка. По разным клубам что-то есть, но идти после работы разыскивать не хочется. В студии МОСХа выставки устраивают на свой страх и риск даже абстракционисты (дня 3-4 висят, а иногда и того короче). Одну такую выставку я не успел посмотреть. Только узнал, поехал, а её уже прикрыли.

«Филумену Мартурани» я посмотрел. Очень хорошая картина, ещё вчера – «Суд над судьями» (идёт под названием «Нюрнбергский процесс»), помнишь, ты читала сценарий (Эби Мани и Стенли Крамер – режиссёр). Крамер выпустил ещё один антиамериканский фильм «Безумный мир», но этот фильм-гротеск идёт в панорамном, будет ли обычный вариант не знаю, наверное, нет. Я посмотрел, устал, немного это уж слишком американский фильм. В самом деле можно обещать. Расскажу, приеду когда. <...>

Понедельник 24 марта 1969 г., Саратов

...Выискиваю тебе протезные конверты, сижу сегодня дома, красят стены девчонки и поют. А вчера я получил твое письмо, ужасно долго добираются письма на наш адрес – письмо твое от 16 марта.

25 марта 1969 г., Саратов

...Снова сижу – нет только сил. Мыл полы, потому что в первый раз покрасили стены, окна и двери. Спина у меня болит после такой работы, но зато теперь относительно чисто кругом. Анна Ивановна вчера была, обещала прийти сегодня и не пришла. Поэтому я застрял дома. Завтра иду на работу, а в четверг мы должны подать петицию директору. Письмо в министерство вчерне написано. Тревоги у всех (кроме меня и Натальи) возникают ежедневно. В воскресенье Нонна¹ решила (после разговора с Володией Соляновым), что письмо он не подпишет, а Тамара² выяснила, что не подпишет Яна³ и Золотарева. Но мне уже наплевать, как все это получится. Во всяком случае они приостановились в своем рвении. Зав. отделами будут отпускать своих людей сами. Так сказал Пугаев Ирине Золотаревой. Он еще надеется умиротворить. Ладно, я все о своих делах. А твое письмо меня встревожило. Подожди немного, теперь скоро все у нас кончится и я постараюсь заняться твоим устройством. Коле⁴ я так и не собрался написать. Борису Петровичу Свешникову⁵ и ты можешь позвонить, телефон и адрес у тебя есть. Скоро я пришлю на твой адрес клей рыбий для рублевцев. Это предлог, хотя ты можешь в любое время зайти к Вадиму Васильевичу и Кире. Кстати, они наверное поженятся, если уже не поженились. Только помни, что Вадим человек верующий и неосторожно не оскорби бога в его присутствии, иначе он замкнется. А так он очень душевный человек. Борису Петровичу напомни, что они могут приехать к нам на

¹ Огарева.

² Тамара Викторовна Петрова-Гродскова.

³ Яровинская.

⁴ Кишилову.

⁵ Московский художник.

отдых в июле-августе. Квартира в городе теперь есть. А вот относительно дачи в Чардыме пока неизвестно. Валентин¹ что-то забывает об этом деле. Он говорил недавно, что встревожен тем, что Маруцкий обещал попросить его об услуге и не попросил. Но я тоже забываю попросить Наталью Ивановну² сделать это через ее племянника Льва Деева, он предместкома в университете. Наш вояж в Ленинград пока откладывается на конец апреля, если вообще все будет нормально. Так что ты постарайся приехать в ближайшее время. Я ужасно тоскую иногда. Даже несмотря на то, что сейчас я живу в обществе очень милой жены Аркадия³. Она очень неглупая, хотя может быть слишком практичная особа. Рассказала мне историю своей жизни. Очень трагичная у нее судьба. И непонятно, как она устояла перед судьбой. Ты очень права и наблюдательна, когда рассказывала о том, что Аркадий не уверен в своем счастье. Ведь она добровольно отказалась от своей любви, но вероятно все еще любит «его». Так что Аркадий пока «устроен» ненадежно. Хотя кажется она женщина с характером и твердая в своих решениях. Больше всего она мечтает о своей квартире и о корочках, то есть о дипломе. А учиться ей страшно надоело. Специалист она видно неплохой и нашла себя в этом деле (дизайнер). Ну, будь здорова. Высылать мне не надо пока, ради бога, посылку. Приезжай лучше сама. Я пришлю тебе рублей 15-16 скоро.

19-20 апреля 1969 г.

...Началась настоящая весна, и все эти дни я был на Волге. Промыл лодку, а сегодня у нас гроза была – первая, снова, наверное, в лодке вода, надо ехать сушить её... Дел у меня уйма, но я увлечен реставрацией, чего у меня почти не наблюдалось. Вероятно, я стал стар, и всякая спокойная кропотливая работа становится потребностью. Расковыриваю иконку: обнаружил в нашем фонде маленькую Казанскую Богоматерь под записью. К сожалению, на лике только первое вохрение с контурами (пробеленными) и рисунком глаз, но санкирь красивая. Вчера, когда я сделал пробу, то очень обрадовался, что под грубой записью что-то есть...

Мне что-то ужасно захотелось в Москву. Какой-то вдруг застой и тоска. Хочется что-то и кого-то увидеть. На днях наверное поеду в Б. Карабулак на автобусе за картинками, которые кем-то привезены из Германии. Вряд ли что путное. Но это старое уже известие когда-то мне дал Скрепинский Ал. Ив., отец моего пропавшего на войне школьного друга. Спустя три года он прислал на имя директора письмо, в котором напомнил, что в свое время говорил мне об этом (а я неоднократно говорил Арбитману⁴). Но теперь он распорядился дать автобус. Смех. Внимание к письмам трудящихся. Это невероятно, до чего они перекобенились.

Завтра я думаю начать занятия с Ируськой реставрацией. Не знаю, захочет ли она в хороший весенний день сидеть в мастерской, да ещё оторвавшись от матери. Боюсь, как бы не отбить у нее охоту на дальнейшие дела. А мне так хочется что-то дать ей в руки... Рисую и пишу (несерьезно) акварелью. Иногда устаю зверски, не знаю отчего. Ведь работа очень у меня легкая, сижу и расковыриваю глупую краску – ишу умную.

29 мая 1969 г., Ленинград

Я попал на Венеру. У меня такое ощущение, как после прочтения рассказа Бредбери «Все лето в один день», ты ведь кажется тоже читала. Только вчерашний день показалось солнце. В день приезда (17) лил дождь и холодный. Куртки намокли, ботинки хлюпали, у Натальи⁵ потекли ресницы (египетские) пока мы разыскивали гостеприимную крышу «старого портового кабака», в котором живет Аркадий. Вчера у них началась неделя трудовых будней, и пришли они через час после нашего прихода, а мы пришли в 9. Были в Русском музее, оформляли документы, успели

¹ Израилевич.

² Оболенскую.

³ Аркадий Солоницын, ленинградский художник.

⁴ Эмилий Николаевич Арбитман, зам. директора по научной работе.

⁵ Наталья Иннокентьевна Свищева, искусствовед, научный сотрудник музея им. А.Н. Радищева.

посмотреть иконы, переговорить и перезнакомиться с десятком людей, а потом прошли пешком километров 10. Наталья переживала свою молодость, а я впервые просто смотрел город, а сегодня я сижу дома, так как выйти под непрекращающийся дождь мне страшно. Простуда невелика, но неприятна. Если бы я знал такое, я бы взял сапоги и теплый свитер. Дождевик здесь просто необходим, как на лодке. Вечером пришла в голову фантазия – податься в конце срока моей командировки на Соловки, ведь я буду в Петрозаводске. Смерили по карте расстояние, оказалось столько же, как до Саратова. А Неля, проживавшая в Карелии, сказала, что от Петрозаводска в Кемь поезд идет сутки, да до Петрозаводска – ночь, да от Кемь пересадка на катер (в Соловки), который ходит, как я смутно помню, не то 1 раз в два дня, не то в день 2 раза. А в штормовую погоду рейсы отменяются. А там все это бывает неожиданно. А мне казалось, что все это от Ленинграда рукой подать. Конечно, есть самолет, но, вероятно, это с пересадкой и с ожиданиями. И главное деньги конечно уже немалые. Так что в субботу мы наверное съездим в Новгород, может быть и на Псков времени не останется и буду собирать домой. Если устроиться где-то в Москве, то я пожую дней 5 с тобой (возьму отпуск). Боюсь только снова выбить тебя из твоего ритма. Ну, как захочешь сама. Наверное, ты очень утомилась за эти дни, что мы были вместе. На перроне я так расстроился, как всегда на долгое расставание, а ведь успокаивал себя тем, что вскоре вернусь. Ну ладно, пока, не очень нервничай и не утомляйся. Целую. Напишу из Новгорода, если поеду туда.

Начало июня 1969 г., Саратов

...А мне это давно уже надоело, и, к счастью, меня оставили все в покое. Теперь в основном делают Нонна¹, Петрова, Ляшенко, Солянов. Наталья с ними крутится, но тоже не так уж, а зато остальные поименованные прямо в азарт вошли. Им как будто только сейчас открылось все во всей глубине. Особенно поражает меня Володя – он прямо остервенел. Ну вот, я как будто бы и освободился, а тем не менее какая-то пустота. Рисую и писать вроде бы порываюсь, а время летит мимо, и не успеваю ничего, кроме пустяшных рисунков. Ещё я увлекся чрезмерно реставрацией. Сижу весь день, все удивляются... а я сижу до рези в глазах. Расчищаю маленького оплечного Спаса, прямо удивительно хорошего для такой считавшейся уже потерянной доски. Эта иконка из какого-то имения была в сейфе, потому что на ней был серебряный оклад. Одна такая же погибла совершенно, т.е. ссыпалась. Ты ведь знаешь, какая там сырость. Но порядки уж таковы; записали финорганы, и строго исполняя инструкцию, эти иконки сунули на погибель, а когда все-таки Наталия Ивановна² догадалась снять оклад, а иконки перетащила, они уже напитались влагой и плесенью. Второй месяц сижу с этой маленькой дощечкой....

Я было вчера чуть было не уехал (с агитпоездом). Директор без труда согласился, а я задумался: почему бы? И оказалось: сейчас в Саратове (послезавтра) открывается монумент (Кибальникова) Ленину, по сему случаю автор здесь, и начальник главка Калашнев вчера был в моей мастерской, а я как на грех ушел получать трешку в управление культуры (за беседу). Директор после, вероятно, всех тревог вчерашнего дня, наверное, был поражен тем, что мы не устроили никаких эксцессов. Т.к. во время прогуливания по службам музея ни Нат. Ив., ни Ляшенко не нашлись, чтобы сказать ему (Калашневу), что мы хотим с ним говорить. Я остался, т.к. Нонна все-таки ему сказала это, и будто бы он обещал быть сегодня снова у нас. Но день сегодня был прямо-таки угарный для начальства: открытие выставки саратовских художников (юбилейной), заседание в исполкоме (где Калашнев должен, конечно, быть) на предмет присвоения звания почетного гражданина пьянчуге и обормоту Кибальникову, который давно уже сам не работает, а имеет просто предпринимательскую контору. Маяковского делал ему Юрка Динес, который за деньги продаст и Израиль. Это тот самый «проходной еврейчик» (Свешникова слова). Вчера Володя передавал: Выставком последний раз принимал экспозицию (делал Володя и Петрова). Пьяный Фомичев непристойно орал, и никто не подумал, что это просто даже двумя годами раньше

¹ Огарева.

² Оболенская.

было бы все-таки замечено. Сейчас ничего не замечают. Все свои. Волки уже собрались в стаю. Мне все опротивело.

Наталья привезла из деревни (мне) Клейста с рисунками Бориса Петровича¹.

15 октября 1969 г., Саратов

Я договорился с директором о предоставлении мне 2-3-х командировок в год, кроме обычной стажировки, для ускоренного прохождения курса реставрации темперной живописи. Сегодня пишу докладную с обоснованием. Командировки по 3-4 дня. Так что, если тебе не очень удобно ехать до-мой сейчас, то в ближайшее время я буду в Москве. Напиши, когда удобнее мне приехать. Сегодня очень тепло и солнечно, это после месяца непрерывной дождливой и ветреной погоды. Вчера прошла очистительная, сухая уже, буря, а сегодня дивный день и мой выходной, но вчера мне Гена² сказал, будто будет мокрый снег и ветер. Кто знает, может и будет, а я хотел сплавить ещё разок и вытащить лодку. Сегодня я отработаю, а завтра уеду... Наверное, возьму Ирму³, посмотрю, оставить её или нет. Может быть, до весны. Хотя тогда уж совестно будет её отбирать, т.к. она как сторож, вероятно, нужнее им летом. А летом – клещи. Как у них живут собаки, непонятно. Ну так вот жду твоего письма. <...>.

Вера⁴, оказывается, вместе училась с югославом – Бранко (Арсениевичем), ты, наверное, тоже знаешь его, т.к. личность заметная. Она с ним в большой дружбе и сейчас. Наверное – влюблена на-веки. Т.к. она женщина с чистой душой и романтична. Бранко довольно часто приходит к нам, но я с ним не разговариваю, долго он не бывает, занят романом своим, который будет публиковаться в «Волге» в ближайшее время. Он принял советское подданство, но родина его не покидает в мечтах. Он черногорец. Высокий, с огромной лобастой головой. Вероятно человек умный. Но что-то есть в нём на первое знакомство неприятное, поэтому, наверное, меня и не тянет к знакомству настоящему, не хочу осложнять пока себе жизнь в бесцельных для меня разговорах. Его проблема, вероятно, политического характера, так как он был журналистом, сидел на Гола (или Голава) отоке⁵, до сих пор считает Тито личным врагом (пострадал он там за любовь к России, внушённую ему ещё с детства отцом). Всё это со слов Веры, с которой мы разговаривали вчера вечером, т.к. они приходили с бутылкой, и хотел он познакомиться вчера именно со мной, а я вчера работал. Ну ладно. Мне просто хочется с тобой побыть. Привык я будто с самого начала редко тебя видеть, а всё-таки такие пере-рывы тягостны. <...> «Матисс», текст Алпатова, я купил, не бери. Сегодня выяснилось, что 24/X у нас отчетно-выборное собрание, таким образом я должен либо вернуться к тому сроку, либо ехать после...

17 октября 69 г., Саратов

Рит, лекции Даниловой Наталья⁶ клятвенно обещала выслать еще три дня назад. Сейчас она в командировке в Ленинграде (за свой счет), но это официально, а на самом деле они перебрались ко мне до праздников. У нас второй день морозов. Вчера я с Генкой поехал ночью уже на Гуселку. Боже, какая была фантастическая ночь. Ясность беспредельная, когда открылась Волга с холма. Луна полная, ветер холодный, но сухой, свистит, и если одет тепло, то только радует такой ветер – свежий, чистый. А под яром тихо и одна моя лодка на воде спит. Одно неприятно – торопливость – Генка вечно спешит. С виду он такой увалень, а на самом деле очень нервный и беспокойный. Так что я даже и

¹ Свешникова.

² Брат М.Н. Аржанова.

³ Собака.

⁴ Квартирантка.

⁵ Goli otok (Голый остров) – концентрационный лагерь для политзаключённых в Югославии в 1949–1956 годах.

⁶ Свищева.

вздохнуть не успел, забрал постель, кое-какие мелочи, отчерпал воду и деру назад. Все же на обратном пути у меня озябли кончики пальцев в сапогах. Видно, резиновые сапоги были сырые внутри, поэтому сегодня, хотя и ясный день, а мне нездоровится. Всю неделю простуда моя продержалась. Вера утеплела три окна, но за мной окно в мастерской и балконные двери. Надо стекла приволочь и вставить. Выдувает страшно через всякую малую щелку. Ирма больна, ногу левую поднимает и бегает на трех лапах, ест без аппетита, у нее то же воспаление, что было там на Агафоновке. Сегодня я оставил записку Анне Ивановне (если она придет) с просьбой к Жене¹, чтобы он отвел ее к ветеринару. Ведь накануне воспаления я разговаривал с Николаем Андреевичем Григорьевым, и он мне сказал, что шишку эту у Ирмы надо вырезать, может быть раковая опухоль.

Еще вот тебе поручение, раз уж ты едешь домой. Придут деньги от моих детей, купи им пылесос. Вчера он забивал последние гвоздики, ремонт наконец они завершили, кавардак у них был все два года. Полы простелены линолеумом. Теперь я и не знаю, что они будут делать. Если тебе будет громоздко все это тащить, то не бери до моего приезда. Обойдутся. Пылесосов в Саратове нет, а нам тоже бы надо, так как пыли понабивалось нестерпимо много, в одеялах, в ковре, на книгах. А у нас даже не продают веников. Борису Петровичу много раз порывался написать, но это дело серьезное, ему канитель тоже отвечать. Так что ты передай мои наилучшие чувства, а так приеду, свидимся. По-маленьку я делаю кое-что. Поэтому и времени у меня нет ни на что. Второй месяц мусолю Иосифа с братьями где-то на второй сотне страниц. А вообще-то я постарел внутренне, какое-то безразличие ко многому, что, кажется, волнует всех всегда. Наверное, надо будет нам куда-нибудь съездить летом, надо подкопить денег, и на Север или на Лену уехать. На Волге из-за людности стало неуютно...

Осень (ноябрь?) 1969 г., Саратов

Рит, конференцию в ГЦХРМ отменили. Следовательно, мы не едем. Теперь я попытаюсь получить командировку по другой линии. Думаю, что смогу доказать Пугаеву, что мне надо съездить в Москву. Я всё как-то не очень волновался, когда в перспективе была командировка <...> Мне действительно надо побывать у реставраторов-темперников <...> Я стал работать регулярно дома, и в музее у меня сложная работа. Расчищаю две, записанные двумя слоями каждая, иконы. Вот на эти иконы я и хочу испросить командировку, мне надо показать их в Москве. Так как наш Совет, поскольку нет специалиста, не даёт мне права на дальнейшую работу. Хотя иконки (т.е. живопись) утрачены почти начисто. Так вот, работа не оставляет мне времени даже на необходимые дела. Но в субботу ближайшую мы с Верой займёмся предпринимательской кампанией. Утепляться будем. Холодно у нас зверски в доме. В жилой комнате ещё теплей от кухни, а Вера одевается всеми одеялами. Я-то привык к холодному воздуху с детства, но когда работаешь, то неприятно быть в громоздкой одежде. Денег, что я заработал, мне вряд ли хватит на расплату со Свищёвой, которой я должен с весны, поэтому, если я не выйду командировку, то придётся снова заниматься, т.к. заработка не предвидится, да и не хочу я сейчас отвлекаться. Лодку ещё надо вытащить, а дожди и ветра идут не переставая. <...> В субботу, т.е. вчера, я не был на работе. Писал, и так как сейчас мне работается, то я думаю переживу недоплату за 1 день. Марья Ивановна² очень зорко следит за пропусками. Наталья³ мне позировала в позе «Одалиски» Энгера. Я сделал красивый, кажется, маленький рисунок. Но расстроил её до слёз издевательствами над фигурой. Никак уж не думал, что она так слаба по-женски. Первый раз я её поддел за слабое место. Может быть, потому что она, действительно, выглядит очень дурно. Она два месяца больна, то психически, то физически. А в пятницу у меня было опоздание, тоже писал, а потом перед выходом вывел Ирму гулять, она куда-то скрылась. Пошел её искать, а она пришла и сидела на третьем этаже, а я обегал весь квартал. После клещей она непрерывно чешется, а у нас до сих пор нет отопления и барахлит с водой. Подключают соседний дом. <...> Получил твоё «туристское» письмо. Очень приятно, что тебя это так тронуло. Меня тогда не так забирало. <...> Береги себя

¹ Евгений Александрович Богдельщиков, мой брат.

² Николаева, бухгалтер.

³ Свищева.

от всякой хвори, всё-таки я постараюсь на днях быть в Москве. Т.е., когда ты получишь это письмо, будет «на днях», но скорее всего на будущей неделе после понедельника.

16 февраля 1970, воскресенье, Саратов

<...>Дни стоят морозные и ясные, а мы коптимся на заседаниях в табачном дыму. Опротивело. Сегодня первый раз писал и баста: больше тратить силы на дразги я не хочу. После поганой нормальной жизни моя ненормальная – кажется райской. Когда я пишу – я сам с собой спорю по-дружески.

9 марта 1970 г., Саратов

Рит, кажется ты так давно уехала, а на самом деле просто необыкновенная суета заела. За-ела так, что я два последних дня ходил на пределе. Перессорился уже со своими сателлитами. Директор все еще не вышел на работу. Обсудили еще одну недоношенную статью – Симоновой о Крымове (раннем).

Я полностью переключился на устройство запасника для икон в 29 комнате (если помнишь – угловая). Сделали стеллаж, приблизительно расставили, разгрузили мебель, бывшую там. Обнаружил для себя несколько прекрасных икон. Так что года через два, как только я приведу все это в порядок, у нас будет небольшой но вполне приличный отдел древнерусской живописи. Относительно этюда Н.М. Скажи Доре¹, что я его могу продать за 20 рублей здесь, если ее устроит эта сумма. Насчет Серова ты не забыла сказать? Дал ли я тебе адрес, не помню. Но на днях я ему напишу сам и пришлю тебе его адрес, сейчас у меня нет его (пишу дома). <...> С деньгами у меня еще худо. Так что пока не рассчитывай на возможную помощь. В планетарии что-то не сладилося. У меня в запасе шесть дней, если только разгребусь с деньгами, то приеду. Но может быть будет интересное что в Москве в смысле выставок, хотя теперь вряд ли. <...>

24 мая, воскресенье 1970 г., Саратов

Безумно долго не отвечал тебе.

События: Мы, восемь человек, подали заявления об уходе 15 мая <...>

Всё это противно, поэтому к концу дня у меня бывает такая тоска, что делать ничего не хочется. А тут ещё Валерий² до сих пор в больнице. Ируська начинает бунтовать. Хочет самостоятельности, потянуло её в мир, а мать упёрлась, ко мне её не пускает, а сама найти ей новое содержание не может. Лодка покрашена, даже слани, всё по два раза. Осталось засмолить и поставить мотор. Возможно, что сначала съезжу к тебе, поговорю со Свешниковым, а вернусь – возьму отпуск, заберу Ирину и поедем отдыхать. Неделю тому у меня был Кустов Георгий (из московской газетки художников), собиратель, очень понравилась ему моя живопись. Больше, чем Гущина. Он не туп, смотрел внимательно и разбирал всё верно. Предложил мне обменять на икону (у него много икон) мой зимний <...> этюд (писал на Агафоновке) из тех трёх, что я тогда сделал, глядя в окошко. У меня его телефон, надо будет сходить посмотреть. Наталья написала³, но ведь не печатают. Да мне это и не надо. Надо делать, а остальное само приложится. Вот поэтому я и подумал: влущу ещё в одну комнату, у меня будет хотя бы минимум денег, а дальше видно будет. Ну, ладно. Целую. Напиши, когда мне удобнее (для тебя) приехать в Москву?

Относительно твоих «плохих» новостей. Всё это ещё может перемениться. Но если перебираться, то мне, пожалуй, будет тяжело подниматься. В Москву ещё можно, точнее, в Химки. Казань – татары. Остальное – и вовсе глушь. А я и в Саратове задыхаюсь от провинциального укуса. Ну, да ладно. Всё ещё впереди. <...> Но всё же надо тебе постараться зацепиться в Москве. Пропишись, а работу тебе найдут. Сменяем Саратов на Химки. Химки – это тебе не какая-то

¹ Дора, из Омска, коллекционировала работы Гущина.

² Сын М.Н. Аржанова от первого брака.

³ О М.Н. Аржанове.

Москва, что кругом Химки охватила, а слотнуть не может. Ну, ещё раз целую. (И ещё я купил из этой серии «Публикаций одного памятника» «Арх. Михаила», собственно, презентовала Нонна¹, я немного помог ей перебираться²).

Как ты вылезла с деньгами? На завтрашней неделе я получу 30 рублей за реставрацию иконки, если не поеду к тебе, перешлю целиком.

20 июля 1970 г., Саратов

Вчера получил еще одно твое письмо из Москвы, пишу второе свое в Свердловск.

В музее мы победили. Т.е. в принципе наша точка зрения признана правильной. Через месяц мин-во должно сделать организационные выводы. Так что понемногу я освобождаюсь от дурного, тягостного сна, в котором я был в последнее время. Возвращаться в музей и налаживать снова отношения с подлыми людьми мне не хочется. Если у тебя что-то получится с пропиской, то это наверное будет освобождением. Наталья до сих пор в полном упадке нравственных своих сил, Огарева тоже. Болеют. У нас зверская жара (36) всю неделю. Лодка рассохлась, а я третий день болтаюсь бессмысленно. Пробую рисовать, все как-то вываливается из рук. Ничего делать не в состоянии. Но сегодня уже лучше. Приехала в четверг Неля Солоницына с подругой. Живут у нас. Сам Аркадий приедет в августе. Володе Солянову захотелось наконец поработать в компании (сам сказал). Так что в конце этого месяца или в начале августа мы отбываем, если конечно успею наладить лодку. Думаю остановиться в Усовке в устье Терешки. Если сумеешь приехать в конце августа, то мы к тому времени будем вероятно только с Аркадием. Связь будем держать через Геннадия. Он отпуска брать не будет, но думает наезжать по выходным дням. <...> Рассчитывай попасть к нему до вечера пятницы, он тебя может привезти на мотоцикле, или расскажет, как нас разыскать. Целую.

Осень 1969 г., Саратов

...Два дня (три ночи) кряду пробыл на Волге. Погода редкостная. Ясно, тихо, тепло, покойно. Первый раз, наверное, в этом году делал этюд с внутренним интересом, а то всё было как-то по обязанности. Не знаю, когда я налажусь, а пишу или рисую каждый день. Мария Марковна³ прислала шесть страниц убористого шрифта в размере машинописного листа. Хотел переслать тебе, но очень толстое письмо получится. Перескажу. <...> раз пять повторяет приглашение в Новочеркасск. Соблазняет даже иконами. Говорит, что у казаков сохраняются родовые древности и несомненно есть, даже у нее, две Богоматери (Федоровская и Казанская), а у дворничихи древний Спас. Если это действительно может оказаться так, то очень бы неплохо было заехать на недельку, но ведь деньжищ-то надо – кучечку. И потом – с тобой не сговоримся, а одному не хочется, что-то я стал болезненно переживать одиночество (как Ирма). Мне кажется, что время прошлое просто проваливается куда-то, а настоящее как-то зыбко. Вообще-то не очень хорошо я чувствую себя, на старости лет. Ируська беспокоит. Надо её воспитывать, а мать парализует всё то, что я успеваю в какие-то крохи времени в её душу заронить. Теперь я вижу её еще реже, чем раньше, и как-то не удается наладить с ней душевный контакт. Боюсь, как бы совсем не порвалась ниточка близости (той малой), что есть ещё... «Заря молодежи» больше полстраницы про меня накатала с двумя фотографиями.

7-8 апреля 1970 г., Саратов

...Я сегодня передых имею. За вторник и среду наломались мы как следует. Отскоблили всю старую краску, прошпаклевали левую половину. Осталась не проолифленной и не шпаклеванной

¹ Огарева.

² На новую квартиру.

³ Мария Марковна Образцова – знакомая М.Н.Аржанова, химик, биолог, эммевед по увлечению. В Новочеркасске у неё гостили в 1971 г.

только корма. Завтра день короткий (рабочий), но уехать не удастся, наверное потому, что мне надо отвезти Ирину домой. Вероятно, в субботу (9), если погода продержится, закончу подготовку к покраске. А красить дело – веселое. Потом я ее засмолю и займусь мотором. И тогда, как кончу, напишу приглашение Борису Петровичу. Рассчитываю все сделать на следующей неделе. Т.е. во второй половине мая я должен ее подготовить к спуску. Вот все мои дела. Ночи холодные, да во вторник было холодно с утра, дул верховой ветер, к вечеру было так холодно, что на остановке я продрог. Не переселился поэтому я на Волгу, да и лень ловить рыбу. А так жрать там нечего. И ещё: ловится год от году рыбёшка всё мельче. Удильщики везли такую «отборную» мелочь, что мне страшно стало связывать отпуск с Волгой. Что делать, если рыбёшку такую надо будет добывать с таким трудом. Увидишь Колю Кишилова, спроси, когда он думает ехать в отпуск на Шим. А если он вернулся из экспедиции, – что привезли и откуда. Вот ещё: будешь в Рублёвском, скажи Кире и Вадиму, что если их устроит, то в начале июня они могут приехать, сплаваем на Иргиз. Директор наш говорил с их директором (Галиной Анатольевной) и получил её согласие. Так вот, если удобно им, то в июне, если нет, то можно позже. У меня же расчёт такой – после спуска лодка должна быть в работе, чтобы мне не охранять её всё лето. Но во всяком случае, они пусть не связываются этими сроками. Как им будет удобно. Пусть только передадут тебе или напишут мне сами на квартиру. А потом я заставлю послать директору официальную просьбу от нашего директора. Я думаю, что 2-3 дня мы поработаем в фондах, а потом поедem в экспедицию (на лодке).

Если тебе будет некогда к ним сходить, то не беда. Я пошлю им через недельку письмо.

<...>

Проснулся ночью от духоты, открыл окно, решил тебе приписать, да только стал рисовать, а потом всё-таки уснул, наломался я вчера на Волге. Наталья захандрила, не поехала. Едва успел прокрыть олифой корму, пошёл дождь, а сегодня в сарае весь день провёл – начал разбирать место, увлёкся книжками: Евангелие 17 века, при Ал. Михайловиче печатано, почти всё цело. Собрал и почистил от пыли все листки, которые привёз из Балакова, «Миней» наверное тоже без больших утрат. Прекрасная бумага и печать, но более поздняя. Несколько листов от громадного Евангелия. Уставом печатано. А вот крюковые ноты либо у меня утащили, либо я перепутал, потому что в Пугачёвском музее есть эти крюки, и мне, наверное, виденное показалось сущим у меня. А я обещал Вадиму Васильевичу подарить эти ноты. Несколько обычных нотных листов есть, но это совсем неинтересно.

Август 1970 г., Саратов

Рит, уезжал на Волгу, приехал – письмо твоё, надо обдумать. А пока несколько строчек, чтоб тебе не было скучно.

Сегодня возвращался в шторм, торопился, так как в воскресенье ветер начал дуть со вчерашнего утра, не очень сильный, но непрерывный, юго-восточный, поэтому я едва-едва пересёк Волгу от того островка против Пристанного, где мы как-то жили. Сейчас самое очарование на Волге, и я разошёлся. Правда, ничего вроде бы путного не сделал, но хоть стронулся. Взялся за живопись. На днях напишу на твоё теоретическое письмо. Коле¹ тоже ещё не написал. Злился все дни: писал – и глупо. Сейчас что-то потихоньку раскрываются глаза. Целую. Ну, тороплюсь к Ируське.

Прошлого воскресенье посмотрели «Трехгрошовую оперу» Брехта. В следующее воскресенье пойду снова с ней в театр, хочу немного ее исправить, а то вдруг уеду² и буду думать, что ничего ей не оставил.

Осень 1970 г.

...Мне тут забрезжилась новая классификация искусств. Когда додумаю – пришлю. Это следствие впечатлений от кавардака на выставке в Манеже.

¹ Кишилову.

² В 70-м г. активно обсуждалась возможность переезда в Москву-Химки.

...Речь шла, наверное, о том, что восприятию зрителя мешает вся фанаберия изысканнейших усовершенствований в пределах определенной школы. В те эпохи, когда стиль держался длительное время, зритель подготавливался к восприятию и к понятиям устойчивым. В наше время раздробленность (индивидуалистичность) привели к отрыву представлений зрителя и художника. Нужны теперь посредники – искусствоведы – до 19 века их не было. В 19 они появились, особенно после середины столетия, как толкователи новых откровений. Число их становится несметным. Искусствоведы-музейщики были и раньше. Но теперь всё больше искусствоведов-философов. Почему? Потому что зритель вправе требовать искусства ясного. Это не значит – упрощенного. Зрителя, конечно, надо просвещать, но только не так, как думают (напр., Арбитман), вводя его в круг представлений той или иной школы живописи (искусства), т.е. давая представления о перспективе, о способах наложения краски, о красоте движения кисти и т.д. Эти понятия и представления имеют смысл только для последователя данной школы, в другой школе они не имеют того значения.

Надо еще совершенно определенно различать теперь, ввиду расширения функций изобразит. искусства, деления на назначение того или иного вида изоискусства: художники кино, телевидения, театра, оформители книг, промышленности, прикладного (в старинном понятии этого слова) искусства и т.д. Сейчас так трудно бывает разграничить все это потому, что в станковую живопись столько нанесли идей, чуждых станковой живописи, так перемешали всё по забвению главным образом того, что станковая живопись менее остальных видов изоискусства может быть заказной. По-настоящему художники-станковисты – это в наше время редчайшие художники. Станковист – индивидуалист. Это не значит, что он оторван от современности и общества. Только, как правило (во все времена, а в наше особенно), индивидуалист всегда в оппозиции к официальным носителям «прогресса». Собственно в настоящем смысле художник-творец может не делать искусство, если есть запас доступных и достаточных форм для выражения. В моменты, когда содержание не укладывается в старые формы, тогда начинаются преимущественно поиски формы, тогда содержанием становится форма (некоторые виды абстракционизма). Это в некотором смысле «искусство для искусства». Зрителю массовому оно может быть действительно не нужно и недоступно, но ценность его несомненна и необходима, ведь следом идет искусство выражения. Зрителю надо давать представление о содержании в искусстве. Неважно, что является содержанием. Полнота выражения идеи. Единственность формы такого только выражения идеи, т.е. невозможность передачи данной информации в другом виде искусства, сразу сделает интерес к искусству необходимым средством совершенствования личности. А потребительское отношение к искусству (в смысле наслаждения, украшения и пр.) делает непонятным существование таких школ искусства, как сюрреализм, например.

Вот как давать это, я не знаю, пока просто не думал об этом. Я может быть тебе говорю то, что ты уже знаешь. Вероятно об этом где-то написано.

Начало ноября 1970 г., Саратов

...в том смысле, когда ты говоришь о практике машинографики (в Америке).

Воздействие искусства ограничивается областью приспособляемости производственной (утилитарной) деятельности к новым условиям чудовищной гонки этого самого производства. Возможно, что сейчас это и даёт какой-то практический результат, но, по-моему, гораздо больший результат воздействие искусства даёт в том случае, когда оно (искусство) будет одним из главных факторов формирования **человека**. Труд не как неприятная необходимость, а как потребность необходимейшая, осуществляемая в основном там, где человек самовыражается (индивидуализм здесь не причём), а самовыражение наиболее полно осуществляется в искусстве. Я пишу, наверное, о том, что есть у Гегеля и вообще. Но что делать, если давным-давно известные истины либо не доходят, либо забываются.

Да мне, наверное, лучше не вмешиваться в твоё дело, или я тебя собою с возможно приемлемой дороги. Научно-техническая революция меня не восхищает, а наоборот, приводит к мерзей-

шему состоянию духа, т.к. в этой революции пока что видна только гибель человека в тех понятиях, в которых мы до сих пор его мыслили. Вообще **фетишизация** это обратная сторона так наз. прогресса. Понятие же «прогресс» это недавняя выдумка самодовольного буржуа, а «либерте, эгалите, фратерните» оказались нужными для этого же «прогресса». Вчера холодильник, а ныне западногерманский магнитофон – предмет вожелений.

Искусство в ещё большей степени используется для растления человека. Поэтому неспроста везде и всюду им пытаются управлять и «направлять» его, хотя по своей природе то, что есть истинное, это не «искусство», а самовыражение духа, сама жизнь. В древности (на Руси) вообще не бытовало никаких понятий вроде «искусство», «эстетика» и пр. Это было дело, равное сеятелю, каменщику, отцу и матери. Теперь это сама по себе автономная категория. Искусство, что проститутка, может отражать жизнь (если заставят), может не отражать (если купят). Это тоже результат «прогресса». До сих пор общество без бога было невозможно. Но бог как дух – как прекрасная истина похоронен. Нейлон, имя вчерашнего бога, завтра будет научно-техническая революция, послезавтра «искусство» как «онирофильм» (это была хорошая вещичка из серии научно-фантастич. книжек). Хочешь машину, хочешь катер, можно всё, только будь послушен, дисциплинирован (для собственного же блага, дурак). Очень немного и нужно от человека, чтобы он перестал быть человеком. А если не слушаешься, то берегись. Антиобщественный субъект, мешаешь всем, всему обществу, ведь все идут радостно к одной цели. Женщины все враз хотят быть в белых сапожках, все мужчины хотят в любой момент пить пиво и смотреть футбол. Это возможно, только будьте дисциплинированы и не верьте женщинам в длинных юбках. Завтра будет возможно (с ростом культурных потребностей) иметь автомобиль с двуспальным сиденьем и по телевидению подбавят секса (сначала в виде гимнастических упражнений, а потом пооткровеннее). Секс – наиболее чувствителен к эстетике. Дорогу первородному греху – вот вам вместо таинств, которыми охмуряла христианская, да и другие религии, человечество. Искусство, если только оно истинно свободно, есть такое же выражение гения народов, как и всё остальное, что служит для сохранения тела, но оно для души.

Человек это душа – тело оболочка. Два тысячелетия верили этому, всё сходилось, устраивалось, перестали верить – уродств не убавилось, человек незаметно для себя самого становится только телом. Меня занесло. Прости, что не могу писать прямо на твоё письмо. Мне всё опротивело, а уйти некуда. Но жить рабом не могу, поэтому готов голодать хотя бы некоторое время, чтобы оскотиниться и уж не противиться больше ничему. За четверть века с меня брали налоги на защиту меня же от разных несправедливостей и катастроф. Болел я мало. Но вот для чего платил я суду, если он не может защитить меня от клеветы и от угроз. Когда же захочешь, чтобы было лучше, чем есть, то это надо делать не самому, а вложить это начальнику, да не в обидной форме и почтительно отойти в сторонку и не возмущаться, если твои светлые идеи в его руках станут грязными, снова попытайся найти счастье в единении с помазаником нового бога. А помазаник любит покой и комфорт. Он дисциплинирован, он заслужил всё. Устал писать. Думал, что ты приедешь, но сейчас сообразил, что праздники приходятся на выходные. А почему молчишь?

Две недели дули ветра. Всеми силами старался уберечь лодку и всё-таки не удалось. Перед тем, как мне осталось вытащить её на берег, разыгрался шторм с юго-восточным ветром и снова залило всю. Теперь лодка на берегу, но мотор не вытащил ещё. Как только всё приведу в порядок, поеду к тебе. Тошно мне, может быть развезусь. Очень много мелочей в доме. Делаю я всё медленно, ты знаешь. После вселения квартирантов я до сих пор не найду дела себе. А люди оказались настолько беспокойными, шумными, с многочисленными знакомствами. Сейчас уж вторую неделю живут четверо: отец и подруга приехали.

10 ноября 1970 года, Саратов

Рит, пишу на случай, если не удастся проехать в Евпаторию через Москву. Даже если мы встретимся, то только на короткое время, т.к. 12-го Ирина должна быть на месте¹. Обратню поеду

¹ В санатории по путёвке.

сразу, и в Москву, но это планы. Если же не получится, то вышло телеграмму. Фототелеграмму твою получил, а перевод нет (и не к чему было высылать). Самое же скверное – у меня умер дядя Вася, самый молодой из маминых братьев и сестёр, и мама и все мы узнали об этом только на третий день. Теперь мать уехала одна на похороны, и я очень беспокоюсь. Что-то всё у меня болит в груди. Сначала я думал, чтобы не делать лишние концы, остаться в Крыму (есть где остановиться) до 7 декабря, когда у Ирины кончится путёвка, а теперь уж, наверное, не удастся, т.к. очень скучаю по тебе. И дома как-то всё не так. Гена поступил в геологоразведку и работает в поле (в Кр. Куте база), Валерий уехал в Волгоград (отпуск). Мать в любую минуту может заболеть. Стара. Ну вот, где-нибудь 14-15 буду в Москве. Можешь не встречать, но если не сумею выслать известие, то по возможности будь дома. <...> Недавно выслал тебе злое письмо (теоретическое), оборвал его, т.к. пришел Гена. <...>

21 декабря 1970 г., Саратов

Кое-как уладил все почти дела <...> Ирина очень активна стала в смысле какого-то общения со мной: строит планы на лето и даже предложила мне уехать из Саратова (когда мы возвратились из Крыма), так на неё подействовало расширение представлений о мире. Хочет побывать в Москве. Говорю – денег нет. – Ну, ладно, может быть, летом. – Летом посмотрим. Во всяком случае, если будет карантин, то приеду на лето в Подмоскovie с ней. Где-нибудь, а побывать ей в другом месте очень полезно. Прямо воскресает. Жду тебя теперь. Если нетрудно будет, то купи в аптеке (для Машкова Юры¹) толокнянку или «медвежье ушко» – травка, то ли это одно и то же, то ли взаимозаменяемо. Они мне давали симферопольские адреса родных (для остановки) и 5 р. на эту травку, а я не остановился там, а 5 р. истратил. Сейчас мне надо уплатить 101 рубль за 3 месяца квартплату, т.к. за декабрь нагнали до 40 с копейками и по 30 р. за октябрь и ноябрь. 50 рублей у меня есть, не трачу, надеюсь получить некогда заработанные 30 р., но за прошедшую неделю никуда не ходил, т.к. рисовал и погода была дурноватая, болела спина.

Организация нового музея в Саратове (народного творчества) поручили Скорлупкину. Была у меня Ольга Ивановна Тезикова, рассказывала, как он мучается, т.к. наши олухи думают, что это дело может творить всякий. Петрова, по-видимому, тоже будет работать на этой стезе, но сейчас приносятся к Ольге Ивановне. Чего-то всё-таки боятся. Смех. Я дал «глобальные» идеи, которые, конечно, они не сумеют конкретизировать. Оля, правда, поняла, но вздохнула тяжело. Дали бы права мне, я бы сделал начало, а дальше пошло бы легче с кем угодно. Дело всё в том, что любое дело должно сразу в идее установиться, а они, смутно всё представляя, начинают порутинному. Не имея штата, людей, не зная, что и какие функции могут быть определены новому учреждению, ищут помещение. Главное – конечно тепло. Жаль, что прекрасное дело попадает в руки незаинтересованных этим делом служаков, покорных, безликих. А здесь надо ломать устоявшиеся рутинные представления о музее и сразу внести новизну, не в факт количественного прибавления культурного учреждения, а новизну в качество этого учреждения, в функцию и в охват зрителя и дела. Индивидуальность создателя ложится надолго на направление и бывает такой живучей, только потому, что в это дело так же необходимо вкладывать страсть (а вместе и понимание сути), как вообще в искусство. Иначе это будет мёртвая контора. У нас тем более это опасно, что, раз получивши направление, мы не в силах будем его изменить. К рутине отношение у нас бережное. Ну, бог с ним, с этим делом. Запал у меня прошёл. И появился вкус к частной жизни. Одно трудно – хлеб не гарантирован. Но труд всё-таки даром не пропадает. На это я надеюсь и работаю

Ну, ладно. Целую, жду. Телеграфь, чтоб встретил.

(Приписка на полях – М.Б.) Витя Чудин бросил жену. Женился, говорят, на этой Долорес (Ярыгина богиня). Дай бог ему не пропасть.

¹ Художник, друг М.Н. Аржанова.

Апрель 1971 г. Москва

<...> После больницы я устрою тебя в отдельной комнате. Я же тебе писал, что всё лето квартира Кишилова будет свободна, и Елизавета Васильевна¹ слышать не хочет о том, чтобы ты моталась по чужим квартирам, когда она тебя будет кормить. Не только что будешь жить, она тебе не даст голодать, как было до сего дня. Я не отказался, так как вчера сам валялся в постели. Слушай, мадам, нечего меня успокаивать, если плохо, то так и говори, надо будет что-то «нажать». Если думаешь, что спасёшься, то так и говори, как есть, все боли. Не вводи хоть ты меня в заблуждение. Со всех сторон меня успокаивают.

Что-нибудь напиши матери (если нужно). Я боюсь писать, так как перепугается, получив моё письмо. <...> Книжку пока не принёс. Может быть, ты не читала У. Фолкнера? У нас дома есть начало – «Деревушка», а у Коли продолжение – «Город» и «Особняк». Вечером я попрошу его что-нибудь найти. Видел Ольгу (Кочик). Просила позвонить, чтобы они попутежировали тебе здесь. Но я до омерзения не люблю эту манеру – обращать внимание на то, что мне делают добро. Я и без того бы сделал, и что ещё нужно, раз я ей сказал, где ты находишься и в каком состоянии. Сделает – хорошо, ну, а если надо, то я лучше попрошу Колю (у него есть связь с гл. гинекологом Москвы).

Передаю банку гранатового сока (по моим понятиям, это целебный сок для крови, на всякий случай, спроси у врачей) и вафли – лёгкие диетические, это дары Анны. Я приболел слегка и вчера провалялся, больше для профилактики. Если не очень плохо, то напиши ещё о твоём самочувствии, а эту всю чепуху выбрось из головы.

10 июня 1971 г., Пермь

Рит, милая, как-то все очень неудобно получилось, объясню при встрече, но веские причины для молчания были. Заработал некоторую сумму денег (50 рублей – реставрация). Остановливался у Стрелевой, был в Чердыни, Усолье, видел это г. Стогановых начальное могущество. Приехал с очаровательной речки Ирины, был в Кунгуре (старый екатерининский сибирский тракт проходил через этот город). Рисовал, плывя на пароходе по Каме, Вытягре, Колве, (Чердынь на р. Колве – потрясающе красиво расположена на высоком берегу Колвы и внизу на сотни верст почти видно, так как идет огромная пойма в слиянии двух рек – Колвы и Вытягры). Было только ужасно холодно, но кажется выдержал. Вначале все было тоскливо и беспокойно очень, мое самочувствие тому виной и некоторые обстоятельства, мною не предусмотренные. 16-го я улетаю из Перми в Саратов и недели через две приеду в Москву. Скажи Коле, что буду, как условились. Разумеется, он обиделся, но ведь и мне очень неприятно болтаться в Москве без дела. Работу-то я сделал (тонирование его уже часть). А относительно летнего отпуска в принципе мы договорились. Успокой его, если он будет дома.

14 сентября 1971 г., Саратов

<...> Всю неделю пишу маслом – два последних этюда – что-то вроде вышло, а первые три дня мучился, хотя писал вначале вроде бы с удовольствием, вечером становилось противно. <...> В четверг днём я был занят с Иринкой (она теперь не в интернате, а дома, только что устроили её в школу, ну, об этом потом). <...> Ируська начала учиться с прошлого понедельника в 9-м классе нормальной школы. Трудновато ей сейчас, но очень довольна, что кончился плен. А мне нужно теперь купить ей два пальто, осеннее и зимнее, из интерната их отпустили в своём, всё неожиданно получилось. Явились после каникул только двое – Иринка и Вера² (плавала со мной). В гороно будто бы поругали дирекцию интерната, но класс может быть минимум в 7 человек. Вот и всё. Мне почему-то тревожно сейчас за неё, хотя Шура говорит, что школа эта очень хорошая. Класс-

¹ Кишилова.

² Вера – подруга и одноклассница в интернате Ирины.

ный руководитель – математик(чка) – деятельная. <...> Устал писать и пишу неряшливо, так как для меня это тягостно – писать о дрязгах. <...>

Весна (март?), 1972 г., Москва

«О времени и о себе» – наоборот, наверное, точнее. Судить время не мне, но хочу что-то привести в систему, найти какой-то выход накопленному, а ты мне много раз уж говорила – что это я не напишу: вот и решился писать пером.

Кажется, я отдохнул: разом хлынуло желание и фантазии разные – делать – и где взять время делать сразу всё, что на меня наваливается; только одна рука ведь работает, писать хочу и пером и кистью. Вот и решил испробовать и то и другое делать. Мне будет очень трудно писать пером. Память ослабла, а записи я никогда не вёл, если не считать дневник моей половозрелости (извини). О любвях написанно и напечатано более, чем нужно, и возмутительно хорошо, мне это неинтересно. Поэтому отнесись спокойно к тому, что я (мы) не приедем в Казань Это раз. Другое – Ируська простыла, и, боюсь, может приболеть. Сейчас горло – вчера полоскали, делали ванну ножную. У меня тоже нос засвистал. <...> Недельку, что мы живём с Ируской, можно назвать целительной. И если бы не она, я не смог бы вынести груза усталости и разлада. Знаю теперь только одно: пока она во мне нуждается, я не смогу отдалиться от неё. Я и так виноват, что забросил её последние три года. А теперь вот, если ты родишь, каково это будет со мной: счастье или ещё новый больший разлад. Но ведь я знаю и ты, наверное, больше, чем я, тоже знаешь, что такое дитя – хотя ты и не рожала. Я могу взбунтоваться – но бунт истошает, ослепляет, а если и прозреваешь пророчески, то это остаётся умозрением только. Делать уж нечего. Поэтому я решил хоть сейчас ни дня не давать больше на эти волнения дня. Я ухожу в прошлое. Я хочу работать, и начать от первого проблеска сознания. Мне кажется иногда, что жизнь моя прожита, что глубокий я уже старик, да вот и страсть к мемуарам появилась. Я давно знаю, что, чтобы делать, надо исходить из себя, никакие образцы не помогут. Вот и делаю, как умею. Во мне копилось что-то, и теперь, сегодня по крайней мере, я может быть очерствел до живущих рядом со мной. Прости, если это будет больно тебе. Хотя тебе, я знаю, только понятно, что я бессвязно сейчас говорю <...> Не очень уж терзайся, что не приеду в эти дни. Может попозже напишу посвязней.

Март 1972 г., Саратов, в день приезда из Москвы

Рит, милая, пишу, не приведя себя в порядок Усталость почувствовал безмерную, когда за 5 часов до отъезда я, наконец, собрал инструменты и ещё сторяча заехал на почту, забежал к Коле и оттуда на вокзал; купив билет, пошёл по Валовой, по магазинам, чтобы купить хоть что-нибудь из еды и гостинцев. А в поезде спал до утра, кое-когда просыпаясь от толчков и шума. <...> Ируська чувствует физически хорошо, весела. Приходят подруги, учат уроки, но с озорством. Пока приглядываюсь. А Шура ещё не уехала, то ли она намеренно приблизила срок своего отъезда, то ли сама не знала точно, но едет она двадцатого. Ругаться я уж не стал, тем более, что о твоём устройстве она расспрашивала без всякой подковырки (которая сквозила раньше всегда), вполне нормально и даже доброжелательно. Теперь о возможности приезда в Казань на каникулы, пожалуй, не стоит говорить, потому что заработал я 130 рублей, Шуре придётся дать рублей несколько, и я уже истратил 30 рублей. Так что едва натянуть нам с Ируской. Сколько получит Коля, я не знаю. За март и апрель придётся платить за квартиру. Так что поступления могут быть ещё в апреле в размере 20 рублей только. У тебя сто рублей долга. А поездка обойдётся только с билетами в 50 рублей. В апреле мне придётся заехать и остановиться в Москве дней на 5, так как я дополучу ещё 70 рублей, если закончу работу, и должен будет получить Коля, а оттуда к тебе. Погода в Саратове весенняя. Солнечно, свежий ветерок, чистое небо. Будем гулять в лес, раз, потом я попробую испытать (Ируську) на живописное дарование. Собираю для неё маленький ящик, пусть попытхит с маслом. Конечно, это попозже, и прямо хочу на природе. Сам, конечно, буду писать. Очень меня всё-таки смущает твоё «положение». Боюсь, ты развинтишься, и всё у тебя лопнет, т.е. диссертация. Я уж махнул рукой на то, что у меня снова (запоздало) начнутся немыслимые

заботы. В общем, всё не распутывается, а осложняется, вернее сказать, будто распутывается в одном, начинается запутываться в другом. Я даже сон видел (начало сна видел дважды). Представь: просыпаясь утром, я вижу залитое весенним светом подобие рощицы (обглоданность) среди новых домов. Деревья усеяны птицами. Ранней весной бывает такое тревожно-радостное настроение на воле. И вот, испытав его, я слышу: детские голоса гомонят и поют – Аист, мой милый аист, – и возглас – а где Сатурн? – и чувствую, но не вижу, как они после этого в страхе разбегаются, а с самой верхушки старого дерева вдруг слетает огромный кондор, который всё увеличивается, подлетая и вцепляясь в меня. Этот мертвящий птичий зрак и размах крыльев наполняют меня ужасом, я пытаюсь поднять руки над головой и просыпаюсь и тут уж думаю: «Сатурн – пожирающий своих детей». Я переутомился, конечно, девять дней работал по 15-16 часов и более, в последние дни выходил за папиросами один раз. Кормили хорошо, но, пожалуй, слишком жирно. Боюсь, не откроется ли у меня язва, потому что вчера ощутил характерную боль (сосание) в области двенадцатиперстной кишки снова. И снова боюсь за тебя. Не надорвалась бы и ты. Пиши на дом, буду заходить по субботам и наверное среди недели на квартиру. <...> Виктор почему-то несколько раз заходил (Чудин) и совсем необъяснимо посещение Сорокиной Алевтины (жены Саши Яровинского), которая просила свидания с ней в молодёжной редакции радиокомитета, записки не оставила, а сделала надпись на открытке... Ну, вот, на первых порах всякую тебе всячину. Очень жалею, что совершенно не в состоянии был выслать тебе из Москвы хоть лимонов. <...>

Июнь 1972 г., Саратов

Рит, пишу тебе наскоро, так как пощипали лодку. Внезапно поднималась вода, поэтому Валерий её вытаскивал, но не успел просушить. Почти сопрело всё мягкое, что там оставалось. Потом выломали бензобак, дверцу рундука, утащили чайник, удочки и ещё кое-какую рухлядь. Вчера весь день латал, но, перебив, не успел просушить до конца кошму и мех, который, впрочем, наверное, придётся выбросить. Естественно, мотор с водой стоит. Не утащили мотор, наверное, только потому, что орудовала ребятня. Правила и ограничения ввели жёсткие. У Саратова в городской черте не осталось ни одной базы. Под городским берегом плавать нельзя. Пересекать можно только в трёх местах и т.д. Запрещено ловить рыбу везде, где она ловилась. Все любители лещей страшно обижены, но никто не ропщет открыто, ругаются потихоньку. Многие не сдали экзамены на водительские права, по всему по этому лодок пока на Волге нет и половины. Поэтому же на Гусёлке почти безлюдно. Смолить, красить, буду жить там, возьму Ирину. Если не захочет ночевать, пусть приезжает на день. Купаться можно, вода хорошая. Подарком страшно обрадована. Но пока не было никаких разговоров о дальнейших планах, т.к. её увели подружки на утро следующего дня, а я бросился к Валерию и затем на Волгу, когда узнал от него, что он не был на Волге уже три недели и не просушил ничего. Ругать его жалко, потому что он замыкался и действительно не мог попасть, а Генка увёз мотоцикл в Кр. Кут. Если не дам на права или будет карантин, то, наверное, приедем в Казань с Ируськой, но пока я не решил давать согласие на операцию. Она и так вся изрезана. Какой будет толк? Только разве для того, чтобы можно было носить аппарат. Тогдашняя операция почти ничего не дала. Хирурги дело своё сделали, а остальное их не касается. Может получиться снова так, как и тогда, хотя теперь мы знаем, что немедленно нужно заказывать аппарат, но сколько будет делаться заказ – это ни в чьей власти оказывается, кроме исполнителей на протезном заводе, а с них взятки гладки. Сшибают со всех по трёшке, пятёрке, пьют как свиньи. Совесть в наше время понятие тонкое.

Ну, вот, пока и всё. Если поедешь в Саратов, телеграфируй, но не особенно рассчитывай, что смогу встретить. Вдруг я не получу вовремя. Сама понимаешь, буду всё время пока на Гусёлке. Конечно, наезжать придётся домой.

Свищёва в Саранске, пишет какую-то статью для «Волги», получила деньги на командировку и уехала. Валентин¹ вчера приплыл на *своей* байдарке и весь день пробыл со мной на Гусёлке.

¹ Израилевич.

Загорел он зверски, в отпуске. Приглашал на совместное путешествие по Хопру в июле на байдарках. Но спорт мне уже ни к чему, а он не любит сидеть на месте. Ируське же, конечно, было бы очень интересно. <...>

Июнь 1972 г., Саратов

Рит, прибежал на минуту домой, пишу наспех. На Агафоновке твои телеграммы, не понятно, что нужно, сейчас бегу туда. Лодку насилу спустил, запоров ещё нет, поэтому до ночи должен вернуться. Валерий провалился, Ируська тоже. Никто не едет, сидел неделю, привязанный к берегу. Замачивалась (лодка) очень долго. Письмо твоё получил. Не надрывайся. По жаре тебе, наверное, вредно. Сейчас уснул в парходе, и когда разбудили, выпали очки, раздавил. Буду рядом с Гусёлкой, так как непонятно ещё, куда и как можно уехать. Бензину у меня нет. Всё остальное в порядке, подтекает немного в корме. Много ещё мелких доделок. Приезжай, как сумеешь. Не взвинчивайся и не торопись. Очень скоро мы всё равно не сумеем поехать, пока не снимут заpret... <...>

Начало января 1979 г., Саратов

Ничего высылать не надо – разве, если найдётся, желтая перчатка с правой руки. Пусть хоть Ируська напишет, как вы там живёте. Что, все ослабели так, что и писать не можете? Тебе недосуг, а что с ними?¹ М. б., я приеду на недельку один, т.к. Трипольский просит отправить ему иконки почтой. Письмо прислал неприятное. Я, конечно, непросительно долго задержал его вещи, но ведь и он не чесался. Не писал, а теперь вдруг такое обидчивое и сомнение в моей порядочности. Всё же я надеюсь хоть сколько-то подработать. А тебе надо гнать вовсю, если ты ещё не надорвалась Потому что, хотя мы и отвыкли от тебя, но временами очень тоскую я, а малыши² крайне довольны своей свободой. Они властвуют в доме, гуляют вволю ежедневно. Едят хорошо, и еда неплохая. Яблоки, соки, салаты овощные, блины, омлеты, супы и борщи само собой. Молоко дрянное, но сколь угодно. Лимоны и апельсины ещё не прикончили. Изредка рыбу жарю. А каши никакие в рот не берут.

Может быть, вам привезти какие-нибудь продукты, из тех, в чём у вас острая нужда? Так что сообрази и напиши. А ребят трогать ни к чему. Слава Богу, хорошо зимуют пока. И ещё одно, что их уберегает – не вожу и не таскаю их никуда по трамваям и другим домам. На Агафоновке они тоже хорошо живут, но, разумеется, скучают по мне и по «Большовой Садовой», как говорит Егор.

Вот ещё забавный разговор подслушал сегодня:

– Коля, Коля, я сделаю гору из нефти...

Гору... нет... Нефть – течёт.

А я сделаю, чтоб не текла, смешаю с сеном.

А где ты возьмёшь сена?

А у меня завод такой есть.

Какой завод? Сейчас лошадей-то не стало.

Ну, пока, целую. Пусть Ируся напишет. Очень по вас соскучился. Читает ли Володя Ницше? А здесь у меня был йог. Обещал принести кое-какие книжки по индийской философии. Я хочу познакомиться с Кришнамурти. Разговор у нас был интересным.

3 марта 1979 г., Саратов

...Вчера целый день писал, сделал две большие неважные акварели, зато сегодня две маленькие хорошие. Понемногу начинаю входить в форму, хотя делаю мелочи, но стараюсь хорошо делать... И вот еще: ради бога, не терзайся мыслью, что нам трудно. Нам-то как раз теперь легче.

¹ С Ириной и её мужем Володей.

² Сыновья, Николай (1972 г.р.) и Георгий (1975 г.р.).

Мальчишки давно привыкли жить подолгу без тебя, а у меня рабочее настроение: хоть и помалу, по мелочишке, но я каждый день что-то успеваю нарисовать или акварельку сделать, но главное – созрели планы, мечты, сделал и «великолепный» эскиз портрета Виктора Казаченко, а эскиз для меня это в сущности больше чем полдела. Образ-то уже есть в памяти. Поэтому очень жду передышки, может быть, напишу, как только сведу мальчишек к Жене. Вот погода всему стоп. Впрочем, для «пейзажных мыслей» погода всегда подходяща.

Первые числа мая 1981 г.

...Ходил на выставку (саратовских художников). Она была закрыта уже, но вещи еще не были сняты. Впечатление – тягостное. Гвоздь – Учаев. Эклектика – своеобразное кредо не только его. Изобретательно и сначала удивляет, а через несколько минут я уже не мог чувствовать себя уравновешенным – я разозлился. Кроме того три музейные дамы выступили с критикой Учаева, и через день Тамара¹ вышла с бюллетеня, чтобы устроить «обсуждение обсуждения», т.е. поведения музейных «критиканов». Учаев не та фигура, которую могут трогать эта «мелкота». Вот до каких высот достигла демократия в Саратове, даже на обсуждение выставки надо заранее подать тезисы на утверждение. Общественная жизнь строго по расписанию и под сугубым контролем (в интересах трудящихся). Долго рассказывать, но наши Геростраты по любому поводу приводят демагогические пушки в действие. Кто же у нас в упр. культуры, в парт. органах? Почему они благосклонны к этим жуликам (я не говорю об Учаеве – он единственный, который делает с умением и по-своему на известном уровне). Но остальные, которые с ним и подражают ему, – очень плохо.

18 мая 1981

В пейзаже должно быть какое-то число точек со своим определенным действием; сгущение, разряжение движения ли, света ли, т.е. драматические моменты; разумеется все это подчиняется главной конструкции – основному движению. У Тернера это по-моему особенно заметно, и вряд ли исследователи знают об этом, а может, кто и знает (увидел). Я это почувствовал в 68-м или 69-м осенью, когда писал пейзаж на Сомовском острове, и вот теперь гляжу на него снова, и напрашивается вывод: «Я все думал, как же при явной незавершенности, он тем не менее действует...» Чудин был пьян, но так он откровеннее: «Провалы есть, а здорово».

Приложение

М.А. Богдельщикова – И.Н. Пятницыной

Здравствуйте, Ира!

В Саратове я, естественно, закрутилась в день отъезда и не успела перепечатать запись О.Я. Кочик беседы с М.Н. о Гогене. Да и здесь лишь вот сегодня дорвалась до машинки. Сейчас перепечатаю эту запись, буду все так же следовать правилам текстологии, т.е. не изменять ни буквы (на этот раз – уже О.Я. Кочик), если что-то надо дополнить в пояснение, буду брать в скобки.

Проводя по приезду «кавалерийскую» уборку, я тут была было вздернута, обнаружив среди бумаг на полочке М.Н. листок, где сверху стоит надпись: «Моё завещание. Лист I». Запись карандашом, он не развил и не успел сказать того, что хотел, но видно собирался основательное духовное завещание написать (судя по тому, что это начало «Листа I-го»). Я как-то рассказывала, что в последний раз, т.е. за месяц до конца, у него вертелись мысли о завещании, но я старалась отвлечь

¹ Петрова-Гродскова.

от «мрачных мыслей». А, видимо, замысел был завещания разного: не только примитивного наследного материального, но именно духовного. Этот «Лист I» выглядит совсем «филологическим» – и не совсем ясно, что он хотел и как развить дальше. (Ирочка, все это не относится к нашей работе, но я уж расскажу, м.б. это тоже внесет лишний штрих в понимание его.) Вот что там:

Как лен елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.
(Подражания Корану
V стих. Пушкин А.С.)

С. Львович Толстой («Очерки былого») рассказывает о недоумении Льва Ник. Толстого: «Откуда (в «Анчаре») в пустыне – лыки». Лыками здесь названы циновки, так же как Лен, елеем напоенный – фитиль.

Мальчишкам, когда серьезно станут читать.

И совсем внизу, мелко (т.е. это как черновик, для себя): «Выписать из С.Л. Толстого стр. 86-87».

Вот такой листочек. Книга С.Л. ему очень нравилась, она у нас есть, годом раньше купила в букинистическом, он читал ее раньше, восторженно кое-что пересказывал. М.б. запись сделана и не в ноябре 1981, а несколько раньше.

Там же, на других листочках, тетрадных (а этот – форматный, оборотка листочка из курсовой работы, мы их как черновики используем) нашла еще несколько подобных «филологических» записей – из С.-Щедрина, Пушкина, Фета выписки маленькие. И еще – карандашиком набросок стиха, по содержанию – Соне (потом пошлю ей или привезу).

Возвращаясь к записи Ольги Яковлевны. В письме она пишет: «Беседовали много, но, к сожалению, я не записывала и всё стерлось в памяти, сохранилось только ощущение большой глубины его суждений об искусстве. Ведь только запись одной беседы в Пушкинском музее перед полотнами Гогена. Записывала отрывочно, не все могу теперь даже расшифровать».

Эту беседу я перепечатаю на отдельный листок, пишите, Ира, что и как – Вам конечно же понятны трепет и волнение, с какими я распечатываю Ваши письма...

Всего лучшего, будьте здоровы всем семейством, большой привет Соне и очаровательной Лиде Красноперовой (зачеркнула слово, потому что оно не совсем точное, т.е. не совсем так м. быть воспринято, просто с Лидой-то в тот мой последний визит к Вам я впервые общалась не на бегу, как прежде, и её душевное обаяние не могла не ощутить).

М.Н. Аржанов о Гогене (Запись беседы О.Я. Кочик)

<Для Гогена характерны> отсутствие конкретности, сглаживание контрастов. Нет второстепенного, все едино. Главное – согласование, не отрицает ничего из видимого, но не входит в картину то, чего не должно быть. Закон организации.

Глаза и деревья (глаза-фонари) равной выразительности. Он почувствовал, как делали старые мастера – выразительность. Гоген не гедонист, как Матисс. Ван Гог более земной, земные страдания. Неистовство Ван Гога ничто по сравнению с непреклонностью Гогена.

Пейзаж с павлинами

Красочное пятно самоценно, как форма, поет как аккорды, вливается в общую песнь. Пятна связаны меж собой определенностью формы. Дорожка – фантазия на тему птицы. Форма выкручивается из неё же, усиливает её.

А, ты ревнуешь!

Диагональ совпадает с диагональной массой фигур. Связь определяется логикой построения египетской живописи, греческого искусства, готики, полинезийского искусства – слились у Гогена. Острое ощущение реальности. Сгусток мира, через себя протаскивает всё.

Изначальный исток и изначальный смысл. (Т. Манн – слово, проникающее в глубину.) Триединство первообраза: дух, материя, хаос сошлись. Немецкий экспрессионизм происходит отсюда.

Синтез линий, учет пустых мест, направлений. Деформация и сокращения форм.

Подчинение единству, всем точкам и зонам плоскости. Сущность деформации глубоко оправдана общей структурой вещи.

Кладка дает много, не везде выкладывает форму, ищет в мясе.

Богатая фактура для формального художника – самоцель, здесь – построение плоскости. Выращивание, а не изображение. Перевоплощение натуры через цвет, линию, рисунок, композицию. Цветовая зона заключена в форму, в рисунок, становится элементом композиции. Цветная форма – знак, показывает не дорогу, а кусок дороги. Такая система осознана им вполне. До него с такой отчетливостью этого ни у кого не было. Растворяет отдельные элементы до степени согласования и взаимоподдержки.

Отвлеченная религиозность. Призыв к общему, к растворению в любви – во всех великих религиях. Точки одинакового воздействия на глаз – важна интенсивность воздействия. Один и тот же цвет в различном окружении действует по-разному.

Немцы грубо оперировали цветом (Нольде). У Гогена тонко разработан цвет. Шагал – от Гогена.

Главное – воздействие цвет. пятна, а не объем. У импрессионистов пространственная модель мира. У Гогена иное, синтетическая пластика. Как в древнем искусстве (Египет, Греция), все сведено к единой системе выразительности, все смыкается в одной точке и в ней все запускается.

Проблема изначального. XX век будет обращаться к этой проблеме (Т. Манн). Гоген – начало этого процесса. Не индивидуалистическое искусство. Главная философия – она объясняет пластику.

Алексей ГОЛИЦЫН

«РЕПРЕССИИ Я СЧИТАЮ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»

Поэт Лелевич в саратовской ссылке

В истории диссидентского движения Саратов выделяется среди прочих провинциальных городов СССР благодаря двум факторам. Во-первых, еще с 1920-х годов поволжский центр служил традиционным местом ссылки московских и питерских уклонистов. Во-вторых, в 1969 г. получило широкую огласку дело Группы революционного коммунизма, которую создали студенты Саратовского юридического института и Саратовского государственного университета. Молодые люди обсуждали политические проблемы, разработали устав и программу своей организации, а главное – размножали самиздатскую литературу и поддерживали связь с инакомыслящими из других городов. Принято считать, что саратовская Группа революционного коммунизма – явление уникальное, однако у нее нашлись предшественники, причем в стенах того же вуза – СГУ им. Чернышевского.

В 1928 году в ОГПУ стали поступать агентурные донесения об активизации оппозиционных деятелей Саратова. Если раньше они ограничивались квартирными собраниями единомышленников – исключенных из партии и комсомола за разные «уклоны», то на этот раз в ход пошли листовки, которые распространялись в основном в студенческой среде.

По информации чекистов, в ядро саратовских оппозиционеров, исключенных из партии после XIV съезда ВКП(б), входили врач Георгий Воскресенский, экономист Николай Пестов, а также сосланный в Саратов после разгрома ленинградской оппозиции литератор, педагог и партийный идеолог Лелевич.

Согласно анкетным данным из уголовного дела ОФ-9039, Лабори Гилелевич Лелевич родился в 1901 г. в Могилеве-на-Днепре в семье «старого подпольщика, члена общества старых большевиков, частного учителя Калмансона». Окончил реальное училище, вступил в ВКП(б) в апреле 1917 г. После революции, по собственному признанию, «редактор ряда газет в провинции, зав. Губроста¹, секретарь райкома, член ГубКК² и различная сов. партработа. До 1926 г. в Москве на руководящей литературной работе и парт. работе».

В учетной карточке 2-й районной организации ВКП(б) г. Саратова содержатся более подробные сведения о его карьере. Так, с 1918 по июль 1919 г. Лелевич работал редактором газеты «Коммуна» в Самаре, затем до конца 1920 г. заведовал ГубРоста в Гомеле. С ноября 1922 г. по март 1925 г. был секретарем редакции Истпарта³. Ровно год, до марта 1926 г. возглавлял столичный журнал «Октябрь». С октября 1924 г. до декабря 1926 г. преподавал историю литературы в III Государственном Московском университете. С 10 декабря 1926 г. Лелевич числился доцентом кафедры истории русской литературы педагогического факультета Саратовского государственного университета. Кроме того, ссыльный Лелевич был запасным судьей Саратовского губернского суда.

¹ Отделение Российского телеграфного агентства.

² Губернская контрольная комиссия.

³ Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б).

По версии чекистов, именно Лелевич «возглавлял в Саратовской организации все оппозиционные элементы, пытаясь стянуть около себя недовольные элементы и возглавить их, взяв под свое руководство. Когда съездом и всей партией оппозиция была идейно побита и разоружена, Лелевич стал собирать около себя наиболее непримиримый элемент разнообразных оппозиционных течений. После “капитуляции” Зиновьева и Каменева, Лелевич стал обнаруживать определенные тенденции к возглавлению и сплочению этих разложившихся элементов, исключенных из партии». Пользуясь своим положением университетского преподавателя, Лелевич начал формировать организацию из студентов, исключенных из партии и комсомола за оппозиционные взгляды. В его «группу» входили учащиеся СГУ Бабичев, Дубровин, Кавтария, Пилиасов, Тараканов, Фридман и студент рабфака Романов.

Агентурными данными было установлено, что эта группа поддерживала связь с сосланными не только в Саратов, но и в другие города оппозиционерами Радеком¹, Вуйовичем², Раковским³ и Косиором⁴ и получала от них нелегальные воззвания Преображенского⁵, Радека и Троцкого⁶. Саратовские студенты «подвергали присланные документы обсуждению и изучению», а затем «выносили фракционную работу оппозиционной группировки в массы».

В октябре 1928 г. Лелевич привез из Москвы 15 копий письма Карла Радека в ЦК ВКП(б). В этом воззвании левый оппозиционер требовал вернуть из ссылки Троцкого и поместить его в «в наиболее сносные климатические условия». Лелевич перепечатывал документ на пишмашинке и раздавал своим студентам для дальнейшего распространения. Кроме того, его подпольная группа стала приобретать черты устойчивой организации. В частности, активисты начали собирать членские взносы.

Все перечисленное привело к тому, что 29 октября 1928 г. против левых оппозиционеров начались репрессии. Старший уполномоченный ОГПУ Шуклин постановил произвести обыски и арестовать Валентина Романова, Петра Занюка, Иосифа Цветкова и Георгия Воскресенского. Кроме того, в постановлении было указано еще восемь человек, которых следовало подвергнуть обыску, а в зависимости от результатов, и арестовать: Василия Загуменного, Степана Бабичева, Ипполита Кавтария, Ивана Смирнова, Константина Сеньюшкина, Калиника Яшвили, а также Лелевича Л.Г.

Уполномоченные ОГПУ Подтынков и Нефедов отправились по адресу: ул. Часовенная, д. 49/75, кв. 7, где жил Лелевич. При обыске в качестве понятых присутствовали жильцы соседних квартир – все как на подбор управленцы местного Коммунистического университета:

¹ Карл Радек (31 октября 1885 г, Лемберг, Австро-Венгрия – 19 мая 1939, Верхнеуральск) – политический деятель. На момент ареста в 1927 г. – ректор Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена в Москве, секретарь Исполкома Коминтерна. За выступление против коллективизации исключен из ВКП(б). При неясных обстоятельствах убит в тюрьме.

² Войслав Вуйович (15 января 1897, Пожаревац, ныне Сербия – 3 ноября 1936, Москва) – до 1926 г. генеральный секретарь Коммунистического Интернационала молодежи, член Президиума Исполкома Коминтерна. В сентябре 1927 г. за поддержку левой оппозиции исключен из ВКП(б), Коминтерна, КИМА и сослан в Саратов. 3 ноября 1936 г. расстрелян в Москве.

³ Христиан Раковский (1 августа 1873, Котел, Османская империя – 11 сентября 1941, Орел) – политический и государственный деятель, на момент ареста в 1927 г. – полпред во Франции. За связь с левой оппозицией с ноября 1928 г. по август 1929 г. находился в ссылке в Саратове. Расстрелян в лесу под Орлом 11 сентября 1941 г.

⁴ Владимир (Владислав) Косиор (1891, Венграф, Польша – 30 марта 1938, Воркута) – партийный деятель. В мае 1928 г. за принадлежность к оппозиции исключен из ВКП(б) и выслан в г. Покровск АССР немцев Поволжья (ныне г. Энгельс Саратовской области). Судим четыре раза. Последний раз осужден тройкой при УНКВД Архангельской области к расстрелу.

⁵ Евгений Преображенский (15 февраля 1886, Болхов – 13 июля 1937, Москва) – экономист и социолог. В январе 1928 г. за связь с оппозицией выслан из Москвы в Уральск. Расстрелян 13 июля 1937 г.

⁶ В 1928 г. Лев Троцкий находился в ссылке в Алма-Ате.

проректор Яков Голиков, проректор по хозяйству Михаил Москальцев и помощник проректора Михаил Чирков. Были изъяты несколько нелегальных листовок, письма, пишущая машинка «Континенталь», револьвер и шапирограф¹.

Одна из напечатанных на машинке листовок была приобщена к делу. Ее анонимный автор – либо сам Лелевич, либо его саратовский поделщик, т.к. в тексте есть ссылка на газетную публикацию пятидневной давности – объясняет суть разногласий с генеральной линией партии (здесь и далее сохраняется орфография оригиналов):

Выходит, что никакой самокритики в нашей ячейке не было. Но в газетах мы читали, что это не только в нашей ячейке, что во всей партии нет <нрзб> половодья самокритики. Почему это так выходит. Почему на одиннадцатом году пролетарской диктатуры никак не удается раскатать рабочих на самокритику? Чтобы критиковать, надо чувствовать себя хозяином положения. Пять лет назад XIII съезд постановил: «Рабочая демократия означает свободу открытого обсуждения всеми членами партии важнейших вопросов партийной жизни, свободу дискуссии по ним». Это – точные слова резолюции XIII партийного съезда о партийном строительстве. Исполнено ли это? Нет! Все важнейшие вопросы решаются и сейчас за спиной партийной массы. Вот июльский пленум ЦК повысил цены на хлеб. Почему он до решения не предложил ячейкам обсудить этот вопрос, не спросил их мнения? Нет, он решил сам втихомолку, а <нрзб>, знай-присоединяйся к уже принятому готовому решению. Таких случаев сколько угодно. Рабочий-коммунист не имеет возможности участвовать в выработке политической линии партии. Ему приходится только потом голосовать за уже принятые решения. Как же он сможет чувствовать себя хозяином, как же он будет критиковать? Критикуй – не критикуй, все равно: важнейшие вопросы будут решены без тебя. Ничего из самокритики не выйдет, если рабочие партийцы не добьются настоящей внутрипартийной демократии.

Теперь я хочу сказать о правой опасности в партии. <...> Чего хотят правые? Замедлить индустриализацию, затормозить выделку машин, а отсюда всей промышленности беда, застопорить дело с колхозами и совхозами, дать поблажку кулаку, свести на нет самокритику. Что все это значит? Не шуточки! Это значит связать рабочего по рукам и по ногам и выдать его на расправу нэпману, кулаку и бюрократу. Это значит всадить нож в спину революции. Правые – прямые пособники нэпача и кулака. Это ясно надо понять. Бороться с правыми надо нещадно.

Но тут происходит что-то странное. Вот в «Правде» от 24 октября ораторы на краснопресненском активе рассказали, что Московский Комитет еще с февраля месяца вел неправильную правую политику. Почему все партия узнала об этом только в октябре? Почему более полугода прикрывали, замазывали правую политику Московского Комитета? Так с правыми не борются. Скрывали – вот и вышло, что чуть не всех секретарей Райкомов в Москве пришлось снять. Но сказана ли теперь вся правда? Боюсь, что нет. Товарищ Сталин говорит, что в Политбюро нет правых. А вот Калинин – член Политбюро – недавно на Моссовете затеял настоящую защиту кулака от налогового обложения. Это и есть правая политика. Да и Угланов² – виновник правых ошибок МК – как будто кандидат в политбюро. Выходит, что главных правых покрывают, а стрелочников наказали. Повторяется то же, что с Московским Комитетом. Сперва скрывают, а потом болезнь разрастется и, как снег на голову, на партию свалится. Мало стрелочников наказывать! Надо сейчас же главных заправил правой опасности партии назвать. Иначе никакой борьбы с правыми не выйдет.

И еще: я никак не могу понять, для чего держат в ссылке тех, кто давно говорил нам о правой опасности. Ведь оппозиция как раз предлагала повернуть огонь направо – против нэпача, кулака и бюрократа. Надо их вернуть из ссылки. Ясно, что они искренне помогут нам бить правых.

¹ Копировальный прибор, изобретенный инженером Шапиро. Состоял из механизма, через валики которого пропусклся лист бумаги, пропитанный раствором из клея, воды, аммиака, сахара и глицерина. Срок изготовления копии достигал трех дней.

² Николай Угланов (5 декабря 1886, с. Феодоритское Ярославской губ. – 31 мая 1937, Москва) – государственный и партийный деятель. В 1928 г. – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Расстрелян 31 мая 1937 г.

В тот же день, 29 октября были задержаны:

Николай Пестов, 30 лет, исключен из партии в 1927 г. за оппозицию. На момент ареста старший экономист саратовского окружного торгового отдела.

Георгий Воскресенский, 32 года, врач, исключен из ВКП(б) за принадлежность к оппозиции.

Абрам Фридман, 23 года, студент СГУ, исключен из кандидатов в ВКП(б) за оппозицию.

Василий Загуменный, 28 лет, окончил медицинский факультет СГУ, член партии с 1918 г., в 1928 г. исключен за активную оппозиционную деятельность.

Ипполит Кавтария, 25 лет, студент IV курса педфака СГУ, член ВКП(б).

Некоего Ивана Смирнова обыскали и отпустили. «Смирнов проживает у гражданки Петровой, занимая угол в комнате. Вещей, за исключением белья, переписки и литературы, – совершенно не имеет», – написано в рапорте уполномоченного ОГПУ.

В постановлении на арест также обозначены Петр Занюк и Иосиф Цветков, однако никаких документов на них в деле не содержится.

Однако странность уголовного дела «Группы Лелевича» заключается не в этом. У активистов Пестова, Дубровина, Воскресенского и самого Лелевича было изъято оружие. Каждый из них хранил револьвер системы Нагана с семью патронами, и только у Дубровина пистолет не был заряжен. Невозможно объяснить, почему по этим фактам не проводилось следствие и не предъявлялись обвинения в незаконном хранении оружия.

Более того, в самый разгар следственных действий и допросов в ОГПУ написал заявление коммунист Загуменный, который утверждал, что отобранный при обыске у его брата Василия нагана на самом деле принадлежит ему. А арестованному оппозиционеру оружие досталось во временное пользование, когда последний еще был членом партии. И в тот же день, 12 ноября, нагана коммунисту Загуменному вернули.

Тем временем чекисты наладили поистине стахановскую работу по сбору доказательств и допросам. Пока шли аресты подозреваемых, показания давали свидетели. Был допрошен студент второго курса рабфака Алексей Курдин:

29 Октября я пришел на занятие вместе с Романовым Валент<ином> Иван<овичем> (отчество точно не знаю) на Рабфак. Перед концом занятий урока Романов вынул из кармана одну листовку, передавая ее мне сказал: «прочитай»

Я бегло ее просмотрел, где было изложена болезнь Троцкого, призыв к действию – требованию возврата его, как борца для пользы пролетариата и помещения его в более лучшие климат<ические> условия. Подписана листовка Радеком, датирована 28/IX–28 г.

Тут-же он передал другую такую-же листовку сидевшему на другой скамье рабфаковцу – члену ВКП(б) Зацеляпину; последний прочитав, тут же вернул обратно.

Ознакомившись с листовкой я положил ее в тетрадь что-бы с большой перерыв передать в бюро ячейки. После приступа к занятию (после малого перерыва) меня, Зацеляпина и группорга Портнова вызвали в бюро ячейки, где мне после по-видимому предв<арительного> их переговора с Портновым, который уже вышел задан был вопрос о состоянии в группах. Я спросил о каком состоянии идет речь. Мне ответили – читал-ли я листовки. Я тут же изложил все по порядку, сказал, что я хотел сам принести ее. Тут-же после этого разговора эту листовку я передал в бюро ячейки.

У Романова листовок было еще несколько штук, какое количество, точно сказать не могу.

Другим никому листовок он не передавал. <...>

PS. Когда я эту листовку прочел то заявил ему: «Вот какими делами ты теперь занимаешься». Он мне на это ответил: «Нужно каким-нибудь путем освободить человека, ведь Вам не разрешают теперь такие штуки».

Как следует из документа, Курдин сдал своего сокурсника, и на следующий день 26-летний Валентин Романов, в свою очередь, каялся и давал признательные показания:

Я, Романов Валентин Иванович, признавая за собой вину в распространении нелегальной литературы, решил организационно порвать с оппозицией, почему и в доказательство чего абсолютно все известное мне о её работе в г. Саратове как и об участии отдельных лиц в ее работе, буду показывать правдиво на настоящем допросе. Примкнув к оппозиции в конце 1927 г., я принимал участие в оппозиционной деятельности, как распространение литературы, устройстве собраний и т.д. в период до XV съезда партии, когда я был в ее рядах членом. Будучи исключен из ВКП(б), я подавал заявление в ЦКК¹, но через некоторое время заявление взял назад. До августа месяца я с оппозицией почти не соприкасался. С Августа месяца вновь стал встречаться с оппозиционерами, тоже исключенными из партии, как то: Лелевичем, Пестовым, Бабичевым, Поповым, Носовым, Воскресенским и другими, фамилии которых не помню, и относительно активную деятельность стал проявлять вновь с половины Сентября месяца, заключающаяся в получении листовок от ряда лиц, както: Лелевича, Пестова, Бабичева и др., которые дал для прочтения нескольким товарищам по Рабфаку, состоящие членами ВКП(б). Склонить к оппозиции данных товарищей мне не удалось, и мне кажется, что они читали их из любопытства. Читать я давал товарищам, которые никому не давали и не говорили об этом.

28/X-28 г. я был у Лелевича, с которым имел разговор об организационной структуре теперешней оппозиции. Из беседы с ним я вынес заключение, что есть комитет, являющийся центром для Саратова, и что необходимо вносить членские взносы в размере 3%, также ребята, связанные с оппозицией, прикреплены к районам руководителями и в частности к районному руководителю прикреплен и я, которому должен сдавать членские взносы. Этим руководителем является Лелевич, кто является Секретарем Центра, и есть ли таковой, неизвестно, и я не находил причин спрашивать. На обязанности руководителя лежит информирование прикрепленных ему, дачи поручений и дача литературы, новые члены представляются руководителю, дальнейшее продвижение мне неизвестно.

Листовки писались Радеком, были переданы мне Лелевичем в количестве 3х или 4х экземплярах с заданием размножить в массовом порядке в возможно большем количестве экземпляров. Передал он мне их 28/X 28 г. Приход мой 28 октября был случаен, но вообще я заходил к нему часто. Примерно два два в неделю. Когда 29/X я передавал листовки на Рабфаке, то Курдину и Зацеляпину и узнал о том, что листовки Курдиным переданы в ячейку партии. Вечером 29/X пошел к Лелевичу сообщить о случившемся, но его не застал, увидев у него незнакомых мне лиц. Когда я зашел, один из них спросил меня, исключен ли я из партии. После чего я рассказал о цели прихода, т.е. предупредить Лелевича о провале. Один из них рекомендовал мне в случае допроса меня в ГПУ сказать, что получил по почте от Нечаев из <Ишима?>. О Нечаеве лично я ничего не слышал.

В беседе с Лелевичем 28/X я от него узнал, что он в этот день проводил беседу с рабочими заводов «Сотрудник революции» и кажется завода Ленина. Рабочих было человека четыре. Но не помню точно количества. <...> убеждал и меня последовать его примеру, приводя факты, что троцкисты перешли к антисов. деятельности, разбрасывая листовки, о чем он узнал от приехавших ребят членов партии, твердых цекистов. Узнав об этом, я спросил Лелевича, правда ли это. Он выразил сомнение о листовках, а на вопрос есть ли тройки на предприятиях для руководства забастовками <...>, Лелевич это отверг категорически. После возвращения из Москвы Лелевича, куда он ездил по делам, он сообщил, что листовки действительно были, но только на некоторых заводах, на улицах не было. Листовки я прочел, возмущившись фактом распространения их в массы. Примерно недели три тому назад я был у Лелевича с товарищем, которого думал <обратить?> для оппозиции. Лелевич с ним поговорил про <...> и расхождениях в партии.

Складывается впечатление, что следователям важно было не разобраться в деталях подпольной работы и даже не получить признательные показания, а заставить уклонистов отречься от ереси и присягнуть генеральной линии. В частности, это следует из показаний Василия Загуменного:

¹ Центральная контрольная комиссия.

Лелевича и Пестова знаю, у обоих бывал на квартирах, при встречах, мною велись с ними разговоры о внутрипартийном положении и по другим вопросам частного, личного характера.

На данном этапе всякую подпольную и фракционную работу я считаю совершенно недопустимой и вредной для партии и рабочего класса.

Всякое обращение с апелляцией к беспарт. массам я считаю неправильным, допускаю обращение по всем вопросам направленным на исправление линии только к партии.

Я лично никакой подпольной работы не веду и вести не буду.

Никаких листовок у меня нет и не было, а у кого были и были-ли не знаю.

Если-бы предположим Лелевич стал обращаться к беспарт. массам, я его постарался бы убедить, а если б он не согласился, а стал бы продолжать это дело, то безусловно я заявил бы в ГПУ.

Впрочем, каялись далеко не все. Назначенный чекистами руководителем подпольной организации Николай Пестов четко объяснял свою позицию. Напомним, шел 1928 год, исключенным из партии еще можно было полноценно участвовать в общественной жизни и без последствий проявлять благородство:

После исключения меня из партии в декабре 1927 года я никакого участия в активной работе не принимал до опубликования материалов о положении дел в Московской организации. После опубликования этих материалов я считаю необходимым для каждого оппозиционера заявить партии о существующих разногласиях (замазывание существа разногласий, <...> применение по отношению правых мягких мер партвоздействия при <...> их фракционной деятельности). Каждый оппозиционер должен заявить, что <работа?> на два фронта является в условиях обострения борьбы с правыми не правильной ибо основной огонь должен быть направлен против правых открытых <оппортунистических?> членов партии. Для этого каждый оппозиционер должен выступить на открытых собраниях ячеек где ставится вопрос о положении в партии с заявлениями <в> вышеуказанном духе. Я, не скрывая существующие разногласия <...> на открытом собрании ячейки я лично выступил с разъяснением своей точки зрения на проблему хлебозаготовки, хлебоснабжения. Моя точка зрения как оппозиционера заключалась в <изложении?> взглядов оппозиции на организацию хлебозкспорта, <...> внешней торговли и т.д. Обнаруженные у меня ряд оппозиционных документов получены мной от К. Радека. В частности обращение Радека в ЦК я получил от него в количестве трех экземпляров, которые размножил печатанием на машинке Лелевича. Часть отпечатанных листовок мною роздана ряду лиц, назвать фамилии которых не хочу. Директив передаваемым лицам я не давал. Что делать с ними дальше. Листовки я давал исключенным оппозиционерам из партии, беспартийным а также партийцам листовок не давал. Другие получаемые документы не размножались, а давались для прочтения исключенным из партии. Обсуждения по этим документам не было. Я лично ни одного документа не получил от находящихся в Саратове.

Пестову вторил студент Абрам Фридман:

Отобранные у меня документы письмо Радека в ЦК ВКП(б) и письмо Троцкого Конгрессу К. И.¹ (заключительная часть) действительно принадлежат мне. Письмо К. Радека передано мне одним товарищем, фамилию коего назвать отказываюсь. Письмо Троцкого я получил по почте от неизвестного мне лица, откуда не припомню.

Всякую фракционную деятельность на данном этапе считаю недопустимой и вредной для единства партии, однако, считаю необходимым сказать, что перед партией <...> стоит задача бороться с правым уклоном, и что реализация этой задачи возможна только при правильной большевистской линии, а не половинчатыми мерами и не за спиной партии.

Обращение, так сказать, апелляция к беспартийным массам путем распространения письма К. Радека, считаю недопустимым, но апелляцию к партийной и комсомольской массе считаю допустимым.

¹ Коммунистического Интернационала.

С Лелевичем я знаком с декабря 1928 г., знаю его как доцента и как оппозиционера. После 15 сентября я был у него на квартире несколько раз.

Знаком также с Бабичевым Ст. и Кавтария, с которыми иногда встречаюсь.

Наконец, очередь дошла до главного оппозиционера Лелевича. 31 октября его вызвали на первый допрос. На самом деле, этот текст записан подследственным собственноручно и больше напоминает политический манифест.

С 1925 г. я принадлежал к ленинградской оппозиции, а затем в объединенной. После раскола объединенной оппозиции на XV партсъезде и капитуляции Зиновьева – Каменева, я идейно примкнул к той (большей) части ленинградской оппозиции (т. наз. безвозженцы), которая осталась верна ленинским большевистским оппозиционным взглядам. Ход классовых и внутрипартийных событий после XV съезда еще более убедил меня в абсолютной правоте и ленинской выдержанности платформы и контр-тезисов оппозиции.

Тяжелые, но поучительные уроки жизни (разгром Китайской революции, хлебозаготовительный кризис, смоленский и мн. др. гнойники и т.д.) побудили даже часть партийного руководства сдвинуться несколько влево, в сторону ленинской линии оппозиции (форсированное наступление на кулака, самокритика). Однако, этот и без того неосновательный и робкий поворот, встретив бешеное сопротивление переродившихся кругов госаппарата, уже на июльском пленуме ЦК сменился новым зигзагом вправо. Признаки нового «полевения» (крики о борьбе с правой оппозицией), к сожалению, не дают возможности предполагать, что перед нами – не очередной зигзаг, а действительный возврат к ленинской политике. Прикрывая правых вождей (Сталин на МК об отсутствии правых в политбюро), боязнь сказать всю правду партии, боязнь создать союз бедняков, продолжение ущемления материальных нужд рабочих, наконец, продолжающиеся аресты и ссылки застрельщиков борьбы с правой опасностью – оппозиционеров, все это показывает, что центристы (сталинцы) продолжают политику зигзагов, продолжают линию «Городской молодежный центр» огня налево, сохраняют блок с правыми. Этот путь гибелен для партии и для революции. В нынешних условиях политика зигзагов может привести к катастрофическим последствиям. Нужен решительный возврат к последовательной подлинно-ленинской политике. Это может осуществить лишь рабочее ядро партии, если оно узнает всю правду и пробудится от политической пассивности (порожденной бюрократическим режимом). Оно заставит руководство прекратить шатания.

Долг каждого большевика делать все, что он в силах, для того, чтобы рабочее ядро партии узнало всю правду и активизировалось. Этот долг я, в меру сил, выполнял. Я действительно стремился убеждать партийцев в правоте линии оппозиции и знакомил их с материалами, эту линию формировавшими. «Винновым» в этом себя не признаю, ибо это – не вина, а «исполнение» большевистского долга.

Восковки и др. принадлежности для размножения литературы завалились у меня с прошлых времен, после съезда я ими не пользовался. Я ограничивался либо теми документами, которые ко мне попадали, либо же перепечаткой их на пишмашинке.

Изыятые листовки у меня при обыске (обращение Радека в ЦК ВКП(б), отпечатанные на шапирографе на тонкой папиросной бумаге, я давал для ознакомления партийцев. Кому «персонально?» давал листовки, назвать не желаю. И как не отвечу, давал ли эти листовки Фридману, Кавтария, Пестову, Воскресенскому, исключенным за оппозиционную деятельность. О том, что я обработал «втягивал?» в оппозицию отдельных рабочих партийцев, я показал выше. <...> Что да обрабатывал. Но назвать конкретно место работы и имена отказываюсь, не желая вызывать репрессии по отношению к ним. Листовки, которые я раздавал товарищам (листовки – обращение Радека в ЦК) я печатал на своей машинке, отпечатав не более 15-18 экземпляров. Остальные привез с собой из Москвы, куда ездил недели две назад. Листовки «Товарищи рабочие», привезенная мной из Москвы, не распространялась, так как мы с товарищами решили, что она не подходит для распространения. Письмо Радека я считал необходимым довести до сведения партии, почему и были приняты меры к их распространению. Посланные деньги для ссыльных оппозиционеров были не только моими деньгами, а являлись результатом пожертвования «и?» процентных отчислений: хотя проценты отчисления не были строго регламентированы.

Представлялось возможным <вносить?> сколько возможно. Для каждого <поступающего?> товарища существование организационного комитета я категорически отрицаю, так как были личные связи между оппозиционерами, а большего не требовалось. Записано с моих слов и прочитано.

Студент Ипполит Кавтария на допросе отрекался от оппозиционных взглядов, что сыграло ему на руку в дальнейшем. Он рассказывал на допросе 3 ноября:

Копии письма К. Радека в ЦК ВКП(б) от 25/IX-28 г. в количестве 3-х экз., отпечатанных на шапирографе, и в 61 экз., отпечатанных на пишущей машинке, как равно и листовка, подписанная – «Оппозиция большевиков» ленинцев ВКП(б)», требующей возвращения Троцкого в Москву – действительно принадлежат мне.

Первые 4 экз. письма Радека я получил от товарища, фамилию которого назвать категорически отказываюсь. Листовку о возвращении Троцкого я получил почтой из Ташкента от Яшвили, находящегося в ссылке за оппозиционную деятельность, вместе с письмом, в котором он, прилагая эту листовку, сообщил, что такие листовки распространялись в Москве.

С Лелевичем, Пестовым, Бабичевым и Фридманом я знаком, при чем, с первыми тремя я встречался часто, обменивался мнениями по всем вопросам политики Коминтерна, ВКП(б), секций Коминтерна и т.д., с последним же виделся всего 1 раз, где я с ним говорил и больше разговоров с ним не вел.

Всякую фракционную работу как метод считаю недопустимым.

Политику ЦК ВКП(б) в <...> ликвидации обнаружившихся в московской организации правых уклонов считаю нерешительной, по моему мнению правым уклонистам нет места в партии коммунистической <...>.

Всякое обращение к беспартийной рабочей массе со стороны своих единомышленников (исключенных) за оппозицию, находящихся в данное время вне партии) я считаю недопустимым, как я показывал и при вторичном допросе, зафиксированном протоколом.

Вопрос – если б Ваши единомышленники-оппозиционеры, обращались бы в данный момент к улице, ко всей беспартийной массе посредством листовок, в которых требовали бы освобождения Вас и Ваших товарищей, как бы Вы смотрели на такие действия?

Ответ. Прежде всего, если такие обращения были бы, то они никакого действия на власть не оказали бы в смысле нашего освобождения; если же к оценке этого вопроса подойти с принципиальной стороны, то безусловно, обращение к беспартийной массе с требованием о нашем освобождении <...> если б такие листовки распространялись на улице я самым решительным образом осудил, осуждаю и буду осуждать. Подобные апелляции не к партии, а к беспартийной массе, ведут только к обострению, чреваты последствиями для партии и для страны.

Я принадлежу к группе большевиков-ленинцев и считаю, что ВКП(б), хотя и в руководстве имеются крупные ошибки и разложение партийных верхов (Смоленск, Сочи, Астрахань, Артемовск и др.), но основная масса партии ВКП(б) еще не потеряла своего классового пролетарского инстинкта и при правильном ленинском руководстве ВКП(б) доведет до конца свою историческую миссию.

1 ноября старший уполномоченный ГПУ Шуклин вынес постановление об освобождении арестованного Василия Загуменного. По мнению следователя, сведения о его участии в подпольной антисоветской работе не подтвердились. Вскоре, напомним, партийному родственнику Загуменного вернули изъятый при обыске пистолет.

2 ноября на допрос был вызван студент Степан Бабичев. Сначала он косноязычно жаловался на жизнь:

Выходец сам из крестьян бедняков, сам долгое время батрачил <...>. Работая в 1925-1926 г. в деревне секретарем ВК ВЛКСМ и видел, как плохо живут бедные слои деревни, за которые я боролся, и в то же время лучше живут кулаки и вообще зажиточная часть деревни. Я полностью видел, как сильно беднота была в зависимости от кулачества, как кулачество ее использовало ее в своих интересах. <...> поступил

вуз где я увидел, что конкурс 1926 г. дал чуждый элемент вуз: детей священников <...>. Это меня еще раз убедило в неверности политики партии. В то время, как сотни детей раб. и кр-ян остаются за бортом вуза, а эта мрась принята. Я пробывал выступать об этом на партийных собраниях меня осмеивали, говорили, что это неверно, обвиняли в чем угодно. Эти причины не чуткого отношения к истенному пролетарию, как я толкнуло меня на путь оппозиционной борьбы.

А потом вдруг заговорил языком плаката:

Всякое обращение к беспарт. массе с апелляцией считаю недопустимым. От единомышленников своих, обращающихся с апелляцией к беспартийным массам, я категорически отмежевываюсь и решительно всякие действия в виде обращения к ней листовками осуждаю самым решительным образом. Если это направлено к парт. массе, я поддерживаю.

А в это время старший наставник Загуменного и Бабичева, врач Георгий Воскресенский был вызван на первый допрос, где его безуспешно пытались вернуть в лоно партии.

Примкнув к оппозиции в 1923 году, я окончательно перешел к оппозиции в 1926 году, принимая участие в ее работе.

Будучи исключенным после XV партсъезда из партии, вне политической работы я себя не мыслил, т.е. скатился к мещанству. Так как недостаточны возможности легальной работы, то вынужден пользоваться и нелегальной. Обнаруженные у меня письма, обращения Радека в ЦК ВКП(б) о <...> (листовка) намеревался распространить и часть раздал товарищам, фамилии которых назвать не желаю. Обнаруженные листовки у меня об итогах июльского пленума ЦК (оценка представителями группы 15) также намеревался распространять и единичные экземпляры отдал товарищам, фамилии которых также не назову. Листовки (письмо Радека) получены лично в Саратове, а оценка 15 получена не в Саратове, источники которых не назову.

Вопрос: Применяя методы нелегальной работы, считаете ли Вы возможным обращение непосредственно к беспартийцам (рабочего класса) посредством листовок и т.д. для воздействия на партию и ее Ц.К. к возвращению Троцкого к руководящей работе и из ссылки вообще методами политзабастовок и стачек.

Ответ: Обращение к беспартийным рабочим непосредственно считаю возможным, так как партия есть часть рабочего класса и тогда, когда эта часть, хотя бы и авангард его в лице руководящего органа Ц.К. ведет политику, вредно сказывающуюся на классовых интересах пролетариата. Возвращение всей оппозиции к руководящей работе и тов. Троцкого в частности, считаю необходимым в интересах пролетариата, а поэтому считаю допустимым метод вплоть до политстачек и политзабастовок.

Вопрос: Отрицая возможность реформенного пути исправления линии партии, кажущейся Вам неправильной, какой метод считаете Вы приемлемым?

Ответ: Реформенный путь, путь комбинации в верхушках считаю не верным, т.к. это будет опять-таки идти через голову партии, а поэтому считаю необходимым разделение этого вопроса партией в целом путем а) обсуждения всей партией подробно материалов разногласий в партии и между руководящей группой и оппозицией в настоящее время и предсъездовских, б) созыв чрезвычайного съезда партии с отменой решений, принятых XV съездом.

Вопрос: Признавая возможность влияния на партию и заставить ее исправлять ее линию, считаемую Вами неправильной, посредством политстачек даже и беспартийных рабочих, считаете ли Вы необходимым руководство стачками Вами, т.е. исключенными из партии за оппозицию, или в руководстве ими возможно использование действительно беспартийных, не бывших как в ВКП, так и вообще в партиях других (враждебных)?

Ответ: Руководство политстачками должно проводиться или бывш. членами ВКП(б), исключенными за оппозицию, или состоящими в настоящее время в партии, но не безразлично беспартийными, хотя бы и рабочими, т.к. в этих условиях это движение может быть использовано действительно врагами проле-

тариата и если не непосредственно в руководстве, то посредством влияния (меньшевистское, анархистское и т.д.) на этих беспартийных руководителей.

Вопрос: Считаете ли Вы возможным существование на предприятиях при настоящих условиях оппозиционных ячеек или фракций для вышеозначенных целей (конспиративными?)

Ответ: При настоящих условиях групповой борьбы я считаю возможным существование фракционных групп на предприятиях, которые бы могли проводить в жизнь фракционные требования. Поскольку легально это не допускается, постольку необходимо конспиративное существование их.

Георгий Воскресенский, видимо, представлял собой яркий образец классического русского интеллигента, ощущал себя не арестантом в кабинете следователя, а оратором на трибуне, час которого, несомненно, пробьет в ближайшее время. Незадолго до первого допроса он написал обращение полномочному представителю ОГПУ по Нижне-Волжскому краю:

Заключение меня под стражу, полагаю, не преследовало целью превращение в инвалиды, однако обстановка с освещением в камере №4 может к этому повести. Я не могу, сидя в камере, бить баклуши, а чтение при существующем освещении (стола для этого нет, приходится читать на кровати) безусловно поведет к ослаблению, и так уже ослабленного усиленными занятиями, зрения. Необходимо Ваше распоряжение об усилении освещения в камере.

P.S. Кроме того, 3^х суточное пребывание без допроса, по-видимому обещает пребывание в такой обстановке еще не один вечер.

Полную противоположность врачу Воскресенскому явил высланный из Ленинграда Валериян Семечкин. В момент ареста он был научным сотрудником музея Чернышевского и говорил, видимо, то, чего безуспешно добивались следователи от его подельников:

Категорически отрицая свое участие в подпольной работе оппозиции как-то: в распространении и составлении разного рода листовок, воззваний, обращений и т.п. заявляю о том, что подобную работу считаю совершенно недопустимой, так как эта работа ведет к натравливанию класса (рабочего) на его авангард (партию), отмежевываюсь от всяческих организаций, так назыв. оппозиции, тем более, что с момента моего исключения из партии (28/IV-28 г.), когда я дал обязательство не вести никакой фракционной работы, я честно его выполнял. Что касается до чисто принципиальных взглядов, то я оставаясь честным перед партией и само собой не могу признать свою защиту основных взглядов изложенных в платформе не принял той и эти свои взгляды ошибочными. Спрашивается как же я буду поступать, чтобы не превратиться в обывателя – мещанина с полным отсутствием какого-либо интереса к политической жизни страны? Я постараюсь вновь и опять продумать создавшееся для меня лично межумочное положение и постараюсь исправить свои ошибки путем полной и безоговорочной поддержки политической линии ЦК ВКП(б).

Итак я полностью отмежевываюсь от организационной и тактической линии оппозиции, повторяя что и до того момента, когда я пишу эти строки я не принимал участия в организационной работе оппозиции и не знал о ней. Мое пребывание в оппозиции с XV съезда носило характер солидарности по некоторым принципиальным вопросам с очень немногими желанными т.т. из оппозиции – ни в коем случае ни с «троцкистским» и тем более «щекистским» направлениями. Спрашивается почему я не подал заявление о принятии, возвращении меня обратно в партию. В этом вопросе, в вопросе следовательно о признании ошибочным, как того требовал партсъезд – своих принципиальных позиций я непростительно быть может для человека считающего себя мало-мальски политически грамотным – колебался – эти шатания, составлявшие мою личную трагедию, не прошло еще и сейчас.

Даю обещание честно выполнять настоящее заявление.

Если до XV съезда я совместно со своими сотоварищами находясь внутри ВКП(б) противопоставлял воззрения свои воззрениями руководящей группы, то находясь вне партии я объективно противопоставляю свои взгляды всей партии. Что является совершенной нелепостью, так как партия коммунистическая, рабочая.

Считая подпольную деятельность оппозиции вредной для партии и рабочего класса, долгом своим считаю всеми имеющимися у меня средствами бороться против нее, официально разоблачая ее ничтожность, опасность и вредность в настоящих условиях.

И в тот же день, 3 ноября уполномоченный ОГПУ Шуклин освободил Семечкина.

Несмотря на то, что руководители подпольной организации и все активные ее участники были арестованы и давали в той или иной степени признательные показания, говорить о полной победе над оппозицией было рано. В Саратове снова обнаружались крамольные листовки. На этот раз их не передавали из рук в руки студенты, а находили на улицах рабочие. В частности, отпечатанные на шапирографе листки были разбросаны на углу Ленинской и Камышинской (ныне Московской и Рахова), а также около аккумуляторного завода. Бдительные пролетарии передали их руководителям своих партийчек.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Товарищи! Наши трудности растут с каждым днем, кулак поднимает голову, все сильнее нажимает международная и внутренняя буржуазия.

С каждым днем все труднее становится жить рабочему классу.

Дороговизна растет – падает зарплата. А в бюрократических канцеляриях готовятся все новые проекты нажима на мускульную силу рабочих и дальнейшее понижение зарплаты. Но это только начало! Настоящие трудности еще впереди. Они будут расти, они могут привести к гибели пролетарское государство, если вы не примете решительного участия в борьбе с кулаком и нэпманом, с бюрократизмом, который свил себе прочное гнездо в нашем государстве.

Товарищи! Оппозиция большевиков-ленинцев давно предупреждала партию и рабочий класс об этих опасностях. Но нынешнее руководство, в том числе и те самые правые, с которыми сегодня будто бы вас призывают бороться, исключили ее из партии, и тысячи лучших борцов за дело рабочего класса, учеников Ленина и старых революционеров сослали в ссылку.

Даже сегодня, когда только слепые и зарвавшиеся бюрократы не видят, что главная опасность идет от кулака и нэпмана, идет справа; нынешнее руководство партии продолжает свою старую политику.

Волна новых арестов прокатилась по всему СССР. В Саратове в ночь с 29 на 30^е октября 1928 г. арестованы т.т. Лелевич, Пестов, Фридман, Воскресенский. Арестован т. Кавтария, которому партийно-советская бюрократия мстит за то, что он еще недавно решительно отказался идти вместе с ними и ушел к большевикам-ленинцам. Этих товарищей ждет также ссылка, в которой уже скоро год томится такой великий боец за дело рабочего класса, вождь и организатор Кр<ас>ной Армии, как т. Л.Д. Троцкий.

В глуши – за сотни верст от жел<езной> дор<оги> его здоровье подтачивает малярия, его жизнь в опасности. Товарищи! Не верьте словам ваших руководителей, добивайтесь правды сами. Сами разбирайтесь, почему у нас растут трудности и как бороться с ними. На всех собраниях требуйте, чтобы вам ответили, почему продолжаются аресты и ссылка, почему играют жизнью и здоровьем т. Троцкого, требуйте их освобождения из ссылки и обратного возвращения в партию.

Товарищи! Сами отстаивайте свои права.

Поднимайтесь на борьбу с кулаком, нэпманом и бюрократом!

За пролетарскую диктатуру!

За союз рабочего и бедняка крестьянина!

За Социализм!

Больш<евицко>-Ленинская оппозиция.

Прочитай и передай другому.

Это был открытый вызов и следствию, и всему аппарату ГПУ. По-видимому, работу пришлось усилить по всем направлениям, в том числе и агентурному. В результате 4 ноября с обыском нагрянули к 23-летнему студенту СГУ Лонгину Дубровину, исключенному в свое время из комсомола. В его дом на улице Красной явился сам начальник секретного отдела ОГПУ Д. Каплан. Под

террасой дома был обнаружен зарытый в землю наган, после чего Дубровин сам показал место под крыльцом, куда спрятал шапирограф.

Расколоть парня не составило труда. Протокол допроса написан рукой уполномоченного Шабанова:

В связи с арестом Лилевича, Пестова и Воскресенского, да кроме того в печати признан как <...> – правый уклон в партии ВКП(б), котором Ленинская оппозиция доводила до свиданья партию на несколько лет в пиред и когда после ареста вышли указанных товарищей мы – (Я Дубровин А.А., Тараканов А.В. и Бабичев С.) обратились к партийцам и комсомольцам как например член В.К.П. Фомиченко – (учитель университета) и другим за разъяснением по поводу арестов вышли упомянутых товарищей, то они ответили что они примут меры за против нас за распространение клеветы. После этого я договорился с Таракановым А.В. выпустить листовку для рабочих по поводу арестов 30 октября с/г. Я пошел в аптеку купить жевотину и гленцерину – для составление масла на котором можно было-бы печатать – всего было куплено матириала на пять (5) руб. 50 коп. и придя домой из данного матириала я зделал вроде гектографа. Мой товарищ Тараканов участии в этом не принимал но об этом знал. 31 октября с/г. я с Таракановым начал сосоставлять содержание листочки, основное содержание листочки был протест против арестов (полное содержание листочки было обнаружено у меня при обыски). Всего мы в месте с Таракановым напичтали около 75-штук. Все оригиналы писал Тараканов. 2 октября с/г. я взял несколько листовок – но сколько точно не знаю ну думаю что штук 30 – и начал раздавать рабочим едущим на работу – (раздавал листовки рабочим между Ленинской и Советской ул.) и все взятые листовки мною были розданы. О том что я взял листовки для раздачи рабочим и их роздал Тараканов знал. Остальные все листовки мы взяли в месте с Таракановым и пошли к Бабичеву – поговорить с последним как распространять оставшееся листовки но подойдя к дому Бабичева мы заметили что у него производят обыск. Мы с Таракановым решили в квартиру Бабичева не идти, а также решили и не итти с листовками домой, думая что производят обыск и тут же решили часть листовок порвать, что и сделали – а часть решили спрятать, и я отдельно от Тараканова – ибо последней пошел домой, пошел к Приваловскому мосту и спрятал в овраги оставшиеся у меня листовки. После этого пошел домой где уже Тараканова застал дома – спросил обыск было он ответил что не было. И стали ждать обыска. Бабичев не знал а также и другие наши товарищи не знали о нашем намерение изготовить листовки, и о том, что мы их уже распространили, а также разговоров об этом не с кем не было. <...>

Лелевич во время этих события находился в камере и должен был реагировать на новые улики против себя. Как и на предыдущем допросе, он предпочитал теоретизировать, а не давать конкретные показания.

Основным документом, определяющим мою теоретическую и «стратегическую» линию, является проект платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к XV съезду ВКП(б). Ревизовать установку платформы в каком бы то ни было направлении (вправо или влево) считаю неправильным, не вызываемым потребностями объективного развития.

Я расхожусь с оппозиционными течениями т. Л.Д. Троцкого и т. Т. Сапронова¹ по ряду пунктов (с первым преимущественно по вопросам международного и исторического характера, со вторым – по вопросу о путях партийной реформы). Но я убежден, что при всех ошибках течение тов. Троцкого есть большевистское течение, течение пролетарских революционеров, необходимое в партии и в ее руководстве. И ошибки течения т. Сапронова есть левое «наказание за грехи оппортунизма» (Ленин), есть часто крупные – эксцессы, порожденные, как следствие, оппортунистическими ошибками и антиопозиционным террором руководства. И это течение, несмотря на крупные ошибки, по моему глубокому убеждению, должно быть возвращено в партию.

¹ Тимофей Сапронов (1887, Тульская губерния – 28 сентября 1937, Москва) – партийный деятель, один из лидеров левой оппозиции. В 1928 г. был сослан в Крымскую АССР. 28 сентября 1937 г. расстрелян.

Исключение, аресты, ссылки оппозиционеров, при сокращении правых в руководстве вплоть до политбюро, есть продолжение убийственной политики огня налево.

Лучший способ ликвидировать заскоки и эксцессы тех или иных оппозиционных течений – ликвидировать оппортунистические шатания, всерьез повернуть огонь направо, вернуть партии ее отсеченное левое крыло. Все ошибки оппозиционных течений ничтожны по сравнению с оппортунистическими ошибками руководства: ошибки в борьбе с оппортунизмом несравнимы с оппортунизмом самим.

Листовку по поводу арестов в Саратове рассматриваю как неумелое выражение естественного желания вызвать протест партийного общественного мнения против продолжения огня налево.

Ленинградская оппозиция (безвозжденство), оппозиция 1923 г. (группа т. Троцкого) и оппозиция 15-ти (группа т. Сапронова) – совершенно самостоятельные идейные течения в большевизме. <...>

Изъятый у меня при обыске документ, отпечатанный на папиросной бумаге, начинающийся словами «Выходит, что никакой самокритики в нашей ячейке не было» и кончающийся припиской от руки «Выходит, что главных правых покрывают, а стрелочников наказали», принадлежит мне и является примерным конспектом речи, которая по-моему сейчас должна произноситься сознательными партийцами на партсобраниях. Целью документа было помочь партийцам установить по моему мнению правильную большевистскую линию в выступлениях.

Вопрос. Предназначен ли этот документ в качестве инструкции конспекта для выступления членов партии на ячейках, скрывающих свою принадлежащих к оппозиции и передана ли кому-либо.

Ответ. Этот конспект передан мною некоторым товарищам как партийцам, находящимся в рядах партии и согласным с постановкой вопроса в конспекте так и исключенным из партии за оппозицию и предназначен он был для них. Документ был приготовлен в связи с октябрьским пленумом МК.

Из допроса Дубровина попутно выяснилось, кто в отсутствие руководителей организации принял решение распространять листовки в их защиту. Это был 23-летний студент IV курса педфака СГУ Александр Тараканов:

В среду на той неделе мы с Дубровиным, наиболее близким мне человеком, решили изготовить листовки; текст листовок заготовлял я; шاپирограф приготовил Дубровин, который приобретал и желатин и глицерин. Всего листовок мы с Дубровиным отпечатали на изготовленном Дубровиным шapiroграфе штук 70. Листовки были разного формата: один сложил в поллиста, другой в ¼ листа – первый был написан мною обыкновенным почерком, каким я обычно пишу, а другой (в ¼ листа) я написал печатными буквами. Дубровин текстов не изготовлял.

По отпечатывании я взял штук примерно 15-20 для распространения среди рабочих; часть взял Дубровин, а часть осталась у Дубровина. Где эта последняя часть листовок, я не помню. Вскоре с Дубровиным мы пошли к Бабичеву посоветоваться с ним, стоит ли их распространять, но пришли к нему в момент обыска. Тут же мы ушли: я пошел домой, а Дубровин куда-то в другое место.

Распространить мне листовок не удалось по той причине, что я не имел согласия на этот счет от ребят, в частности, от Бабичева, Дубровина (который ушел). Листовки были у меня на квартире – <далее?> спрятал я их у одного из ребят по фамилии Яку<...> – комсомольца, который зашел ко мне, куда он их перепрятал, я не знаю.

Дубровин, когда мы снова с ним свиделись, на мой вопрос, куда он дел листовки, ответил, что он их спрятал под какой-то камень, где-то под мостом. О том, что он распространял их, он мне ничего не говорил.

Мысль о изготовлении листовок возникла у нас с Дубровиным; никого из лиц нам знакомых мы в это дело не посвящали.

Целью выпуска листовок мы преследовали только одно – доведение до сведения рабочих об аресте наших товарищей, поэтому в нашей листовке мы и указывали, что в то время, когда идет борьба с правым уклоном в партии, репрессии сыпятся на левых.

Виновным себя в попытке распространения листовок признаю, если это можно назвать виной. Такой способ действий, как выпуск и распространение листовок я в некоторые моменты <...> и я себя <...>.

Видимо, власть приняла решение обезвредить поголовно всех потенциальных оппозиционеров из числа студентов. 4 ноября пришли с обыском к Михаилу Пилясову, студенту второго курса факультета хозяйства и права СГУ, ранее исключенному из комсомола.

Произведенным обыском у гр. Пилясова М.Ф. <...> ни чего обнаружено не было. Из имущества у Пилясова имеется только небольшая плетеная корзинка в которой находились книги – учебники по правовому вопросу и экономике и газетные вырезки из центральной «Правды». Кроме корзинки имелся топчан (кровать) с очень бедными постельными принадлежностями где в изголовьи были тоже книги учебники и тетради с записями лекций.

Несмотря на отсутствие хоть каких-то улик, Пилясова арестовали. Молодой человек, однако, сам напрашивался на статью:

Непосредственное обращение к рабочей беспартийной массе по вопросу о возврате Троцкого из ссылки, путем личного выступления? или распространения листовок считаю возможным и, в отдельных случаях необходимым. <...>

Все конспиративные методы работы оппозиции разделяю полностью как-то 1) распространение листовок среди беспартийных рабочих и партийцев <...>

Считаясь с дисциплиной конспирации по моему мнению я не считаю возможным пока дачу показаний следствию? <...>

прим. выпущенные листочки анти-советскими не считаю Пилясов

6 ноября неожиданно объявил голодовку раскаявшийся было студент Валентин Романов. Из его записки, впрочем, не ясно, что он требовал от руководства ОГПУ, и что мешало ему начать голодать немедленно.

Считаю, что мотивы выдвинутые вами, в ответ на наши требования, неудовлетворительны объявляю голодовку с 7/XI 28 г.

6/XI 28 г. арестованный В. Романов

Как дальше развивались события вокруг Романова, не известно, однако 13 ноября он был освобожден из-под стражи, поскольку «данных, свидетельствующих о его причастности к подпольной антисоветской деятельности, в процессе следствия не добыто».

В итоге обвинение по ст. 58/10 ч. 1 УК РСФСР (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания) было предъявлено Лелевичу, Пестову, Воскресенскому, Фридману, Кавтария, Дубровину, Тараканову, Пилясову и Бабичеву.

12 ноября был еще раз допрошен Лелевич:

Вопрос. Находитесь Вы в политическом и организационном блоке с группой Троцкого (указанное касается Вас как Лелевича) или нет.

Ответ. Я уже ответил в прошлый раз, что ленинградская оппозиция, к которой я имею честь принадлежать, является совершенно самостоятельным течением и ни с каким другим течением в блоке не состоит. Это дает ответ и на вопрос обо мне лично. Распространяться в ГПУ более подробно о разногласиях моих с другими оппозиционными течениями и тем давать моральную санкцию арестам и высылкам оппозиционеров считаю абсолютно недопустимым и отказываюсь.

Вопрос. Не сказано ли в каком блоке как с группой Троцкого, так и с группой Сапронова. О чем Вы от-

вечаете на мой вопрос. Чем объяснить 1) сборы денег и посылку высланным оппозиционерам, их имена. 2) одни и те же документы обнаружены как у Вас, так и принадлежащих к группе Троцкого, т.е. Пестовым. 3) Посылку нарочного к Преображенскому (троцкист).

Ответ. На прошлом допросе я уже формулировал свое отношение к репрессиям по отношению к оппозиционерам всех трех течений. Эти репрессии я считаю преступлением перед партией и пролетариатом. Совершенно естественно, что я считаю своей обязанностью, по мере сил, помогать всем товарищам, пострадавшим от антиоппозиционных репрессий. На второй вопрос (о документах): я считаю, что не только все оппозиционеры всех трех течений, но и вся партия должна быть знакома с документами оппозиции. Тем более понятно, что документы оппозиции, которые я так или иначе получал, я передавал для ознакомления товарищам из разных оппозиционных течений. И уж совсем понятно, что письмо т. Радека в ЦК (именуемое Вами «листовкой»), которое я считал нужным довести до сведения партии, я первым делом раздал т.т. оппозиционерам. От показаний о так называемом «курьере» к тов. Преображенскому отказываюсь.

Вопрос. В письмах к Вам Бабичева ставился Вам вопрос о выполнении обещания ему т.е. если «левые ленинградцы» <...> перед ЦК, сдав свои позиции, то Вы перейдете к группе Троцкого. Это его письмо от 4/VII из Татищево. В письме же от 15/VII он упоминает, что получил от Вас ответ. Не считается ли это успокоение выполнением Вами обещания.

Ответ. «Успокоение» в письме от 15/VII относилось исключительно к моему сообщению, что я не последовал примеру Сафарова¹ и Вардина² и остался на своих позициях (т.е. позициях ленинградской оппозиции).

Разговор, о котором упоминает т. Бабичев в письме от 4/VII, имел место весной с.г. В этом частном разговоре меня спросили, что бы я стал делать, если бы вся ленинградская оппозиция последовала позорному <приказу?> т.т. Зиновьева – Каменева. Я ответил, что считаю эту перспективу совершенно исключенной, что такое ортодоксальное ленинское течение, как ленинградская оппозиция, может иметь дезертиров, но не может покончить самоубийством и, как течение, отказаться от своих взглядов. Если же такое немислимое, по-моему, несчастье все же случится, я принужден был бы, несмотря на свои серьезные разногласия, бороться вместе с тов. Троцким.

Как известно, мой оптимизм оправдан: ленинградская оппозиция, как и следовало ожидать, сохранилась. И касаться сейчас этого разговора значит повторять историю умной Эльзы из сказок бр. Гриммов.

Этот вопрос вынуждает заподозрить, что меня чуть ли не считают тайным членом течения тов. Троцкого. Резко протестую против подобных подозрений. Если бы я счел нужным войти в это течение, я не скрывал бы этого. Требую, чтобы обо мне судили не на основании нелепых подозрений, а на основании моих заявлений и действий.

Я – большевик-ленинец ленинградского течения. По мере сил и способностей боролся за свои убеждения и готов за это отвечать.

Вопрос. Протестуя против возможного подозрения Вас в «скрытой» принадлежности к группе Троцкого, чем объясняете обнаружение у Вас при обыске 1) бюллетеней подполья троцкистов 2) <...> листовка Радека, которую Вами распространялась (Радек является троцкистом) 3) листовки подполья троцкистов, разбросанные среди <...> связи с съездом Купферблима. 4) среди взятых документов <...> документы, подтверждающие Вашу организационную связь с троцкистами. 5) На первом допросе Вы указали на документы <...> <...> из Москвы. Чем объяснить, что такое количество <...> для распространения документы троцкистов передали Вам не находящегося в организационной связи с троцкистами.

¹ Георгий Сафаров (1891, Санкт-Петербург – 27 июля 1942 года, Саратов) – государственный и партийный деятель. 18 декабря 1927 был исключен из ВКП(б) и выслан в Ачинск. Восстановлен в партии в 1928 г. Расстрелян 27 июля 1942 г.

² Илларион Вардин-Мгеладзе (1890, Грузия – 27 июля 1941, Москва) – литератор, журналист. За оппозиционную деятельность 31 декабря 1927 г. был исключен из ВКП(б) и выслан в Бийск. Восстановлен в партии в 1928 г. Расстрелян 27 июля 1941 г.

Ответ. По существу я уже ответил на этот вопрос в пункте втором настоящего допроса, т.е. я считаю, что все оппозиционеры должны быть в курсе всех политических оценок. Письмо т. Радека распространял, потому что считаю его прекрасным большевистским документом, ни капли не противоречащим моей позиции.

12 ноября Бабичев дал следователям расписку:

Я Бабичев состоя в оппозиции разделял и разделяю ее взгляды до сего времени. Однако, я до сих пор ни вел никакой фракционной работы, а также <отказываюсь> и в дальнейшем от ведения таковой. Фракционной работой я считаю: 1) распространения оппозиционной литературы и листовок среди кого-бы то нибыло; 2) информирование и ознакомление членов партии с оппозиционной литературой и ее взглядами.

и был освобожден из-под стражи, т.к. «данными следствия предъявленное обвинение гр. Бабичеву не подтвердилось».

15 ноября дело «Группы Лелевича» было направлено на рассмотрение в Особое совещание при Коллегии ОГПУ. Однако еще 11 ноября в следственный отдел ОГПУ города Москвы поступило заявление от саратовских коллег.

Препровождая при сем дело за № 1557 на исключенных из ВКП(б) за фракционную деятельность: ЛЕЛЕВИЧА Л.Г., ПЕСТОВА Н.С., ВОСКРЕСЕНСКОГО Г.В. и др. всего в количестве 8-ми человек, считаем необходимым сообщить, что эта публика группа, внося своей разлагающей работой в партийную среду различные кривотолки и самые нелепейшие слухи, – по мнению парторганизаций является элементом в г. Саратове совершенно нежелательным.

С своей стороны ПП ОГПУ по НВК в интересах дела и партии настоятельно просит эту публика группу из г. Саратова изъять, т.к. оставление их в г. Саратове, при наличии здесь Раковского и Вуйовича, связанных с ними, и той нездоровой и вредной деятельности, которую эта группа вносит в ряды партии и за пределы ее, совершенно нежелательно. Арестованные с сего числа <перечисляются?> за Вами.

Заявление подписали полномочный представитель ОГПУ по Нижне-Волжскому краю Каширин, начальник пятого следственного отдела Торопкин и начальник следственного отдела Д. Каплан. С этого момента ответственность за судьбы арестованных оппозиционеров возлагалась саратовскими чекистами на Москву. 19 ноября из-под стражи был выпущен Кавтария, а в Москву ушло донесение, ради чего это было сделано:

В целях законспирирования нашего осведомления по оппозиции, при его освобождении из-под стражи, нами одновременно был освобожден один из группы арестованных оппозиционеров – КАВТАРИЯ, Ипполит Михайлович, копия постановления на коего при сем прилагается.

Арестованные саратовские оппозиционеры ждали решения своей участи до 27 декабря 1928 года. Времена Большого террора еще не наступили, поэтому все восемь человек получили всего лишь по три года ссылки. Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ Лелевич и Лонгин Дубровин были высланы на Урал, Георгий Воскресенский – в Сибирь, Николай Пестов – в Казахстан, Абрам Фридман – в Чувашскую республику, Ипполит Кавтария – в Череповец, Александр Тараканов – в Вятскую губернию, Михаил Пилясов – в Башкирскую АССР.

При этом Дубровину было разрешено свободное проживание по СССР уже летом 1929 года, а Кавтарии – летом 1930 года.

Георгий Воскресенский 28 июля 1930 г. был повторно осужден на три года за антисоветскую пропаганду в городе Рубцовске Алтайского края. Дальнейшая судьба неизвестна.

Николай Пестов был арестован в 1935 г. в Туле, осужден тройкой при УНКВД по Дальстрою и расстрелян 26 октября 1937 г.

Михаил Пилясов был повторно арестован и расстрелян в Москве 10 августа 1937 г.

Валериан Семечкин вторично был осужден тройкой при УНКВД по Дальстрою и расстрелян на Колыме 9 января 1938 г.

Иосиф Цветков после ссылки жил в Москве, был арестован в 1936 г., отправлен в Магаданскую область, где и был расстрелян 14 ноября 1941 г.

Абрам Фридман в дальнейшем побывал в ссылках в Сибири, Таджикистане, Узбекистане и Красноярском крае. По словам дочери, был участником первой голодовки политических заключенных в Воркуте и там же расстрелян в 1938 году.

Сразу после возбуждения уголовного дела были выписаны ордера на обыск и арест Петра Занюка, Константина Сенюшкина и Калиника Яшвили, однако по непонятным причинам их имена больше в деле не фигурировали. Но и они не избежали репрессий.

Директор Саратовского автодорожного рабфака Петр Занюк был арестован за контрреволюционную деятельность 17 января 1935 г. и получил пять лет лагерей.

Инженер Константин Сенюшкин был осужден в Саратове 20 сентября 1936 г. на пять лет лишения свободы, освобожден 29 апреля 1942 г., но содержался на спецпоселении в Воркуте до 1953 г.

Каленика Яшвили нашли в Северо-Казахстанской области на должности ответственного исполнителя в зернотресте. 7 сентября 1932 г. он получил три года исправительно-трудовых работ.

Глава группы оппортунистов Лелевич находился в ссылке до 8 апреля 1931 г., когда ему было разрешено свободное проживание по СССР. Но в 1934 г. он был вновь приговорен за контрреволюционную деятельность к ссылке, которую отбывал в Махачкале. В 1934-1935 гг. работал заведующим сектором литературы НИИ национальных культур при СНК Дагестанской ССР. Снова был выслан, на этот раз в Челябинск, где 4 ноября 1937 г. тройкой НКВД был осужден к высшей мере наказания. Расстрелян 10 декабря 1937 г.

В том же году был расстрелян отец Лелевича Гилель Калмансон, а в 1941-м – сын Варлен Лаборьевич.

Уместно напомнить, что еще в 1922 году поэт Лелевич написал «Коммунэру о чекисте Семёнове», перепечатанную затем в «Саратовских известиях»:

Всю ночь огни горели в Губчека.
Коллегия за полночь заседала.
Семенова усталая рука
Пятнадцать приговоров подписала.
...
И вот землей засыпаны тела...
Семенов сел в хрипящую машину,
И лишь на лбу высоком залегла
Еще одна глубокая морщина.

Дело восьми обвиняемых из «Группы Лелевича» было пересмотрено президиумом Саратовского областного суда в апреле 1990 года. Справка о реабилитации отца была направлена дочери Абрама Фридмана, остальные семь справок отправлять было некому, и их подшили к архивному уголовному делу.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ ЗА 2019 ГОД

ПОЭЗИЯ

- Богдан Агрис.** «О эти выросшие навзничь города...» и др. № 1-2. С. 33
Анна Аркатова. Господь в Сторожах. № 7-8. С. 201
Иван Ахметьев. «или вот...» и др. № 3-4. С. 121
Иван Белецкий. «а лето-то было лето...» и др. № 5-6. С. 17
Алексей Баклан. Приемлемый покой. № 5-6. С. 134
Альбина Борбат. Синхрон и др. № 1-2. С. 3
Маргарита Голубева. Весна большая. № 7-8. С. 78
Юрий Гудумак. Pharmakon. № 5-6. С. 103
Данила Давыдов. «когда казалось бы всё на месте...» и др. № 7-8. С. 82
Илья Данишевский. Медведь и маятник. Часть II. № 9-10. С. 24
Наташа Денисова. «всегда отступала мгла» и др. стихи. № 11-12. С. 101
Екатерина Деришева. «голос в движении выводит границы материка...» и др. № 5-6. С. 20
Сергей Золотарёв. «Дверь» и др. № 7-8. С. 213
Лариса Йоонас. Пустыня высокого напряжения. № 3-4. С. 116
Игорь Караулов. Веселые песни. № 3-4. С. 167
Ия Кива. «девушка в серебристом пуховике...» и др. № 3-4. С. 142
Наталья Ключарева. «Людно внутри...» и др. № 11-12. С. 93
Владимир Коркунов. За два дня до нового государства. № 7-8. С. 92
Ирина Котова. Поэма дистиллированной воды. № 9-10. С. 3
Александр Марков. Псевдопереводы. № 5-6. С. 125
Люба Макаревская. «Она говорит...» и др. стихи. № 11-12. С. 63
Виталий Мамай. Зимнее для кларнета с картины. № 11-12. С. 18
Елена Михайлик. «Как над Бабым Гаем, над мангровой кожей...» и др. стихи. № 11-12. С. 3
Юлиана Новикова. «Мы живем обособленно...» и др. № 9-10. С. 91
Артем Новиченков. Коробка Шредингера. № 9-10. С. 58
Андрей Пермьяков. Как починить свет. № 1-2. С. 131
Алексей Порвин. Стихи памяти О. Ю. № 1-2. С. 37
Александр Самойлов. «Приходите, будет скучно...» и др. № 3-4. С. 3
Серафима Сапрыкина. Лихо дорогое. № 5-6. С. 117
Андрей Сен-Сеньков. «Буквы, я вас люблю и ненавижу» и др. № 5-6. С. 3
Григорий Стариковский. Зимние стихи. № 7-8. С. 3
Евгений Стрелков. «Утро в Богучарове» и др. № 9-10. С. 62
Елена Сунцова. Небесным головокруженьем. № 1-2. С. 117
Андрей Тавров. «Элегия связанных птиц» и др. № 3-4. С. 150
Андрей Торопов. «Я служил солдатом в сапфирной роте...» и др. № 3-4. С. 176
Данил Файзов. «жало лежит в земле» и др. № 9-10. С. 72
Тариэл Цхварадзе. «Пространство тонет в сигаретном дыме...» и др. № 11-12. С. 122
Феликс Чечик. «Говоря о цене, и не только в базарный...» и др. № 1-2. С. 141
Рафаэль Шустерович. Сарабанда. № 9-10. С. 104

ПРОЗА

Владимир Аристов. Рассказы из цикла «Жизнь незамечаемых людей». № 5-6. С. 7

Каринэ Арутюнова. Простые вещи. № 9-10. С. 10

Богдан Бейк. Сгорание. Рассказ. № 7-8. С. 205

Рональд С. Брейтуэй. Короткая спортивная карьера Рональда Брейтуэя. *Квантовый трактат*. № 3-4. С. 8

Дмитрий Брисенко. «Бэбитай» и др. рассказы. № 1-2. С. 124

Анатолий Бузулукский. Крокодил. Внук обнимает. Фотографии. Рассказы. № 11-12. С. 96

Алексей Виноградов. Денгер. Повесть. № 9-10. С. 27

Дмитрий Зарубин. Мастер ключей и прекрасная крановщица. Рассказ. № 11-12. С. 110

Сергей Зельдин. Лузеры. Зимние праздники. Туман. Рассказы. № 3-4. С. 172

Катя Капович. «Рынок, очередь» и др. рассказы. № 1-2. С. 105

Андрей Краснящих. Ника – 2 (А зори здесь тихие). Рассказ. № 7-8. С. 89

Елена Кузьмичёва. Не сотвори себе мир. Повесть. № 7-8. С. 97

Константин Куприянов. Живи вечно! Рассказ. № 5-6. С. 23

Кирилл Курбатов. Охота оленей. Смерть председателя. Рассказы. № 11-12. С. 71

Дмитрий Лагутин. Степная, 1. Повесть. № 5-6. С. 44

Саммер Ленц. Плавающий универсам доктора Фитца. Рассказ. № 9-10. С. 75

Иван Макаров. Музыка. Рассказ. № 1-2. С. 91; Капли и камни. № 11-12. С. 29

Игорь Масленников. На пристани. Рассказ. № 9-10. С. 69

Дмитрий Раскин. Тётя Клава и Лёва Бриллиант. Рассказ. № 11-12. С. 81

Андрей Резцов. Итальянский Сергей Есенин. Шендрик и Печник. Рассказы. № 3-4. С. 147

Игорь Силантьев. Пальто. Рассказ. № 5-6. С. 111

Инна Складневская. Девочки в санатории. Из книги «Детский мир». № 3-4. С. 159

Григорий Стариковский. Родео. Повесть. № 1-2. С. 9

Владимир Тучков. Черный полковник. Рассказ из цикла «Протяжные песни Среднерусской возвышенности». № 11-12. С. 11

Николай Фоменко. Коллекция. Рассказ. № 1-2. С. 42

Вячеслав Харченко. Сталинский дом. Повесть в рассказах. № 3-4. С. 124

Наталья Черных. Фб любовь моя. Роман в постах для социальной сети. № 7-8. С. 8

Павел Чхартишвили. Там, где гречанки любили греков. Рассказ. № 5-6. С. 121

Вадим Шамшурун. Беспамятство. Рассказ. № 1-2. С. 138

Владимир Шапко. Переезд. Повесть. № 9-10. С. 94

Вадим Ярмолинец. Рассказы из семейной истории Смирновских. № 5-6. С. 130

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Мария Галина. «у меня такие большие уши...» и др. № 7-8. С. 219

Дмитрий Шабанов. «Эскиз № 12 (стрелецкий)» и др. № 7-8. С. 222

ДРАМАТУРГИЯ

Алексей Слаповский. Два брата. № 3-4. С. 189

ПЕРЕВОД

Калле Каспер. Анника. Перевод с эстонского Гоар Маркосян-Каспер. № 5-6. С. 145

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Джакобо Мантэки. Кантата Радуге Судьбе и е@нугому себе. Публикация Павла Петрова (Пол). Подготовка текста и композиционное решение второй части Владимира Орлова. № 7-8. С. 230

Павел Петров (Пол). Немного о Жаке. № 7-8. С. 224

Олег Юрьев. Неизданные стихи 1981–1987 годов. Публикация О.Б. Мартыновой и Д.О. Юрьева. Предисловие Валерия Шубинского. № 5-6. С. 137

NON-FICTION

Вадим Ярмолинец. На грани забвения. Реконструкция семейной биографии писателя А.М. Федорова. № 1-2. С. 145

ПУТЕШЕСТВИЕ

Михаил Бару. Золотая комета о пяти лучах. № 3-4. С. 218; Обломок надгробного камня. № 5-6. С. 176; Челобитные Овдокима Бурунова. № 7-8. С. 253

РЕТРОСПЕКТИВА

Сергей Боровиков. Лодки. № 1-2. С. 250

В СВОЕМ ФОРМАТЕ

Сергей Боровиков. В русском жанре – 60. № 3-4. С. 205; Запятая. № 5-6. С. 170; Запятая–3 (В русском жанре – 63). № 9-10. С. 209; Запятая–4. (В русском жанре–64). № 11-12. С. 125

Михаил Бару. Невидимый зинзивер. № 11-12. С. 130

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна Нешумова. Преодоление безвестности. № 7-8. С. 270

Валерио Грутт. Из книги «Я трезвонил тебе». Перевод с итальянского, вступление Татьяны Грауз. № 11-12. С. 179

ПРОСТРАНСТВО ТЕКСТА

Николай Болдырев-Северский. Прыжок Андрея Таврова. № 7-8. С. 275

«Лучше, чтобы премия для критиков была, нежели чтобы её не было – критики ведь тоже люди»: **Дмитрий Бавильский, Ольга Бугославская, Евгения Вежлян, Анна Голубкова, Данила Давыдов, Наталья Иванова, Владимир Коркунов, Сергей Костырко, Александр Марков, Лев Оборин, Юлия Подлубнова.** № 9-10. С. 218

Татьяна Грауз. Имена и лица. Разрозненные заметки о некоторых особенностях заглавий в книге Владимира Аристова «Открытые двory». № 1-2. С. 256

Елена Зейферт. О природе графомании, или Случайный мальчик Свистонов. № 5-6. С. 213

Дмитрий Кузьмин. Другие. Поэзия Украины сегодня. № 11-12. С. 148

Юрий М. Никитин. Графоманы всех стран, соединяйтесь! № 5-6. С. 218

Наталия Черных. Новые точки координат. Две книги издательства «НЛО». № 11-12. С. 157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Алексей Александров. Все тот же сон. О кн.: Георгий Цеплаков. *Ангелы и торговля*. № 5-6. С. 221.

Дмитрий Бавильский. К востоку от Востока. О кн.: Матиас Энар. *Компас*. № 9-10. С. 234

Ольга Бугославская. Ничего святого. О кн.: Лев Гурский. *Корвус Коракс*. № 9-10. С. 238

Марианна Дударева. На пороге бытия. О кн.: Елена Трубецкова. «Новое зрение»: болезнь как прием остранения в русской литературе XX века. № 11-12. С. 176

Игорь Караулов. Развозчик тепла. Андрей Пермяков. *Белые тепловозы*. № 1-2. С. 263

Марина Кузичева. Стриж. О кн.: Марианна Ионова. *Мы отрываемся от земли*. № 1-2. С. 265

Борис Кутенков. Одна великолепная цитата. О кн.: Олег Дозморов. *Уральский акцент*. № 9-10. С. 240

Денис Липатов. По-ацтекски говорить. О кн.: Алла Поспелова. *Цветы и песни: Сборник стихотворений*. № 3-4. С. 240

Александр Марков. Крона красоты. О кн.: Владимир Полетаев. *Прозрачный циферблат: стихотворения, переводы, эссе, письма*. № 11-12. С. 162

Владимир Орлов. Два пишем, семь на ум пошло. О кн.: А. Комароми, Г. Кузовкин. *Каталог периодики Самиздата. 1956–1986*. № 7-8. С. 280

Андрей Пермяков. Искусство невозможного. О кн.: Наталия Черных. *Закрытый показ. Книга стихотворений 2012–2017*. № 3-4. С. 237; Утешать глаза. О кн.: Лариса Йоонас. *Мировое словесное электричество*. № 5-6. С. 222; Другие, интересные. О кн.: Альманах современной удмуртской поэзии. № 11-12. С. 169

Юлия Подлубнова. 50 и 50. О кн.: Свободный стих Дмитрия Кузьмина: Сборник статей; Приношение Илье Куклину: Сборник стихотворений. № 3-4. С. 235

Анна Сафронова. Короткая заметка о долгом проекте. О кн.: Уйти. Остаться. Жить. Антология Литературных Чтений «Они ушли. Они остались». Т. II (часть 1, 2). № 5-6. С. 228

Григорий Стариковский. Булавка боли. О кн.: Валерий Черешня. *Узнавание*. № 11-12. С. 165

Андрей Тавров. Аннигилирующие баррикады Вадима Месяца. О кн.: Вадим Месяц. *500 со- негов к Леруа Мерлен*. № 7-8. С. 281

Наталия Черных. Перемена курса. О кн.: Геннадий Каневский. *Всем бортам*. № 11-12. С. 167

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Михаил Аржанов (1924–1981). Из дневников и писем (1952–1981). Публикация, вступление, примечания М.А. Богадельщиковой. № 11-12. С. 187

Алексей Голицын. «Мы не видели просвета в нашей жизни...». Арест саратовского художника Александра Скворцова как метод борьбы с голодом в Поволжье. № 5-6. С. 231; «Худтехникум съест вас»: Разгром Корнеевской школы в Саратове. № 9-10. С. 246

Вячеслав Лопатин. Происхождение Радищевского музея. Продолжение. № 1-2. С. 267

АРХИВ

Алексей Голицын. «Репрессия я считаю преступлением». Поэт Лелевич в саратовской ссылке. № 11-12. С. 227

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 16 декабря 2019 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.